

КРИШНАМУРТИ

ЗАПИСНЫЕ

КНИЖКИ

«Записные книжки» содержат тексты ежедневных записей Джидду Кришнамурти с 18 июня 1961 г. по 23 января 1962 г. Это записи наблюдений природы, наблюдений состояний сознания. Это глубокие проникновения во внутренний мир человека: сила их света делает очевидной всю разрушительность энергетики психологических структур, как для самого человека, так и для всего, что существует на земле, живого и неживого. Много мест этих записей могут показать, с какой реальностью встречается мозг, свободный от помех эгоцентрической обусловленности.

Джидду Кришнамурти. Записные книжки

Джидду Кришнамурти
Записные книжки

Предисловие

В июне 1961 г. Кришнамурти начал вести ежедневную запись своих ощущений и состояний сознания. За исключением примерно двух недель он продолжал вести эту запись в течение семи месяцев. Он писал чётко, карандашом, практически без исправлений. Первые семьдесят семь страниц рукописи содержатся в маленькой записной книжке, далее и до конца (до с. 323 рукописи) использовалась книжка большего размера с отрывными листами. Запись внезапно начинается и внезапно обрывается. Сам Кришнамурти не мог сказать, что побудило его начать её. Он никогда не вёл таких записей ни до, ни после этого.

Рукопись подверглась минимальной редакторской правке. Были исправлены ошибки написания Кришнамурти, для большей ясности вставлены некоторые знаки препинания, приведены полностью некоторые сокращения, вроде знака &, который он неизменно употреблял, добавлены кое-какие примечания и немногочисленные вставки в квадратных скобках. Во всех прочих отношениях рукопись представлена здесь такой, какой она была написана.

Следует объяснить один из употребляемых в ней терминов — «процесс». В 1922 г. в возрасте двадцати восьми лет Кришнамурти испытал духовное переживание, изменившее его жизнь, за которым последовали годы острой, почти постоянной боли в голове и позвоночнике. Рукопись показывает, что «процесс», как он называл эту таинственную боль, всё ещё продолжался почти сорок лет спустя, хотя и в более мягкой форме.

«Процесс» был физическим феноменом и его не следует путать с тем состоянием сознания, о котором Кришнамурти говорит в записных книжках как о «благословении», «ином», «безмерности». Он никогда не использовал каких-либо болеутоляющих средств с целью воздействовать на этот «процесс».

Он никогда не употреблял алкоголя или какого-либо наркотика. Он никогда не курил, последние тридцать лет или около того не пил даже чая или кофе. Хотя он и был всю жизнь вегетарианцем, он всегда уделял большое внимание полноценному и хорошо сбалансированному питанию. Аскетизм, согласно его образу мыслей, так же разрушителен для религиозной жизни, как и излишества. Фактически он заботился о «теле» (он всегда проводил различие между телом и эго), как кавалерист заботился бы о своей лошади. Он никогда не страдал эпилепсией или какими-либо другими физическими заболеваниями, которые, как говорят, вызывают видения и прочие духовные феномены; и он никогда не практиковал никакой «системы» медитации. Всё это говорится для того, чтобы читатель не вообразил себе, что состояния сознания Кришнамурти вызываются — или когда-либо вызывались — наркотиками или голоданием.

В этих уникальных ежедневных записях мы имеем то, что можно было бы назвать началом, истоком учения Кришнамурти. Здесь вся суть его учения, исходящая из своего природного источника. Как он сам пишет на этих страницах: «каждый раз в этом благословении есть что-то новое, новое качество, новый аромат, и всё-таки оно всегда неизменно», потому и учение, вытекающее из него, никогда не бывает точно таким же, хотя и часто повторяется. Подобным же образом, деревья, горы и реки, облака и солнечный свет, птицы и цветы, которые он снова и снова описывает, постоянно «новые», ведь каждый раз их видят глаза, для которых они никогда не становились привычными; каждый день они составляют для него совершенно свежее восприятие, и такими же они становятся для нас.

18 июня 1961 г., в день, когда Кришнамурти начал эти записи, он был в Нью-Йорке, у своих друзей на Западной 87-й улице. Он прилетел в Нью-Йорк 14 июня из Лондона, где находился шесть недель и провел двенадцать бесед. Перед поездкой в Лондон он был в Риме и Флоренции,

а до того первые три месяца года находился в Индии, где проводил беседы в Бью-Дели и в Бомбее.

Мэри Латъенс

18 июня

[1961, Нью-Йорк]

Вечером оно было здесь: оно явилось внезапно, заполняя комнату, огромное ощущение красоты, силы и мягкости. Остальные тоже это заметили.

Всю ночь это было здесь, когда бы ни проснулся. Голова болела по дороге на самолёт *[чтобы лететь в Лос-Анджелес]*. Очищение мозга необходимо. Мозг есть центр всех ощущений; чем ощущения живее и тоньше, тем острее мозг; мозг — центр воспоминаний, прошлого; он — кладовая опыта и знания, традиции. Поэтому он ограничен, обусловлен. Его действия спланированы, обдуманы, обоснованы, но он функционирует в условиях ограничения, в пространстве-времени. Поэтому он не может сформулировать или понять то, что всеобщее, целостно, полно. Полное, целостное — это ум; он пуст, совершенно пуст, и по причине этой пустоты мозг существует в пространстве-времени. Только когда мозг очистился от своей обусловленности, жадности, зависти, честолюбия, только тогда мозг может понять то, что полно. Любовь и есть эта полнота.

В автомобиле, на пути в Охай (*Долина Охай, около восьмидесяти миль к северу от Лос-Анджелеса*), это опять началось, давление и ощущение безмерного простора. Этот простор не переживался, он просто был; не было центра, из которого или в котором происходило бы переживание. Всё, автомобили, люди, рекламные щиты были поразительно чёткими, а краски болезненно интенсивными. Это продолжалось больше часа, и голова очень болела, боль пронизывала всю голову.

Мозг может и должен развиваться; его развитие всегда будет идти от причины, от реакции, от насилия к ненасилию и тому подобное. Мозг развился из примитивного состояния, и пусть даже утончённый, быстро схватывающий суть и технически отточенный, он будет оставаться в границах пространства-времени.

Анонимность означает смирение; она состоит не в перемене имени или одежды и не в отождествлении с тем, что может быть анонимным, — с идеалом, актом героизма, страной и так далее. Такая анонимность есть акт мозга, сознательная анонимность; существует анонимность, которая приходит с осознанием целого. Целое никогда не заключено внутри поля мозга или идеи.

Проснулся около двух; ощущалось особое давление, боль была острее, больше в центре головы.

Это продолжалось больше часа, и несколько раз просыпался от интенсивности давления. Каждый раз был огромный расширяющийся экстаз; эта радость продолжалась. — И когда сидел в кресле дантиста, давление вдруг снова возобновилось. Мозг стал очень спокойным; трепещущий, вполне оживший; каждое ощущение было живым; глаза видели пчелу на окне, паука, птиц и лиловые горы вдали. Они видели, но мозг не регистрировал увиденное. Можно было ощутить трепет мозга, что-то необычайно живое, вибрирующее, не просто регистрирующее. Давление и боль были велики, и телу пришлось погрузиться в дремоту.

Самокритичное осознание жизненно важно. Воображение и иллюзия искажают ясность наблюдения. Иллюзия будет существовать всегда, пока существует стремление продлить удовольствие и избежать боли, — потребность продлить или вспомнить те переживания, которые были приятны, и уклониться от боли и страдания. И то и другое порождает иллюзию. Для того чтобы полностью избавиться от иллюзии, необходимо понять удовольствие и скорбь, но без применения контроля или очищения, отождествления или отрицания.

Только когда мозг спокоен, правильное наблюдение возможно. Может ли мозг когда-либо быть спокойным? Это возможно, когда мозг, будучи очень чутким и неспособным к искажению, осознаёт негативно.

Всю вторую половину дня давление продолжалось.

Проснулся посреди ночи, и было переживание неограниченно расширяющегося состояния ума; сам ум был этим состоянием. «Ощущение» этого состояния было лишено всяких настроений, всяких эмоций, но было очень фактическим, очень реальным. Это состояние продолжалось довольно долгое время. — Всё это утро давление и боль были острыми.

Разрушение жизненно важно. Не разрушение зданий и вещей, а всех психологических приспособлений и защит, богов, верований, зависимости от священников, переживаний, знания и так далее. Без разрушения всего этого не может быть творчества, созидания. Только в свободе происходит созидание. Другой не может разрушить эту защиту за вас; вы сами должны отторгнуть и уничтожить своим самопознающим осознанием.

Революция — социальная, экономическая — способна изменить только внешние состояния и обстоятельства, в расширенных или в суженных пределах, но это всегда будет оставаться внутри ограниченного поля мысли. Для полной революции мозг должен полностью отбросить весь свой внутренний, скрытый механизм авторитета, зависти, страха и тому подобное.

Сила и красота нежного листка заключена в его уязвимости для разрушения. Подобно стебельку травы, пробивающемуся сквозь тротуар, он обладает силой, которая может противостоять случайной смерти.

Творчество, созидание никогда не находится во власти индивидуума. Оно полностью прекращается, когда индивидуальность, со всеми её способностями, талантами, техническими приёмами и прочим, становится доминирующей. Созидание, творение — движение непознаваемой сущности целого; оно никогда не бывает выражением части.

Как раз когда ложился в постель, появилась эта полнота, эта наполненность дома *il L* (*Дом около Флоренции, где он останавливался в апреле*). Она была не только в комнате, но, казалось, покрыла всю землю от горизонта до горизонта. Это было благословением.

Давление, с его специфической болью, было здесь всё утро. И оно продолжается во второй половине дня.

Сидя в кресле дантиста, смотрел из окна поверх изгороди, телевизионной антенны и телеграфного столба на пурпурные горы. Смотрел не только глазами, но и всей своей головой, как будто заднею частью головы, всем своим существом. Это было странное переживание. Не было центра, из которого происходило бы это наблюдение. Краски и красота и очертания гор были интенсивными.

Каждый изгиб мысли должен быть понят, ибо всякая мысль есть реакция, и любое исходящее из неё действие может только увеличивать смятение и конфликт.

Давление и боль были вчера весь день; всё это становится довольно-таки трудным и тяжёлым. Когда остаёшься один, это и начинается. И нет ни желания продлевать его, ни разочарования, если оно не продолжается. Это просто здесь — хочешь того или нет. Это за пределами всякого рассудка и мысли.

Делать что-то ради самого дела — это, кажется, весьма трудно и почти неуместно или нежелательно. Социальные ценности основываются на делании чего-то ради чего-то другого. Ведёт это к бесплодному существованию, к жизни, которая никогда не бывает целостной, полной. Это одна из причин разрушительного недовольства.

Быть удовлетворённым безобразно, но недовольство порождает ненависть. Быть добродетельным для того, чтобы достигнуть небес или заслужить одобрения уважаемых людей, общества, — значит превратить жизнь в голое поле, которое перепаживалось снова и снова, однако никогда не было засеяно. Эта деятельность, при которой нечто делается ради чего-либо другого, есть, по сути, замысловатая серия уклонений, уходов от самого себя, от того, что есть.

Без переживания сущности нет красоты. Красота не просто во внешних вещах или в мыслях, чувствах и идеях внутри нас; существует красота за пределами мысли и чувства. Именно эта сущность и есть красота. Но такая красота не имеет чего-либо, ей противоположного.

Давление продолжается, присутствует напряжение в основании головы, и это болезненно.

Проснулся в середине ночи и обнаружил, что тело совершенно спокойно, простёрто на спине, неподвижно; такое положение, должно быть, сохранялось уже какое-то время. Присутствовали давление и боль. Мозг и ум были интенсивно спокойны. Между ними не было разделения. Была странная спокойная интенсивность, как будто два огромных динамо работали на большой скорости; это была особая энергия, в которой не было напряжения. Во всём этом было ощущение простора, была мощь без направления и причины, а поэтому никакой жестокости и безжалостности. Это продолжалось и в течение утра.

В течение последнего года или около того случалось просыпаться и переживать в бодрствующем состоянии то, что происходило во время сна, определённые состояния бытия. Просыпаешься как будто просто для того, чтобы мозг регистрировал, что происходит. Нелюбопытно, что определённое переживание очень быстро исчезало. Мозг не записывал его на страницах памяти.

Есть только разрушение и никакого изменения. Потому что всякое изменение — модифицированное продолжение того, что было. Все социальные, экономические революции — реакции, модифицированное продолжение того, что было. Такое изменение никоим образом не уничтожает корней эгоцентрической активности.

Разрушение, в том смысле, в котором мы это слово употребляем, не имеет мотива; у него нет цели, подразумевающей действие ради результата. Разрушение зависти — всецелое и полное; оно подразумевает свободу от подавления, контроля и отсутствие всякого мотива вообще.

Это всецелое, полное разрушение возможно; оно состоит в видении всей структуры зависти. Это видение — не в пространстве-времени, оно непосредственно.

Давление и связанное с ним напряжение, очень сильное, были вчера во второй половине дня и сегодня утром. Но произошли некоторые изменения: давление и напряжение шли из задней части головы через нёбо к верхушке головы. Странная интенсивность продолжается. Стоит лишь успокоиться, как она начинается.

Контроль в любой форме вреден для полного, всеобъемлющего понимания. Дисциплинированное существование — это жизнь в подчинении, в соответствии или следовании чему-то; в подчинении же и соответствии нет свободы от страха. Привычка разрушает свободу; привычка мышления, привычка выпивать и прочие ведут к поверхностной и серой жизни. Организованная религия с её верованиями, догмами и ритуалами, отрицает свободный выход в безбрежность ума. Именно такой выход очищает мозг от пространства-времени. Будучи очищенным, мозг может иметь дело с временем-пространством.

То присутствие, что было в *ill.*, было и здесь, терпеливо ожидая, благожелательно, с великой нежностью. Оно было подобно молнии во тьме ночи, — но оно было здесь, проникновенное, исполненное блаженства.

Что-то странное происходит с физическим организмом. Невозможно это точно определить, но есть «дополнительная» настоятельность, побуждение; это ни в коем случае не собственная самодеятельность, не порождение воображения. Это ощущается, когда спокоен, в одиночестве, под деревом или в комнате, и особенно упорно и настойчиво, когда собираюсь уснуть. Это и сейчас здесь, когда пишу; давление и напряжение, с обычной болью.

И формулировки и слова в отношении всего этого кажутся такими бесполезными; ни слова, даже точные, ни описания, даже ясные и чёткие, не передают подлинного явления.

Есть великая и невыразимая красота во всём этом.

В жизни есть только одно движение, внешнее и внутреннее; это движение неделимо, хотя его и разделяют. Из-за этого разделения большинство следует внешнему движению знания, идей, верований, авторитета, безопасности, благополучия и так далее. В противовес этому, реагируя на это, человек идёт путём так называемой внутренней жизни с её видениями, надеждами, вдохновениями, тайнами, конфликтами, разочарованиями.

Поскольку это движение является реакцией, оно находится в конфликте с внешним. Поэтому существует противоречие, с его страданиями, тревогами и бегством.

Есть только одно движение, оно и внешнее, и внутреннее. С пониманием внешнего начинается внутреннее движение, которое не является движением против или в противовес. Когда конфликт ликвидирован, мозг, даже будучи очень чувствительным и настороженным, становится спокойным. Только тогда внутреннее оказывается основательным и имеет смысл.

Из этого движения выходят великодушие и сострадание — которые не являются продуктом рассудка или целенаправленного самоотречения.

Цветок силён в своей красоте, хотя он может быть забыт, отброшен или погублен.

Честолюбивый не знает красоты. Ощущение сущности — это красота.

Проснулся посреди ночи, с криками и стонами; давление и напряжение — с их специфической болью — были интенсивными. Это, должно быть, продолжалось уже какое-то время и длилось ещё некоторое время после пробуждения. И крики и стоны бывают довольно часто. Это не от пищеварения. Когда сидел, ожидая, в кресле дантиста, всё началось опять, продолжаясь и сейчас, после полудня, когда записываю это. Это более заметно в одиночестве или в каком-нибудь красивом месте, или даже на грязной шумной улице.

Что священо, атрибутов не имеет. Камень в храме, икона или изображение бога в церкви, символ, не священны. Человек называет их священными, чем-то святым, достойным поклонения, исходя из сложных потребностей, страхов, желаний. Это «священное» всё ещё в поле мысли, оно создано ею, а в мысли нет ничего нового или святого. Мысль может сотворить хитросплетение систем, догм, верований и образов, символов; её проекции не более святы, чем чертежи дома или проект нового самолёта. Всё это внутри границ мысли, и нет в этом ничего святого или мистического. Мысль — материя, и её можно превратить во что угодно, уродливое — прекрасное.

Но есть святость, которая не от мысли и не от чувства, оживлённого мыслью. Она не распознаваема мыслью и не может быть использована мыслью. Мысль не может её выразить. И тем не менее существует святость, не затронутая символом или словом. Она непередаваема. Она — факт.

Факт нужно видеть, и это видение происходит не через слово. Когда факт интерпретируют, он перестаёт быть фактом, он становится чем-то совершенно другим. Видение имеет высочайшую важность. Само видение — вне времени-пространства; оно непосредственно, мгновенно. И то, что мы видим, никогда не бывает опять тем же самым. Не существует никакого опять или со временем.

У этой святости нет поклоняющегося, наблюдателя, который медитирует над ней. Она не на рынке, чтобы быть купленной или проданной.

Подобно красоте, её нельзя увидеть через противоположное, ибо у неё нет противоположного.

То присутствие — здесь, заполняет комнату, разливается над холмами и водами, покрывает землю.

Прошлой ночью, как это было уже раз или два прежде, тело было всего лишь организмом и ничем другим, функционирующее, пустое и спокойное.

Давление и напряжение с глубокой болью, как будто глубоко внутри идёт операция. Это происходит непо собственной воле, какой бы утончённой она ни была. На какое-то время сознательно вошёл в это глубоко. Пытался стимулировать это, пробовал использовать различные внешние условия — уединение и так далее. В таком случае ничего не происходит. Всё это — не что-то новое.

Любовь — не привязанность. Она не порождает скорби. В любви нет отчаяния или надежды. Любовь нельзя сделать респектабельной, частью общественного устройства или социальной программы. Когда её нет, начинаются все несчастья.

Обладать и принадлежать считается формой любви. Эта жажда обладать, человеком или куском собственности, не просто определяется обществом или обстоятельствами, но вытекает из гораздо более глубокого источника. Она исходит из глубин одиночества. И каждый пытается различными путями заполнить это одиночество, выпивкой, организованной религией, верой, какой-нибудь деятельностью и прочим. Всё это — способы бегства, но оно по-прежнему здесь.

Вверить себя какой-то организации, отдаться какой-то вере или деятельности значит принадлежать им — это негативное обладание; а позитивное — обладать самому. Негативное и позитивное обладание — это делание добра, изменение мира и так называемая любовь. Контролировать другого, формировать другого во имя любви означает потребность обладать, потребность найти в другом защиту, безопасность, поддержку, утешение. Забвение себя, достигаемое через другого, через какую-то деятельность, ведёт к привязанности. От этой привязанности приходят скорбь, отчаяние, и отсюда реакция — отстраниться. Из этого противоречия привязанности и отстранённости возникает конфликт и разочарование.

Нет способа бегства от одиночества: одиночество — факт, а бегство от фактов порождает смятение и скорбь.

Но не обладать ничем — необыкновенное состояние, не обладать даже идеей, не говоря уж о человеке или о вещи. Когда идея, мысль укореняется, это уже стало обладанием, и тогда начинается война за освобождение. И эта свобода — вовсе не свобода; она лишь реакция. Реакции укореняются, и наша жизнь — почва, в которой выросли корни. Отсекать все корни, один за другим, — это психологический абсурд. Это невозможно. Нужно только видеть этот факт, одиночество, и тогда всё прочее исчезает.

Вчера во второй половине дня было плохо, очень плохо, почти невыносимо; так продолжалось несколько часов.

Гуляя, в окружении этих лиловых голых скалистых гор, внезапно ощутил уединённость. Полную уединённость. Повсюду была уединённость; в ней было огромное, неизмеримое богатство; в ней была красота, недоступная мысли и чувству. Она не была неподвижной, она была живой, движущейся, заполняющей каждый угол и уголок. Высокая скалистая вершина сияла в заходящем солнце, и сам этот свет и цвет наполняли небеса уединённостью.

Она была неповторимо одинокой, не изолированной, а одинокой, подобно капле дождя, которая содержит в себе все воды земли. Она была не радостной или печальной, а предоставленной самой себе. У неё не было качества, формы или цвета; это сделало бы её чем-то опознаваемым, измеримым. Она мгновенно вспыхнула и обрела жизнь. Она не росла, не развивалась, а присутствовала во всей своей полноте. Не было времени созревания; корни времени — в прошлом. Это было состояние без корней, без причин. Таким образом, оно совершенно «новое» — состояние, которого никогда не было и никогда не будет, потому что оно живёт.

Изоляция известна, как и одиночество; они опознаваемы, потому что часто переживались, в действительности или в воображении. Сама их известность порождает определённое самодовольное презрение и страх, из которых возникают цинизм и боги. Но самоизоляция и одиночество не ведут к уединённости; с ними нужно покончить, не для того, чтобы чего-то достигнуть; они должны умереть так же естественно, как увядает нежный цветок. Соппротивление порождает страх, но принятие тоже. Мозг должен дочиستا отмыться от всех этих выдумок и ухищрений.

Совершенно иное — эта безмерная уединённость, которая не имеет отношения ко всем этим изгибам или поворотам сознания, загрязнённого действием эго. В уединённости этой происходит всякое созидание, всякое творчество. Творчество разрушает, и поэтому творчество — это всегда неведомое, неизвестное.

Весь вечер вчера была эта уединённость, и сейчас она есть, и при пробуждении ночью она сохранялась.

Давление и напряжение продолжают нарастать и ослабевать постоянными волнами. Сегодня это довольно тяжело, всю вторую половину дня.

Всё как будто остановилось. Никакого движения, шевеления, полная пустота всех мыслей, всякого видения. Нет интерпретирующего, который истолковывал бы, наблюдал и подвергал цензуре. Безмерный простор, который совершенно тих и безмолвен. Нет ни пространства, ни времени, чтобы преодолевать это пространство. И начало и конец всего сущего здесь же. На самом деле, нет ничего, что можно было бы об этом сказать.

Давление и напряжение тихо продолжались весь день; только сейчас они усилились.

То, что появилось вчера, эта неизмеримая спокойная безбрежность, продолжалось весь вечер, даже несмотря на присутствие людей и общий разговор. Это продолжалось всю ночь; она была здесь и утром. Хотя здесь шёл довольно громкий, эмоционально возбуждённый разговор, внезапно посреди него оказывалась она. Она здесь, здесь красота и великолепие и ощущение безмолвного экстаза.

Давление и напряжение начались довольно рано.

3 июля

Весь день не был дома. И всё равно, в шумном городе во второй половине дня в течение двух или трёх часов давление и напряжение продолжались.

Был занят, но несмотря на это во второй половине дня давление и напряжение присутствовали.

Какие бы действия человеку ни приходилось совершать в повседневной жизни, потрясения и различные инциденты не должны оставлять шрамов. Эти шрамы превращаются в эго, в «я», и, по мере жизни, оно становится сильным, а стены его почти непроницаемыми.

5 июля

Тоже был занят, но в моменты покоя давление и напряжение продолжались.

Прошлой ночью проснулся с ощущением полного покоя и тишины; мозг был полностью бодрствующим и интенсивно живым, а тело очень спокойным. Это состояние длилось около получаса. Это несмотря на утомительный день.

Высота интенсивности и чувствительности определяет переживание сущности. Именно в нём заключена красота, запредельная слову и чувству. Пропорция и глубина, свет и тень ограничены временем-пространством, подчинены красоте-уродливости. Но то, что за пределами линии и формы, что превыше учения и знания, — это красота сущности.

Несколько раз просыпался с криком. Опять было это интенсивное спокойствие мозга и чувство безбрежности. Давление и напряжение продолжались.

Успех — это жестокость. Успех в любой форме — политической и религиозной, в искусстве и в бизнесе. Достижение успеха подразумевает безжалостность.

8 ИЮЛЯ

Перед сном или даже как раз в момент засыпания некоторое время были стоны и крики. Тело слишком взбудоражено по поводу поездки, поскольку ночью отправляюсь в Лондон [через Лос-Анджелес]. Давление и напряжение в какой-то степени присутствуют.

Когда садился в самолёт, среди всего этого шума, табачного дыма и громких разговоров совершенно неожиданно начало возникать то чувство, то чувство безмерности и то необычайное благословение, — безграничное ощущение святости, — которое ощущалось в *il L*. Тело было в нервном напряжении из-за толпы, шума и прочего — но вопреки всему оно было. Давление и напряжение были интенсивными, и в задней части головы была острая боль. Было только это состояние, и не было никакого наблюдателя. Всё тело было полностью в нём, а ощущение священного было таким интенсивным, что из тела исторгся стон, а на соседних сиденьях сидели пассажиры. Это продолжалось несколько часов, до поздней ночи. Смотрел как будто бы не только глазами, а тысячей столетий; это было совершенно удивительное явление. Мозг был абсолютно пустым, все реакции прекратились; все эти часы пустота не осознавалась, — и только при записывании она оказывается известной, но это знание всего лишь описательное, не подлинное. Что мозг сам смог опустошить себя — это необычайный феномен. Когда глаза были закрыты, тело и мозг, казалось, погружались в бездонные глубины, в состояния невероятной чувствительности и красоты. Пассажир в соседнем кресле начал спрашивать о чём-то и когда ответил, эта интенсивность была здесь; не было длительности, но только бытие. Медленно занималась заря, и ясное небо наполнялось светом. — Когда всё это записывается позже днём, с усталостью от недосыпания, эта святость здесь. Давление и напряжение тоже.

Спал мало, но проснулся с осознание сильного ощущения движущей энергии, которая сфокусировалась в голове. Тело стонало и всё же было очень спокойным, распростёртым и исполненным мира. Комната казалась наполненной; было очень поздно, и передняя дверь соседнего дома была со стуком захлопнута. — Не было ни идеи, ни чувства, и всё же мозг был живым и восприимчивым. Давление и напряжение присутствовали, причиняя боль. Странно в этой боли то, что она никаким образом не утомляет тело. Кажется, в мозгу происходит так много, и всё-таки невозможно выразить словами, что именно происходит. Было ощущение безмерного расширения.

11 июля

Давление и напряжение были довольно сильными, и боль присутствует тоже. Любопытно во всём этом то, что тело никак не протестует, никакого сопротивления не оказывает. Во всё это вовлечена неизвестная энергия. Слишком занят, чтобы много писать.

Прошлая ночь была тяжёлой, с криками и стонами. Голова болела. Хотя спал немного, дважды просыпался, — и каждый раз было ощущение расширяющейся интенсивности и напряжённого внутреннего внимания, и мозг опустошил себя от всякого чувства и всякой мысли.

Разрушение; полное опустошение мозга; реакция и память должны увянуть без всякого усилия; увядание подразумевает время, но именно время прекращается, а не память заканчивается.

Это вневременное расширение, которое происходило, и качество и степень интенсивности полностью отличны от страсти и чувства. Именно эта интенсивность, совершенно не связанная с каким-либо желанием, хотением или переживанием, как воспоминания, прорывалась через мозг. Мозг был лишь инструментом, а эта вневременная, расширяющаяся, взрывная интенсивность творения — ум. Творение же есть разрушение.

В самолёте это продолжалось (*Полёт в Женеву, откуда он поехал в дом своих друзей в Гштааде*).

Думаю, покой этого места, зелёных склонов гор, красота деревьев и чистота — это и другие вещи сделали давление и напряжение гораздо сильнее; голова болела весь день; становится хуже, когда остаюсь один. Похоже, так продолжалось всю прошлую ночь, несколько раз просыпался с криками и стонами; даже во время отдыха во второй половине дня было больно до крика. Тело здесь полностью расслаблено и отдыхает. Прошлой ночью, после долгой и приятной поездки по гористой местности, когда входил в комнату, присутствовало это удивительное, проникнутое святостью блаженство. Другой (*друг, у которого он останавливался в Гштааде*) тоже это почувствовал. Другой также ощутил этот покой, эту проникновенную атмосферу. Было ощущение великой красоты и любви и завершённой полноты.

Сила и власть извлекаются из аскетизма, из деятельности, из положения, из добродетели, из господства и тому подобного. Все эти формы силы и власти есть зло. Всё это разлагает и развращает. Использование денег, таланта, ума для достижения власти, извлечения силы из употребления этих вещей есть зло.

Но существует сила, никак не связанная с теми силой и властью, которые есть зло. Эту силу, могущество, не купишь жертвой, добродетелью, добрыми делами и верой, не купишь их и поклонением, молитвами, самоотвержениями и саморазрушительными медитациями. Всякое усилие стать или быть должно полностью и естественно прекратиться. Только тогда возможны та сила, то могущество, которые не есть зло.

Весь процесс продолжался целый день — давление, напряжение и боль в задней части головы; просыпался с криком несколько раз, и даже днём были и непроизвольные стоны и вскрикивания. Прошлой ночью это священное чувство наполнило комнату, и другой его тоже ощущал.

Как легко обманывать себя почти во всём, особенно относительно более глубоких и более тонких потребностей и желаний. Быть полностью свободным от всех таких стремлений и желаний трудно. Но всё-таки крайне важно быть свободным от них, иначе мозг порождает всевозможные формы иллюзии. Стремление к повторению переживания, пусть даже приятного, прекрасного и плодотворного, есть почва, на которой возрастает скорбь. Страсть скорби так же ограничивает, как и страсть власти. Мозг должен перестать ходить своими собственными путями, он должен быть полностью пассивным.

Весь процесс прошлой ночью был тяжёлым; остался довольно усталым и невыспавшимся.

Проснулся среди ночи с ощущением безграничной и безмерной силы. Это была не та сила, которую дают воля или желание, а сила, которая есть в реке, в горе, в дереве. Она есть и в человеке, когда воля и желание во всякой форме полностью прекратились. Она не имеет какой-либо цены, она не приносит прибыли человеческому существу, но без неё нет человеческого существа или дерева.

Действие человека — выбор и воля, в таком действии — противоречие и конфликт и потому скорбь. Всякое такое действие имеет причину, мотив, и потому оно есть реакция. Действие же этой силы не имеет ни причины, ни мотива и потому являет собой неизмеримое и сущность.

Весь процесс продолжался большую часть ночи; он был довольно интенсивным. Как много может выдержать тело! Всё тело трепетало, и проснулся сегодня утром с трясущейся головой.

Этим утром здесь было то особенное священное, заполнившее комнату. Оно обладает огромной проникающей силой, входя в каждую частицу вашего существа, наполняя, очищая, делая всё причастным себе. И другой это чувствовал тоже. Это то, чего жаждут все человеческие существа, но поскольку они гонятся за ним, оно от них ускользает. Монах, священник, саньяси терзают свои тела и свои души, жаждая его, но оно от них ускользает. Ибо оно не может быть куплено; ни жертвоприношение, ни добродетель, ни молитва не могут принести эту любовь. Эта любовь, эта жизнь невозможны, если средством становится смерть. Все искания, все вопрошения и мольбы должны полностью прекратиться.

Истина не может быть точной. То, что можно измерить, — не истина. То, что не живёт, можно измерить и узнать его высоту.

Мы поднимались по тропинке крутого, поросшего лесом склона горы, потом сели на скамью. Внезапно, в высшей степени неожиданно, это священное благословение снизошло на нас; другой тоже его чувствовал, хотя мы ничего не говорили. Как оно уже несколько раз наполняло комнату, так на этот раз оно, казалось, покрыло горный склон во всю ширину, распространяясь на долину и по ту сторону гор. Оно было повсюду. Всё пространство, казалось, исчезло; всё, что было вдали, — широкое ущелье, отдалённые снежные вершины и человек, сидящий на скамье, — всё это исчезло. Не было одного, двух или множества, а только эта безмерность. Мозг утратил все свои реакции, он был только инструментом наблюдения, он был видением — не мозгом, принадлежащим определённому человеку, а мозгом, не обусловленным временем-пространством, — сущностью любого мозга.

Это была спокойная ночь, и весь процесс был не так интенсивен. При пробуждении утром было переживание, которое, может быть, длилось минуту, час или было вне времени. Переживание, наполненное временем, перестаёт быть переживанием; то, что имеет длительность, перестаёт быть переживанием. При пробуждении, в самых глубинах, в неизмеримых глубинах целостного ума пылало интенсивное, живое, яростно жгучее пламя внимания, осознания, творчества. Слово — не вещь; символ — не реальность. Огни, горящие на поверхности жизни, уходят, угасают, оставляя скорбь, пепел и воспоминания. Эти огни называют жизнью, но это не жизнь. Это разложение. Огонь творчества, созидания, которое есть разрушение, это и есть жизнь. В ней нет ни начала, ни конца, ни завтра, ни вчера. Она есть, и никакая поверхностная активность никогда не откроет её. Мозг должен умереть, чтобы этой жизни быть.

Процесс был очень острым, не давал спать; даже утром и после полудня вскрикивал и стонал. Боль была довольно сильной.

Проснулся сегодня утром с изрядной болью, но в то же время была вспышка видения, которое было откровением. Наши глаза и мозг регистрируют внешние вещи, деревья, горы, стремительно мчащиеся потоки, накапливают знание, технику и так далее. С теми же самыми глазами и с мозгом, наученным наблюдать и выбирать, осуждать и оправдывать, мы обращаемся внутрь, смотрим внутрь, опознаём объекты и выстраиваем идеи, которые формируют рассудок. Этот внутренний взгляд, проникает не очень-то далеко, поскольку он всё ещё находится в пределах своего собственного наблюдения и разума. Этот внутренний взгляд — всё ещё внешний взгляд, и потому между ними нет большой разницы. То, что, возможно, кажется различным, может быть и сходным.

Но есть внутреннее наблюдение, не являющееся внешним наблюдением, обращённым внутрь.

Мозг и глаза, которые наблюдают лишь выборочно, не вмещают целостного видения. Они должны быть живыми полностью, но спокойными; они должны прекратить выбирать и судить и стать пассивно осознающими. Тогда внутреннее видение не ограничено временем-пространством. В этой вспышке рождается новое восприятие.

Было довольно плохо всю вторую половину вчерашнего дня и казалось, что стало ещё больнее. К вечеру пришло то священное и заполнило комнату, и другой его тоже чувствовал. Всю ночь было вполне спокойно, хотя давление и напряжение оставались, как солнце за облаками; рано утром процесс снова начался.

Казалось, что просыпаюсь только для того, чтобы зарегистрировать определённое переживание; это происходило достаточно часто в течение прошлого года. Проснулся сегодня утром с живым ощущением радости; она была, когда я проснулся, она не была чем-то в прошлом. Она существовала в настоящем. Он приходил, этот экстаз, «извне», он не был возбуждён изнутри; он пробивался через систему, протекая по всему организму с огромной энергией и полнотой. Мозг не принимал в нём участия, только регистрировал его, не как воспоминание, а как факт в настоящем, который имеет место. Казалось, за этим экстазом стояла безмерная сила и жизненность; он был не настроением, чувством или эмоцией, а столь же явным и реальным, как этот поток, размывающий горный склон, или эта одинокая сосна на зелёном склоне горы. Все чувства и эмоции связаны с мозгом, но как любовь не связана с ним, так был не связан с ним и этот экстаз. Лишь с величайшим трудом мозг мог воскресить его в памяти.

Сегодня, рано утром, было благословение, которое, казалось, покрыло землю и заполнило комнату. С ним приходит всеобъемлющее спокойствие, тишина, которая, кажется, содержит в себе всё движение.

Процесс был особенно интенсивным вчера после второй половине дня. Ожидая в автомобиле, почти не замечал, что происходит вокруг. Интенсивность возросла и стала почти невыносимой, такой, что пришлось лечь. К счастью, в комнате кто-то был.

Комната наполнилась этим благословением. То, что последовало, передать словами почти невозможно; слова так мертвы, имеют определённый, установленный смысл, а то, что происходило, было за пределами всех слов и описаний. Это благословение было центром всего творения; оно явилось очищающей серьёзностью, которая освободила мозг от всякой мысли и чувства; его серьёзность была как молния, которая разрушает и сжигает; глубина его была безмерна, оно было неподвижным, непостижимым, было твердыней, лёгкой, как небо. Оно было в глазах, в дыхании. Оно было в глазах — и глаза эти могли видеть.

Глаза, которые видели, которые смотрели, были совершенно отличны от глаз как органа зрения, и всё же это были те же самые глаза. Было только видение, глаза, которые видели за пределами времени-пространства. Присутствовало несокрушимое достоинство и мир как сущность всякого движения, действия. Никакая добродетель не касалась его, так как оно было за пределами всех добродетелей и всего, что одобряется человеком. В нём была любовь, которая была вполне смертной, и поэтому оно обладало хрупкостью всех новых вещей, уязвимых, разрушимых, и всё же оно было за пределами всего этого. Оно было несокрушимым, безымянным, непознаваемым. Никакая мысль не могла проникнуть в него, и никакое действие не могло коснуться его. Оно было «чистым», нетронутым — и потому всегда умирающе прекрасным.

Всё это, похоже, воздействовало на мозг; он уже был не таким, как прежде. (Мысль — такая ничтожная вещь, необходимая, но ничтожная.) По этой причине соотношения, кажется, изменились. Как ужасная буря, разрушительное землетрясение даёт новое русло рекам, изменяет ландшафт, вгрызаясь глубоко в землю, так и оно сгладило контуры мысли, изменило форму сердца.

Весь процесс идёт как обычно, несмотря на простуду и лихорадочное состояние. Он стал более острым и более упорным. Удивительно, как долго может выдерживать тело.

Вчера, когда мы гуляли по прекрасной узкой долине, по её крутым склонам, затенённым соснами, по зелёным полям, полным диких цветов, внезапно, в высшей степени неожиданно, так как говорили мы о другом, благословение снизошло на нас, подобно нежному дождю. Мы оказались центром его. Оно было мягким, настоящим, бесконечно нежным и мирным, обволакивая нас силой, которая не знала промахов и была недоступна рассудку.

Сегодня, рано утром, при пробуждении, — изменчивая и неизменная, очищающая серьёзность с экстазом, у которого нет причины. Она просто была здесь. И в течение дня, что бы ни делал, она присутствовала на заднем плане и немедленно, сразу же выходила вперёд в минуты покоя. В ней настоящая и красота.

Никакое воображение или желание никогда не смогли бы ясно выразить или сформировать такую глубочайшую серьёзность.

Пока ждал в тёмной, душной приёмной доктора, то благословение, которое нельзя сконструировать никаким желанием, пришло и наполнило маленькую комнату. Оно было там, пока мы не ушли. Нельзя сказать, ощутил ли это доктор.

Почему происходит деградация? Как внешняя, так и внутренняя. Почему? Время несёт разрушение всем механическим конструкциям; оно изнашивает работой и болезнью организм любого вида. Но почему должна быть деградация внутренняя, психологическая? Помимо всех объяснений, которые может дать умелый мозг, почему мы выбираем худшее, а не лучшее, почему ненависть скорее, чем любовь, почему жадность, а не щедрость, почему эгоцентрическую деятельность, а не открытое, целостное действие? Зачем быть низменным, когда есть парящие вершины и сверкающие потоки? Почему ревность, а не любовь? Почему? Видение факта ведёт к одному, мнения и объяснения — к другому. Видение того факта, что мы идём к упадку, деградируем, важнее всего, а не то, почему и отчего это происходит. Объяснение имеет весьма небольшое значение перед лицом факта, но то, что человек удовлетворяется объяснениями, словами, — один из главных факторов деградации. Почему война, а не мир? Факт таков — мы склонны к насилию; конфликт внутри и снаружи — часть нашей повседневной жизни, жизни честолюбивых устремлений и успеха. Видение этого факта, а не хитроумное объяснение и острое слово кладёт конец деградации. Выбор, одна из главнейших причин упадка, должен полностью прекратиться, чтобы деградации пришёл конец. Желание осуществления, и удовлетворение и скорбь, живущие в его тени, — это тоже один из факторов деградации.

Сегодня утром проснулся рано, чтобы пережить это благословение. Был «вынужден» сесть, чтобы быть в этой ясности и красоте. Позднее утром, сидя на придорожной скамье под деревом, ощутил его безмерность. Оно даёт укрытие, защиту, подобно дереву над головой, чьи листья укрывают от горячего горного солнца и всё же пропускают свет. Всё окружение и все отношения — это такая защита, в которой есть свобода, и поскольку есть свобода, есть и защита.

Проснулся рано утром с огромным ощущением силы, красоты и нетленности. Это было не чем-то уже случившимся — переживанием, которое прошло и которое, проснувшись, вспоминаешь как сон, а чем-то действительно происходящим. Осознавал что-то совершенно неразрушимое, в котором невозможно существование чего-то, что могло бы испортиться, деградировать. Оно было слишком огромно, чтобы мозг мог охватить его, запомнить; он мог только механически отметить, что есть такое «состояние» нетленности. Переживание такого состояния необычайно важно; оно было здесь — безграничное, неприкосновенное, непостижимое.

В его нерушимости была красота. Не та красота, что увядает, не что-то созданное рукой человека, не зло с его красотой. Ощущалось, что в его присутствии существует всё самое существенное, и потому оно было священным. Это была жизнь, в которой ничто не могло погибнуть. Смерть нетленна, но человек делает из неё то же разложение, каким для него является жизнь.

Со всем этим было ощущение мощи, силы, столь же прочной, как та гора, которую ничто не может поколебать, которую не могут тронуть ни жертвоприношение, ни молитва, ни добродетель.

Оно было здесь, огромное, и никакая волна мысли не могла его исказить, как искажает нечто припоминаемое. Оно было здесь, и глаза, и дыхание принадлежали ему.

Время, ленность, приносит порчу. На какой-то период этому пришлось уйти. Рассвет только что наступил, и роса была на автомобиле снаружи и на траве. Солнце ещё не взошло, но острый снежный пик был отчётливо виден в серо-голубом небе; было очаровательное утро, без единого облачка. Но это не могло продолжаться, это было слишком прекрасно.

Почему всё это происходит с нами? Никакое объяснение не будет достаточно хорошим, хотя их можно изобрести дюжину. Но определённые вещи достаточно ясны: 1. Нужно быть полностью «безразличным» к приходу и к уходу этого. 2. Не должно быть желания продлить переживание или сохранить его в памяти. 3. Нужна определённая физическая чувствительность, некоторое равнодушие к комфорту. 4. Нужен самокритичный, юмористический подход. Но даже если всё это у человека есть, случайно, а не от сознательного культивирования и смирения, даже тогда этого недостаточно. Что-то совсем другое необходимо, или ничего не нужно. Это должно прийти, вам же этого никогда не найти что бы вы ни делали. Вы можете добавить к списку любовь, но это — за пределами любви. Одно определённо — мозг никогда не сможет этого постичь или вместить в себя. Блажен, кому это дано. И ещё вы можете добавить спокойный, безмолвный мозг.

Процесс был не столь интенсивным, поскольку тело несколько дней было не в порядке, но хотя он и слаб, время от времени его интенсивность можно было почувствовать. Просто удивительно, как этот процесс может приспосабливаться к обстоятельствам.

Когда вчера проезжали по узкой долине вдоль горного потока, шумно прокладывающего себе путь около мокрой дороги, присутствовало это благословение. Оно было очень сильным, и всё купалось в нём. Шум потока был частью его, и высокий водопад, который становился этим потоком, был в нём. Оно было похоже на проливающийся лёгкий дождь, и наступила полная уязвимость; тело, казалось, стало лёгким, как лист, открытый любому воздействию и трепещущий. Это продолжалось всю долгую прохладную дорогу, и беседа сделалась односложной; красота этого казалась невероятной. Оно оставалось весь вечер, и хотя звучал смех, устойчивая, непостижимая серьёзность сохранялась.

При пробуждении сегодня утром, рано, когда солнце было ещё за горизонтом, экстаз этой серьёзности был здесь. Он наполнил и сердце и мозг, и было ощущение непоколебимости.

Смотреть важно. Мы смотрим на ближайшее и безотлагательное и, исходя из непосредственных потребностей, в будущее, окрашенное прошлым. Наше видение очень ограничено, наши глаза привыкли к тому, что близко. Наш взгляд также связан временем-пространством, как и наш мозг. Мы никогда не смотрим, мы никогда не видим за пределами этих ограничений; мы не умеем смотреть сквозь и за пределы этих фрагментарных границ. Но глаза должны видеть за их пределами, проникая глубоко и широко, не выбирая, не прячась; они должны странствовать за пределами установленных человеком границ идей и ценностей и ощущать то, что за пределами любви.

Тогда есть благословение, которого никакой бог не может дать.

Несмотря на встречу (*первая из девяти бесед в Саанене — селения вблизи Гштаада*), процесс идёт, довольно мягко, но идёт.

Проснулся сегодня утром достаточно рано с ощущением ума, который проник в неизведанные глубины. Это выглядело так, как будто ум уходил в себя, вглубь и вширь, и путешествие, казалось, происходило без движения. И было это переживание безмерности в изобилии и богатстве, которое было неподвластно искажению.

Удивительно, что хотя каждое переживание, состояние совершенно иное, это всё-таки одно и то же движение; хотя и кажется, что оно меняется, оно всё же неизменно.

Вчера всю вторую половину дня процесс продолжался и было достаточно тяжело. Гуляя в глубокой тени горы, рядом с журчащим потоком, при интенсивном процессе, чувствовал себя совершенно уязвимым, обнажённым и очень открытым; едва замечал, что существую. И красота покрытой снегом горы, заключённой в чаше двух тёмных поросших соснами склонов покатых холмов, трогала необычайно.

Ранним утром, когда солнце ещё не встало и на траве была роса и когда ещё спокойно лежал в постели без какой-либо мысли или движения, появилось видение, не поверхностное видение глазами, а видение через глаза из задней части головы. Глаза и задняя часть головы были только инструментом, через который неизмеримое прошлое смотрело в неизмеримое пространство, не имеющее времени. И позднее, всё ещё в постели, было видение, в котором, казалось, содержалась вся жизнь.

Как легко обманывать самого себя, выдумывать желательные состояния, которые при этом действительно переживаются, особенно когда в них есть удовольствие. Ни иллюзии, ни обмана нет, когда нет желания, сознательного или бессознательного, к переживанию какого бы то ни было рода, когда человек полностью безразличен к приходу и уходу всех переживаний, когда он ничего не ищет.

Это была чудесная поездка через две разные долины вверх к перевалу; вездесущие горные утёсы фантастических форм и изгибов, их одиночество и величие, и в отдалении зелёная, покатая гора производили впечатление на мозг, всё ещё безмолвный. Пока ехали, странная интенсивность и красота множества этих дней становилась всё более и более ощутимой. И другой это тоже чувствовал.

Проснулся очень ранним утром; то, что является благословением, и то, что является силой, были здесь; мозг осознавал их, как он осознаёт аромат, но это не было ощущением или эмоцией; они просто были здесь. Делайте что угодно, они всегда будут здесь; и с этим ничего нельзя было сделать.

Этим утром состоялась беседа; во время этой беседы мозг, который реагирует, думает, конструирует, отсутствовал. Мозг не работал, за исключением, вероятно, памяти в отношении слов.

Вчера мы гуляли по излюбленной дороге вдоль шумного потока в узкой долине с тёмными соснами, цветочными полями, массивной снежной горой и водопадом вдали. Было чудесно, спокойно и прохладно. Здесь, на прогулке, пришло это священное благословение, которое можно было почти потрогать; глубоко внутри шли движения перемены. Это был вечер очарования и красоты не от мира сего. Здесь было неизмеримое, и здесь было безмолвие.

Сегодня утром проснулся рано и отметил, что процесс был интенсивен, и через заднюю часть головы устремлялась вперёд, как стрела, и с тем характерным звуком, с каким стрела рассекает воздух, некая сила, движение, которое пришло ниоткуда и уходило в никуда. И было ощущение огромной устойчивости и «достоинства», к которому нельзя даже приблизиться. И строгость, которую никакая мысль не могла сформулировать, и вместе со строгостью чистота бесконечной мягкости. Всё это только слова, и поэтому они никак не могут выразить реальное; символ не есть реальное, и символ не имеет ценности.

Всё утро процесс продолжался, и чаша, которая не имеет ни высоты, ни глубины, казалось, наполнилась до краёв.

Встречался с людьми; после их ухода чувствовал себя как бы подвешенным между двумя мирами. И вскоре мир процесса и той неугасимой интенсивности вернулся. Откуда такое разделение? Те, с кем проходила встреча, серьёзными не были; в лучшем случае они считали себя серьёзными, но были серьёзны лишь поверхностным образом. Не мог отдать себя полностью, отсюда опять это чувство некоторого неудобства, но всё равно это было странное переживание.

Мы разговаривали, и внимание привлёк небольшой участок ручейка между деревьями. Это был обычный вид, какая-то будничная мелочь, но при этом что-то происходило, причём не какие-то внешние события, а присутствовало само ясное восприятие. Вот что абсолютно необходимо для его полной силы, его полного развития:

1) Полная простота, которая приходит со смирением, не простота в вещах или имуществе, но в самом качестве бытия. 2) Страсть, обладающая той интенсивностью, которая не является просто физической. 3) Красота; восприимчивость не только к внешней реальности, но чуткость к той красоте, которая за пределами и выше мысли и чувства. 4) Любовь; полнота её; не та любовь, что знает ревность, привязанность, зависимость, не та, что разделена на чувственную и божественную. Вся её безмерность. 5) Ум, который может проследивать, может проникать без мотива, без цели в свои собственные неизмеримые глубины; ум, у которого нет барьеров, который свободен странствовать без времени-пространства.

Внезапно осознал всё это и всё с этим связанное; всего лишь простой вид потока между увядающими ветвями и листьями, в унылый и дождливый день.

Когда мы говорили, без всякой причины — поскольку то, о чём говорили, было не слишком серьёзным, — из каких-то недостижимых глубин вдруг почувствовал это безграничное пламя могущества, разрушительного в своём творчестве. Это была мощь, существовавшая до появления всего на свете; она была неприступна — к ней нельзя было приблизиться из-за самой её силы.

Ничто не существует, кроме этого единственного. Безмерность и благоговение.

Часть этого переживания, должно быть, «продолжалась» во сне, потому что при пробуждении утром оно было здесь, и интенсивность процесса прервала сон. Никакие мысли и слова не в силах описать то, что происходит, удивительную странность и любовь, красоту этого. Никакое воображение никогда не смогло бы создать всё это, это также и не иллюзия; сила и чистота его не для фантазирующего ума и мозга. Оно за пределами и выше всех способностей человека.

День был облачный, с тяжёлыми тёмными облаками; с утра прошёл дождь, стало холодно. После прогулки мы разговаривали, но больше смотрели на красоту земли, домов и тёмных деревьев.

Внезапно произошла вспышка той непостижимой мощи и силы, которая физически потрясала. Тело замерло в неподвижности, и пришлось закрыть глаза, чтобы не потерять сознание. Это было нечто совершенно сокрушительное, и всё существовавшее казалось несуществующим. Неподвижность этой силы и разрушительная энергия, пришедшая с ней, выжгли ограничения зрения и слуха. Это было нечто неопишимо великое, чьи глубина и высота непознаваемы.

Сегодня рано утром, когда рассвет только что занялся, в небе не было ни облачка и показались покрытые снегом горы, проснулся с этим ощущением непостижимой силы в глазах и в горле; казалось, что это осязаемое состояние — нечто такое, чего никак не могло не быть здесь. Почти час оно было здесь, и мозг оставался пустым. Оно не было тем, что можно уловить мыслью и сохранить в памяти, чтобы вспоминать. Оно было здесь, и вся мысль была мертва. Мысль функциональна и полезна только в своей области; и об этом мысль думать не могла, ибо мысль есть время, а это было за пределами всякого времени и меры. Мысль, желание не могли стремиться к продолжению или повторению этого, поскольку мысль, желание полностью отсутствовали. Тогда что же вспоминает, чтобы всё это записать? Это просто механическая регистрация, но эта регистрация, слово, не является самой реальностью.

Процесс идёт, идёт более мягко, возможно, из-за бесед, и к тому же есть предел, за которым тело будет разрушаться. Но он идёт, постоянный и настойчивый.

Во время прогулки по той тропинке, прохладной и приятной, что следует течению стремительно бегущего потока, при множестве людей вокруг, было это благословение, нежное, как листва, и в нём была танцующая радость. Но за ним и в нём была и та безмерная прочная сила и мощь, что непостижима. Чувствовалась за ним безмерная глубина, нечто бездонное. Оно было здесь, на каждом шагу, с настойчивой безотлагательностью и, тем не менее, с бесконечным «безразличием». Как огромная высокая дамба, которая сдерживает воды реки, образуя обширное озеро на много миль, — таким было это безмерное. Но каждый момент происходило разрушение; не то разрушение, которое приносит новые изменения, изменение никогда не бывает новым, — а полное разрушение того, что было, чтобы этого уже никогда не могло быть. В этом разрушении не было насилия; насилие присутствует в изменении, в революции, в подчинении, в дисциплине, в контроле и господстве, но здесь всякое насилие, в любой форме и под любым именем, полностью прекратилось. Это разрушение есть то, что является творением.

Но творение — это не мир. Мир и конфликт принадлежат сфере перемен и времени, внешнему и внутреннему движению существования, но это было не причастие времени или какому-то движению в пространстве. То было разрушение чистое и абсолютное, и только в нём может быть «новое».

При пробуждении сегодня утром эта сущность была здесь; должно быть, она была всю ночь, а при пробуждении, казалось, заполнила всю голову и тело. И процесс идёт мягко. Нужно быть в одиночестве и спокойствии, и тогда это есть.

Когда записываю, это благословение здесь, как лёгкий ветерок среди листьев.

1 августа

Был прекрасный день, и при поездке по красивой долине было то, что невозможно отвергнуть; оно было здесь, как воздух, небо и эти горы.

Проснулся рано, с криком, так как процесс был интенсивен, но в течение дня, несмотря на беседу (*четвертая беседа в Саанене*), он шёл мягко.

Утром проснулся рано; ещё не умывшись, был вынужден сесть. Обычно какое-то время сижу в постели, прежде чем встать; сегодня всё вышло за рамки обычного образа действий, и это было настоящей и императивной необходимостью. Когда сел, очень быстро пришло это безграничное благословение, и вскоре ощутил, что вся эта мощь, вся эта непроницаемая, строгая сила была внутри, вокруг, в голове; а в самой середине всей этой безбрежности — полная тишина. Это была тишина, вообразить и сформулировать которую не сможет никакой ум; никакое насилие не может создать эту тишину; у неё не было причины, она не была результатом; это было спокойствие в самом центре гигантского урагана. Это было покоем всякого движения, сущностью всякого действия; это было взрывом творения, и только в такой тишине творение может иметь место.

И опять мозг не мог этого охватить, не мог включить это в свою память, в прошлое, потому что это не причастно времени, у этого не было будущего и не было прошлого или настоящего. Если бы оно было причастно времени, мозг мог бы овладеть им и оформить согласно своей обусловленности. Но поскольку это спокойствие есть полнота всякого движения и сущность всякого действия, жизнь без тени, то существо из мира тени никоим образом не могло измерить его. Оно слишком огромно, чтобы время могло удержать его, и никакое пространство не могло вместить его в себя.

Всё это могло длиться минуту или час. Перед сном процесс был острым, а весь день шёл в мягкой форме.

Проснулся рано, с сильным ощущением запредельности, иного мира, который выше всякой мысли; ощущение было очень интенсивным и таким же ясным и чистым, как раннее утро, безоблачное небо. Воображение и иллюзия изгнаны из ума, так как нет продолжения. Всё есть и никогда не было прежде. Где есть возможность продолжения, там заблуждение.

Утро было ясное, хотя вскоре после этого стали собираться облака. Глядя в окно, очень чётко видел поля и деревья. Происходит странная вещь: повышение чувствительности. Восприимчивости не только к красоте, но и ко всем прочим явлениям. Стебелёк травы был поразительно зелёным; этот единственный стебелёк содержал в себе все цвета спектра; он был интенсивным, ослепительным и таким маленьким созданием, его так легко разрушить. Эти деревья были полны жизни, с их высотой, их глубиной; очертания раскинувшихся вокруг холмов и одиноких деревьев были выражением всего времени и пространства; горы на фоне бледного неба далеко превосходили всех богов человека. Было невероятно видеть всё это, чувствовать всё это, просто глядя из окна. Взгляд очистился, сделался ясным.

Удивительно, как во время одной-двух бесед та сила, та мощь наполняла комнату. Казалось, она в глазах, дыхании. Она появляется внезапно и по большей части неожиданно, с энергией и интенсивностью совершенно ошеломительной, а в других случаях она присутствует спокойно и безмятежно. Но она здесь, хочешь того или нет. Нет никакой возможности привыкнуть к ней — так как её никогда не было и никогда не будет. Но она есть.

Процесс шёл спокойно; вероятно, таким его сделали эти встречи и разговоры с людьми.

Проснулся очень рано утром; было ещё темно, но вскоре должен был наступить рассвет; на востоке в отдалении был виден слабый свет. Небо было очень ясное, и очертания гор и холмов были уже видны. Было очень тихо.

Из этого великого безмолвия внезапно, когда сел в постели и мысль была спокойна и далека, когда не было даже намёка на чувство, пришло то, что составляло теперь прочное, неисчерпаемое бытие. Оно было прочно, без веса, без меры; оно было, и кроме него ничто здесь не существовало. Оно было без чего бы то ни было иного. Слова «прочное», «неподвижное», «несокрушимое» ни в коей мере не передают этого качества вневременной прочности. Ни одни из этих или каких-либо других слов не могли бы рассказать о том, что здесь было. Оно было только собой и ничем другим; оно было полнотой всех вещей, сущностью.

Чистота его сохранялась, оставляя человека без мыслей, без действия. Невозможно быть единым с ним; невозможно быть единым с быстро текущей рекой. Вы не можете быть единым с тем, что не имеет ни формы, ни меры, ни качества. Оно есть — вот и всё.

Каким глубоко зрелым и нежным стало всё; и, странным образом, вся жизнь — в нём; как молодой лист, совершенно беззащитная.

Когда проснулся рано утром, произошла вспышка «видения», «глядения», которое, кажется, продолжается, и оно будет продолжаться всегда. Оно началось нигде и уходило в никуда — но в этом видении заключено было всё видение и все вещи. То был взор, который уходил за холмы, потоки, горы, проходил землю, горизонт и людей. В этом видении был проникающий свет и невероятная быстрота. Мозг не может следовать за ним, и ум не может вместить его. Оно было чистым светом и быстротой, которые не знают сопротивления.

Во время вчерашней прогулки красота света среди деревьев и на траве была настолько интенсивной, что дыхание буквально перехватывало и тело слабело.

Позднее сегодня утром, когда как раз собирался позавтракать, словно нож, вонзившийся в мягкую землю, вошло то благословение, с его мощью и силой. Оно появилось как молния, и так же быстро исчезло.

Процесс был довольно интенсивным вчера после полудня; сегодня утром несколько слабее. В теле какая-то хрупкость.

6 августа

Хотя спал, не очень хорошо, при пробуждении сознавал, что процесс шёл всю ночь и, много больше, имел мест расцвет того благословения. Было ощущение как бы его воздействия.

С пробуждением происходило истечение, изливание этой мощи и силы. Она была как поток, вырывающийся из скал, из земли. В этом было странное и невообразимое блаженство, экстаз, не имеющий никакого отношения к мысли и к чувству.

Здесь есть осина, и её листья трепещут на ветру, и без этого танца нет жизни.

Очень устал после беседы (*беседа эта была днем раньше*) и встреч с людьми, и ближе к вечеру мы вышли на небольшую прогулку. После сияющего дня собирались тучи, и ночью должен был пойти дождь. Тучи скапливались на горах, и поток производил изрядный шум. На дороге было пыльно от автомобилей, а через поток был переброшен узкий деревянный мост. Мы перешли этот мост и пошли вверх по заросшей травой тропинке, и зелёный склон был полон цветов великого множества оттенков.

Тропинка мягко поднималась мимо коровника, он был пуст; коров увели на пастбища, которые были намного выше. Здесь было спокойно без людей и при шуме стремительного потока. Тихо, в покое, пришло это, так мягко, что человек не осознавал его, так близко к земле, среди цветов. Оно распространялось, покрывая землю, и человек был в этом, — не как наблюдатель, а принадлежа этому. Не было никакой мысли или чувства — полное спокойствие мозга. Внезапно пришла невинность, такая простая, такая ясная и нежная. Это был луг невинности, вне всякого удовольствия и боли, за пределами всех мучений надежды и отчаяния. Она была здесь, и она делала ум, всё человеческое существо невинным; и человек принадлежал этому, — вне меры, вне слова, — ум прозрачен, мозг юн вне времени.

Это продолжалось какое-то время, было уже поздно, и нам пришлось вернуться.

Сегодня утром после пробуждения потребовалось немножко времени, чтобы то беспредельное пришло, но оно пришло, и мысль и чувство умолкли. Когда чистил зубы, интенсивность его была острой и чёткой. Оно приходит так же внезапно, как уходит; ничто не может удержать его, и ничто не может его призвать.

Процесс шёл довольно остро, и боль была резкой.

При пробуждении всё было спокойно, поскольку предыдущий день был утомительным. Было удивительно тихо; сел, чтобы заняться обычной медитацией. Неожиданно, как слышится отдалённый звук, это началось, спокойно, мягко, и вдруг возникло в полной силе. Так продолжалось, должно быть, несколько минут. Это ушло, но оставило свой аромат глубоко в сознании и своё видение в глазах.

Во время беседы (*это седьмая беседа, посвященная, в основном, медитации*) сегодня утром присутствовала та беспредельность со своим благословением. Каждый, должно быть, интерпретировал это по-своему, разрушая тем самым её неопишемую природу. Любая интерпретация искажает.

Процесс шёл остро, и тело стало довольно хрупким. Но за всем этим есть чистота невероятной красоты; это красота не вещей, созданных мыслью или чувством или талантом какого-нибудь мастера, она как река, которая течёт, питая и оставаясь безразличной, загрязняемая и используемая; она есть, полная и богатая сама собою. И сила, которая не имеет ценности ни в общественном устройстве, ни в поведении человека. Но она здесь, бесстрастная, безмерная, недоступная. Благодаря ей существует всё.

Опять сегодня утром, проснувшись, чувствовал, что ночь была пустая; это уже немало, ведь тело от беседы [накануне] и встреч с людьми устало. Когда сидел, как обычно, в кровати, тело было спокойно; земля спала, не было ни звука, и утро было облачное. Откуда бы оно ни пришло, оно пришло внезапно и полностью, это благословение с его силой и мощью. Оно оставалось, заполняя комнату и всё вокруг, а потом ушло, оставив после себя ощущение простора, чья высота была недоступна слову.

Вчера, гуляя среди холмов и ручьёв, среди приятного покоя и красоты, снова осознал эту странную, глубоко трогательную невинность. Она спокойно, без всякого сопротивления проникала, входила в каждый уголок и изгиб ума, очищая его от всякой мысли и чувства. Она делала человека пустым и полным. Вдруг всякое время остановилось. Каждый осознавал её приход (вероятно, он гулял с друзьями).

Процесс идёт, но более мягко и глубоко.

Прошёл дождь, резкий и очень сильный, смывая белую пыль с больших круглых листьев по краям немощёной дороги, которая вела глубоко в горы. Воздух был мягкий, спокойный и на такой высоте не душный; он был приятен, чист, с запахом умытой дождём земли. Поднимаясь по дороге, осознавал красоту земли и очертаний крутых холмов на фоне вечернего неба, массивной скалистой горы, с её ледником и широким снежным полем, множества цветов на лугах. Это был вечер величайшей красоты и покоя. Поток, такой буйный, от недавнего сильного дождя стал грязным; он утратил эту особую яркую прозрачность горной воды, но через несколько часов он снова станет прозрачным.

Когда смотрел на массивные скалы, с их изгибами и формами, и на сверкающий снег, в полудрёме, без всяких мыслей в уме, вдруг возникло огромное, беспредельное достоинство силы и благословения. Оно мгновенно наполнило долину, и ум не имел для него меры; оно было далеко за пределами слова. Снова пришла невинность.

При пробуждении рано утром оно было здесь, и медитация стала несущественной, и все мысли умерли, и все чувства прекратились; мозг был полностью спокоен. В его описании нет реальности. Оно было здесь, неприкосновенное и непознаваемое. Оно никогда не бывает тем, что было; в нём нескончаемая красота.

Это было необыкновенное утро. Так происходило целых четыре месяца, невзирая на окружение, невзирая на состояние тела. Никогда оно не то же самое, и всё же оно всегда то же самое; оно — разрушение и никогда не прекращающееся творение. Его мощь и сила — вне всяких слов и сравнений. И оно никогда не продолжается; оно — смерть и жизнь.

Процесс шёл довольно остро, однако всё это представляется достаточно несущественным.

(Здесь начинается записная книжка большего размера). Когда сидел в автомобиле, около бурного горного потока, среди зелёных, обильных лугов, под темнеющим небом, эта неуязвимая невинность, чья строгость — красота, была здесь. Мозг был совершенно спокоен, и она коснулась его.

Мозг питается реакцией и опытом; он живёт опытом. Но опыт всегда ограничивает и обуславливает; память — механизм действия. Без опыта, знания и памяти действие невозможно, но такое действие фрагментарно, ограничено. Рассудок, организованная мысль, — всегда неполон; идея, отклик памяти, — бесплодна, а вера — убежище мысли. Всякое переживание только усиливает мысль, негативно или позитивно.

Переживание обусловлено опытом, прошлым. Свобода — опустошение ума, освобождение его от опыта. Когда мозг перестаёт питать себя через опыт, память и мысль, когда он умирает для переживания, тогда деятельность его перестаёт быть эгоистичной. Тогда он получает своё питание из чего-то другого. И именно такое питание делает ум религиозным.

При пробуждении сегодня утром, независимо от всякой медитации, от мысли или заблуждений, вызываемых чувствами, был интенсивно яркий свет в самом центре мозга и за пределами мозга, в самом центре сознания, в центре всего существа. То был свет, не имеющий тени; он не входил ни в какое измерение. Он был здесь без всякого движения. С этим светом присутствовала та невообразимая сила и красота, запредельная мысли и чувству.

Процесс шёл довольно остро во второй половине дня.

Вчера, во время прогулки по долине, среди гор, закрытых тучами, и у потока, казавшегося более шумным, чем когда-либо, было ощущение поразительной красоты. Не то чтобы луга, холмы и тёмные сосны изменились, только свет был другой, более мягким, и с ясностью, которая, казалось, пронизывала всё, не оставляя никакой тени. Поднявшись по идущей вверх дороге, мы могли смотреть вниз, на ферму, с зелёными пастбищами вокруг неё. Это был зелёный луг с невиданно яркой зеленью, но та маленькая ферма с тем зелёным пастбищем содержали в себе всю землю и всё человечество. В этом была абсолютная законченность; это была законченность красоты, не терзаемой мыслью и чувством. Красота картины, песни, здания создана человеком, её можно сравнивать, критиковать, дополнять, но эта красота не была делом рук человеческих. Всё, сделанное руками человека, нужно полностью отвергнуть, чтобы присутствовала эта красота. Ибо она требует полной невинности, абсолютной строгости; не той невинности, которая изобретена мыслью, или строгости и самоограничения жертвы. Только когда мозг свободен от времени, когда реакции его полностью утихли, эта строгая невинность, чистота имеет место.

Проснулся задолго до рассвета, когда воздух очень спокоен, а земля пребывает в ожидании солнца. Проснулся с какой-то особенной, странной ясностью, и с какой-то настоятельностью, требующей полного внимания. Тело было абсолютно неподвижно — неподвижностью, где нет никакого усилия, никакого напряжения. Внутри головы происходило что-то особенное, это было каким-то специфическим феноменом. Громадная широкая река текла с давлением огромной массы воды, текла между высоких гладких гранитных скал. По обе стороны этой громадной широкой реки был отполированный сверкающий гранит, на котором ничего не росло, ни одной травинки; не было ничего, кроме крутой и гладкой скалы, уходящей ввысь — за пределы, доступные глазу. Река совершала свой путь безмолвно, без какого-либо журчания, бесстрастная, величественная. Она действительно была; это не было сном, видением или символом, которые надлежит как-то истолковать. Она была здесь, вне всякого сомнения; и она не была продуктом воображения. Никакая мысль не смогла бы изобрести её; она была слишком огромной и реальной, чтобы мысль могла выдумать её.

Неподвижность тела и эта огромная река, текущая между гладких гранитных стен мозга, — это продолжалось полтора часа, по часам. Через открытое окно глаза могли видеть наступающий рассвет. Не было никаких сомнений в реальности происходящего. В течение полутора часов всё существо было внимательным, без усилия, без отвлечения. Совершенно внезапно это прекратилось, и начался день.

Этим утром благословение наполняло комнату. Шёл сильный дождь, однако позже небо прояснилось.

Процесс, с его давлением и его болью, идёт мягко.

Беспредельное не есть слово — ведь тропинка, поднимающаяся в гору, не может вместить в себя всю эту гору. Но, тем не менее, при подъёме по склону горы с маленьким ручейком, бегущим у подножья, это невероятное безымянное беспредельное было здесь; и ум и сердце наполнились им; каждая капля воды на листке или на траве светилась им.

Всю ночь и всё утро шёл дождь, и облачность была густая, но сейчас показалось над высокими холмами солнце, и тени заиграли на зелёных умытых лугах, изобилующих цветами. Трава была очень сырая, и солнце освещало горы. Подъём по этой тропинке — само очарование, и случайный разговор, казалось, никак *[слово утеряно]*красоту этого света или простой мир, лежащий на этом поле. Благословение этой беспредельности было здесь, и здесь была радость.

При пробуждении сегодня утром опять была та непостижимая сила, чья мощь есть благословение. Она ощущалась, и мозг осознавал её без каких-либо своих собственных реакций. Эта сила делала чистое небо и Плеяды неопишимо прекрасными. И раннее солнце на горе с её снегом было светом мира.

Во время беседы (*последняя беседа, в основном о религиозном уме*) она была здесь, недоступная и чистая, и после полудня она появилась в комнате, быстрая, как молния, и ушла. Но она всегда в какой-то мере здесь, со своей странной невинностью, недоступная для глаз.

Процесс был довольно острым, как прошлой ночью, так и сейчас, когда ведётся эта запись.

Хотя тело в это утро было очень усталым после беседы [вчерашней], встреч с людьми, тем не менее, когда сидел в автомобиле под развесистым деревом, шла странная глубинная деятельность. Это не была деятельность, которую мозг, с его обычными реакциями, смог бы понять, сформулировать; она была за пределами его возможностей. Но это была деятельность, глубоко внутри, и она преодолевала любое препятствие. Но невозможно описать ни природу, ни характер той деятельности. Подобно глубинным подземным водам, которые прокладывают себе путь на поверхность, эта деятельность была гораздо глубже уровня всякого сознания.

Осознаётся рост чувствительности мозга; цвет, форма, очертания, общие формы вещей — всё стало более интенсивным и необыкновенно живым. У теней, кажется, своя собственная жизнь, жизнь большей глубины и чистоты. Был прекрасный, тихий вечер; среди листвы гулял ветерок, листья осины дрожали и танцевали. Высокий и прямой ствол растения с кроной из белых цветов, тронутых бледно-розовым, стоял у горного потока, как страж. Поток был золотым в лучах заходящего солнца, а деревья стояли в глубоком безмолвии; даже проезжающие автомобили, казалось, не тревожили их. Покрытые снегом горы были плотно укутаны тёмными, тяжёлыми облаками, и луга излучали невинность.

Весь ум был далёк от всякого переживания. И медитирующий молчал.

Во время прогулки вблизи потока, у подножия укутанных облаками гор, были моменты интенсивного безмолвия, подобные сияющим пятнам голубого неба среди расходящихся облаков. Был холодный, промозглый вечер, с ветром, дующим с севера. Творение — не для талантливых, не для одарённых; они знают только творчество, но не творение. Творение — за пределами мысли и образа, за пределами слова и выражения. Его нельзя передать, ибо его нельзя сформулировать, нельзя облечь в слова. Его можно ощутить при полном осознании. Его нельзя использовать и выставить на продажу, нельзя, поторговавши, продать.

Мозг со всем сложным разнообразием своих реакций не может понять его. У мозга нет способов соприкоснуться с ним; он совершенно на это не способен. Знание — препятствие, и без самопознания творение невозможно. Интеллект, этот отточенный инструмент мозга, никаким образом не может приблизиться к нему. Весь мозг, с его скрытыми, тайными потребностями и устремлениями и многообразными хитроумными добродетелями, должен быть абсолютно спокойным, безмолвным, но всё же живым и тихим. Творение — не выпечка хлеба, не писание стихов. Вся деятельность мозга должна прекратиться, легко и добровольно, без конфликта и боли. Не должно быть и тени конфликта и подражания.

Тогда существует это удивительное движение, называемое творением. Оно возможно только в полном, абсолютном отрицании; творение невозможно в потоке времени, и пространство не может покрыть его. Необходима полная смерть, тотальное разрушение, чтобы оно имело место.

При пробуждении сегодня утром было полное безмолвие, внешне и внутренне. Тело и мозг, измеряющий и взвешивающий, были спокойны, находились в состоянии неподвижности, хотя были бодрыми и очень чуткими. И спокойно, как приходит рассвет, пришла она, откуда-то глубоко изнутри, эта сила с её энергией и чистотой. Казалось, у неё не было ни корней, ни причины, но, тем не менее, она была здесь, интенсивная и прочная, с не поддающимися измерению глубиной и высотой. Какое-то время, если судить по часам, она оставалась, а затем ушла, как уходит за гору облако.

Каждый раз есть что-то «новое» в этом благословении, «новое» качество, «новый» аромат, и, тем не менее, оно неизменно. Оно совершенно непознаваемо.

Процесс какое-то время был острым; сейчас он идёт в мягкой форме. Всё это очень странно и непредсказуемо.

Между двух огромных, бесконечных туч оставалось пятно голубого неба; оно было чистым, поразительно голубым, таким мягким и проникновенным. Через несколько минут ему предстояло быть поглощённым и исчезнуть навсегда. Неба такой голубизны уже никогда не увидеть снова. Большую часть ночи и всё это утро шёл дождь, и свежий снег лежал на горах и высоких холмах. И луга были зеленее и ярче, чем когда-либо, но этого маленького пятнышка прозрачного голубого неба уже никогда не увидеть снова. В этом пятнышке был свет всех небес и голубизна всего неба. Пока смотрел на пятно, его форма начала меняться, и облака торопились закрыть его, чтобы видимая его часть стала не слишком велика. Оно исчезло, чтобы никогда не появиться вновь. Но его видели, и чудо его остаётся.

В тот момент, когда лежал на диване, пока облака побеждали голубизну, пришло, совершенно неожиданно, это благословение с его чистотой и невинностью. Оно пришло в изобилии и заполняло комнату, пока комната и сердце не могли уже больше вместить; его интенсивность была особенно непреодолимой и пронзительной, и его красота легла на землю. Солнце освещало пятно яркой зелени, и тёмные сосны были спокойны и безразличны.

Сегодня утром, — было очень рано, рассвет должен был наступить часа через два, — проснувшись и не ощущая никакого сна ни в едином глазу, осознал бесконечную бодрость; у неё не было причины, и ни сентиментальность, ни эмоциональная причуда, или энтузиазм, не стояли за ней; она была ясной, простой, весёлой, незасоренной и богатой, нетронутой и чистой. Не было за ней никакой мысли или довода, и нельзя было понять её, потому что не было для неё причины. Эта бодрость изливалась из всего существа, и это существо было совершенно пустым. Словно водный поток, устремляющийся со склона горы естественно и энергично, веселье это изливалось в огромном изобилии, приходя ниоткуда и уходя в никуда, но сердце и ум уже никогда не будут прежними.

Качество этого веселья, рвущегося вперёд, не осознавалось; оно было, и его природа, скорее всего, покажет себя времени, однако у времени не будет для него меры. Время ничтожно, и оно не может взвешивать изобилие.

Тело было довольно хрупким и пустым, но в прошлую ночь и утром процесс был острым, не продлившийся долго.

Был облачный, дождливый день, с северо-западным ветром, сильным и холодным. Мы шли по дороге, ведущей к водопаду, от которого и бежал этот шумный поток; людей на дорогах было мало, и изредка проезжали автомобили, а поток мчался быстрее, чем обычно. Мы шли вверх по дороге, ветер дул нам в спину; узкая долина расширялась, и на ярком зелёном пастбище виднелись солнечные пятна. Они [рабочие] расширяли дорогу, когда же мы проходили, приветствовали нас и дружелюбными улыбками и несколькими словами по-итальянски. Они весь день трудились, копали, перетаскивали камни, так что казалось невероятным, что они вообще могли улыбаться. Но они улыбались; а ещё дальше под большим навесом современными машинами распиливали брёвна, сверлили отверстия в тяжёлых деревянных брусках, вырезали на них узоры. Долина всё более и более открывалась взору — дальше была видна деревня, ещё дальше водопад из ледника высоко в скалистой горе.

Больше чувствовал, чем видел красоту земли и этих усталых людей, быстро бегущего потока и мирных лугов. На обратном пути, недалеко от дома, всё небо закрыли тяжёлые облака, и заходящее солнце вдруг осветило некоторые утёсы высоко в горах. Это пятно солнечного света на поверхности скал раскрывало глубины красоты и чувства, которые не может передать никакая статуя, никакой рукотворный идол. Казалось, что эти скалы светились изнутри своим собственным светом, безмятежным и никогда не увядающим. На этом день закончился.

Только проснувшись рано следующим утром, осознал великолепие и любовь предыдущего вечера, который уже прошёл. Сознание не может вместить беспредельность невинности; оно может получить, принять её, но не следовать за ней или культивировать её. Всё сознание должно быть спокойно, не желая, не выискивая, не преследуя. Всё сознание должно быть в покое, лишь тогда может появиться то, что не имеет ни начала, ни конца. Медитация есть опустошение сознания, не принимать и вмещать, а быть свободным от всякого усилия. Тишине необходимо пространство, не пространство, которое создано мыслью и её активностью, но то пространство, которое возникает через отрицание и разрушение, когда ничего не остаётся от мысли и проекций мысли. Лишь в этой пустоте возможно творение.

При пробуждении, рано утром, красота этой силы с её невинностью была здесь, глубоко внутри, выходящая на поверхность ума. Она обладала свойством бесконечной пластичности, но ничто не могло придать ей форму; её нельзя было приспособить, подчинить человеческому шаблону. Её нельзя было уловить символами или словами. Но она была здесь, беспредельная, неприкосновенная. Всякая медитация казалась пустой и глупой. Оставалась только она, и ум был спокоен.

Несколько раз в течение дня, когда был незанятым, это благословение приходило и уходило.

Желания и призывы здесь вообще не имеют никакого значения.

Процесс идёт спокойно.

Дождь шёл большую часть ночи, и стало довольно холодно; на высоких холмах и горах лежало много свежего снега. К тому же дул пронзительный ветер. Зелёные луга были необычайно яркими, их зелень поражала. Дождь шёл и большую часть дня, лишь к вечеру начало проясняться, и среди гор появилось солнце. Мы гуляли по тропинке, которая вела из одной деревни в другую, по тропинке, которая вьётся среди ферм, среди обильных зелёных лугов. Столбы, несущие тяжёлые электрические провода, выглядели впечатляюще на фоне вечерних небес; при взгляде на эти вздымающиеся стальные конструкции на фоне несущихся облаков ощущались красота и сила. Переходя деревянный мост, видел полноводный поток, вздвигшийся от всего этого дождя; поток мчался стремительно, с энергией и силой, которая есть только у горных потоков. Глядя вверх и вниз по течению потока, сдерживаемого тесно сжавшимися берегами из скал и деревьев, осознавал движение времени, прошлого, настоящего и будущего; этот мост и был настоящим временем, и вся жизнь двигалась и жила через это настоящее.

Но помимо всего, на этой размытой дождём и скользкой тропинке было иное, мир, которого никогда не сможет коснуться человеческая мысль, её дела и бесконечные печали. Этот мир не был продуктом надежды или веры. Он не полностью осознавался в тот момент; было слишком много другого для наблюдения, ощущения, обоняния: облака, бледно-голубое небо за горами и солнце среди них, вечерний свет на сверкающих лугах, запах коровьих хлевов и красные цветы вокруг ферм. Это иное было здесь, покрывая всё это, не упуская ничего даже самого малого, и когда уже лежал без сна в постели, оно пришло, вливаясь, наполняя ум и сердце. Тогда осознал его тонкую красоту, его страсть и любовь. Но не ту любовь, которая заключена в образы, вызывается символами, картинками и словами, не ту любовь, что облачена в ревность или зависть, но ту любовь, что присутствует свободно от мысли и чувства, являя собой движение плавное, гладкое, изменчивое, вечное. Красота этого иного — здесь, со всем samozабвением страсти. Страсти, присущей этой красоте, нет, если нет строгости. Строгость не есть нечто от ума, старательно накапливаемое жертвоприношениями, подавлением или дисциплиной. Всё это должно естественным образом прекратиться, потому что никакого значения для иного не имеет. Оно пришло, изливаясь в своём безмерном изобилии. Эта любовь не имела ни центра, ни периферии, эта любовь была такой полной, настолько неуязвимой, что не имела в себе тени, поэтому она была легко разрушимой в любой момент.

Мы всегда смотрим снаружи внутрь; от знания мы переходим к следующему знанию, всё время добавляя, и даже изъятие означает ещё одно добавление. Наше сознание состоит из тысячи воспоминаний и узнаваний: трепещущего листа, цветка, того человека, проходящего мимо, того ребёнка, бегущего через поле, скалы и потока, ярко-красного цветка и скверного запаха свинарника. Исходя из такого воспоминания и узнавания, из внешних реакций, мы пытаемся осознать скрытые уголки, более глубокие мотивы и стремления; мы пытаемся всё глубже и глубже войти в беспредельные глубины ума. Весь этот процесс вызовов и откликов, движения переживания и узнавания скрытой и явной активности, всё это и есть сознание, прикованное к времени.

Чаша — это не только форма, цвет, дизайн, но также и пустота внутри чаши. Чаша — это пустота, содержащаяся внутри формы, без этой пустоты не было бы ни чаши, ни формы. Мы знаем сознание по внешним признакам, по его ограничениям в высоту и глубину, ограничениям мысли и чувства. Но всё это — внешняя форма сознания; исходя из внешнего, мы пытаемся найти внутреннее. Возможно ли это? Теории и спекуляции не имеют смысла; они, в действительности, препятствуют всякому открытию, обнаружению чего-либо. Исходя из

внешнего, мы пытаемся найти внутреннее; исходя из известного, мы надеемся найти неизвестное. Возможно ли исходя из внутреннего, исследовать внешнее? Инструмент, исследующий исходя из внешнего, мы знаем, но существует ли такой инструмент, который ведёт исследование от неизвестного к известному? Есть такой? Как он может быть? Его не может быть. Если он есть, он распознаваем, а если распознаваем, он внутри поля известного.

Это странное благословение приходит, когда оно хочет, но с каждым его приходом глубоко внутри происходит трансформация; оно никогда не бывает тем же самым.

Процесс продолжается — иногда умеренно, иногда остро.

Был прекрасный день, безоблачный день, день теней и света; после сильных дождей солнце сияло в чистом, прозрачно-голубом небе. Горы с их снегами были очень близко, их почти можно было коснуться; они чётко выступали на фоне неба. Яркие, блестящие луга сверкали на солнце, каждая травинка танцевала свой танец, листья же в своём движении были более тяжеловесными и неуклюжими. Долина сияла, и как будто смеялась; это был чудесный день с тысячами теней.

Тени живее, чем реальность; тени длиннее, глубже, богаче; и кажется, что у них своя жизнь, независимая и защищающая; притягательность их несёт в себе особое удовлетворение. Символ становится более важным, чем реальность. Символ даёт убежище; и так легко найти утешение в его убежище. Вы можете делать с ним, что вы хотите, он никогда не будет противоречить, он никогда не изменится; его можно увешивать гирляндами или посыпать пеплом. Есть необычайная приятность в мёртвом предмете, в картине, в выводе, в слове. Они мертвы, несмотря на все призывы; и есть удовольствие в множестве запахов вчерашнего. Мозг—это всегда вчерашнее, а сегодня — тень вчерашнего дня, и будущее есть продолжение этой тени; несколько изменённое, оно всё равно пахнет вчерашним. Поэтому мозг живёт в тенях, всё его существование протекает в тенях; так безопаснее, комфортнее.

Сознание всё время воспринимает, накапливает и, исходя из накопленного, интерпретирует; воспринимает через свои поры; накапливает, переживает, исходя из накопленного; оно судит, компилирует, модифицирует. Оно смотрит, не только через глаза, через мозг, но и через этот задний план. Сознание возникает, чтобы воспринимать, и в восприятии оно существует. В своих скрытых глубинах оно накопило то, что восприняло за столетия, — инстинкты, воспоминания, защитные механизмы, — добавляя и добавляя, исключая только для того, чтобы добавить ещё. Когда это сознание выглядывает наружу, то это для того, чтобы взвешивать, уравнивать и воспринимать. И когда оно смотрит внутрь, это всё равно внешний взгляд — взвешивать, уравнивать и воспринимать; процесс внутреннего совлечения покровов, внутреннего саморазоблачения — ещё одна форма добавления. Этот обусловленный временем процесс идёт и идёт, с болью, с мимолётной радостью и скорбью.

Но смотреть, видеть, слушать без этого сознания—движение, в котором нет приобретения, это целостное, всеохватывающее движение свободы.

Такое движение не имеет центра, точки, малой или расширенной, из которой оно идёт; таким образом, оно действует во всех направлениях, без барьера времени-пространства. При таком движении выслушивание целостно и полно, взгляд целостен и полон. Это движение есть сущность внимания. Во внимании заключены все отвлечения, потому что нет никаких отвлечений. Только концентрация знает конфликт отвлечения. Всякое сознание есть мысль, выраженная или невыраженная, словесная или ищущая слова; мысль как чувство, чувство как мысль. Мысль никогда не бывает в покое; реакция, выражающая себя, это мысль, и мысль умножает реакции всё более. Красота тогда — чувство, выражаемое мыслью. Любовь всё ещё внутри поля мысли. Существуют ли любовь и красота в ограде мысли? Есть ли красота, когда есть мысль? Те красота и любовь, которые известны мысли, являются противоположностью безобразия и ненависти. Красота не имеет противоположности, как и любовь.

Видение без мысли, без слова, без отклика памяти полностью отличается от видения с мыслью и чувством. То, что вы видите с мыслью, поверхностно; видение тогда лишь частичное, это вообще не видение. Видение без мысли — полное видение. Видение облака над горой без мысли и её реакции есть чудо новизны; это не «прекрасное», это нечто взрывное в своей безмерности; это нечто такое, чего никогда не было и не будет. Чтобы видеть, слышать,

сознание во всей его полноте должно быть безмолвно, тогда происходит разрушительное творение. Это полнота жизни, а не фрагмент всей мысли. Здесь нет красоты, а только облако над горой; это акт творения.

Заходящее солнце касалось горных вершин, сияющих и вызывающих трепет, и земля была тиха. Был только цвет, а не разные цвета; было только слушание, а не множество звуков.

Этим утром проснулся поздно, когда солнце уже залило холмы; это благословение, подобное сияющему свету, уже было здесь; у него, кажется, собственная сила и власть. Подобно отдалённому журчанию воды, проявляется деятельность — не мозга, с его желаниями и его обманами, а деятельность интенсивности.

Процесс идёте переменной интенсивностью; иногда очень остро.

Был превосходный день; небо было ярко голубым, и всё сверкало в утреннем солнце. Редкие облака лениво блуждали, не зная, куда им пойти. Солнечные лучи на трепещущих листьях осины были блистающими драгоценностями на фоне зелёных покатых холмов. Луга за ночь изменились, они стали более интенсивными, более мягкими и невообразимо зелёными. Вдали, на холме, три коровы лениво щипали траву, и колокольчики их были слышны в чистом воздухе раннего утра; они двигались строем, своим неуклонным жеванием прокладывая себе дорогу с одного конца луга на другой. Лыжный подъёмник проехал над ними, но они даже не потрудились посмотреть вверх или как-нибудь обеспокоиться. Это было прекрасное утро; снежные горы чётко вырисовывались в небе, настолько ясно, что можно было видеть множество маленьких водопадов. То было утро длинных теней и бесконечной красоты. Так странно, но в этой красоте пребывала любовь, и в этом была такая мягкость, что всё, казалось, замерло, чтобы какое-нибудь движение не пробудило скрытую тень. А облаков стало немного больше.

Поездка была прекрасная, и автомобиль, казалось, наслаждался тем, для чего он построен; он брал каждый изгиб, даже крутой, легко и охотно, и вверх по длинному склону шёл без всякого стука, а нужна была немалая мощь, чтобы подняться туда, куда вела дорога. Он был подобен животному, который знает свою силу. Дорога же петляла туда-сюда через тёмный и освещённый солнцем лес, и каждое пятно света было живым, оно танцевало вместе с листьями; каждый изгиб дороги открывал ещё больше света, ещё больше танцев и ещё больше восторга. Каждое дерево, каждый лист были сами по себе, интенсивные и безмолвные. Через маленький просвет в деревьях вы видели пятно поразительно зелёного луга, открытого солнцу. Это настолько потрясло, что забывалось, что вы на опасной горной дороге. Но дорога стала пологой и лениво выворачивалась в другую долину. Теперь облака сгущались, и было приятно без жгучего солнца. Дорога стала почти горизонтальной, если горная дорога может быть горизонтальной; она проходила мимо тёмного, покрытого соснами холма, впереди были огромные могучие горы, скалы и снега, зелёные поля, водопады, маленькие деревянные хижины и распростёртые, изогнутые контуры горы. С трудом можно было поверить тому, что видели глаза, — ошеломляющее достоинство этих скульптурных скал, свободная от деревьев и покрытая снегом гора, утёс за утёсом бесконечного скального массива, а прямо рядом с ними были зелёные луга, заключённые в широкие объятия горы. Это действительно было почти невероятно; здесь были красота и любовь, разрушение и бесконечность творения — не в этих скалах, не в этих полях и не в этих маленьких хижинах; это было не в них, это не было их частью. Оно было далеко за их пределами и выше их. Оно пришло с таким величием и таким грохотом, какого никакие глаза и уши не могли видеть и слышать, с такой полнотой и безмолвием, что мозг с его мыслями стал ничем, подобно этим мёртвым листьям в лесу. Оно было здесь — в такой изобилии и с такой силой, что и мир, и деревья, и земля пришли к концу. Это была любовь, творение и разрушение. И не было ничего другого.

Здесь была сама сущность глубины. Сущность мысли — то состояние, когда мысли нет. Какой бы глубоко и широко развитой ни была мысль, она всегда останется и узкой, и поверхностной. Окончание мысли является началом этой сущности. Окончание мысли есть отрицание, а то, что отрицательно, не имеет положительного пути; нет ни метода, ни системы к окончанию мысли.

Метод, система является позитивным подходом к отрицанию, и поэтому мысль никогда не может найти сущность самой себя. Мысль должна прекратиться, чтобы имела место эта сущность. Сущность бытия — не-бытие, и чтобы «видеть» глубину не-бытия, нужна свобода от

становления. Нет свободы, если имеется продолжение; то, что имеет продолжение, связано временем. Каждое переживание привязывает мысль к времени, а ум, который пребывает в состоянии непереживания, осознаёт всю сущность. Это состояние, в котором всякое переживание пришло к концу, — не паралич ума; наоборот, увядает добавляющий ум, ум, который накапливает. Ведь накопление механично, это подражание; отказ от приобретения и просто приобретение в равной мере являются повторением, подражанием. Ум, который полностью разрушает этот накопительный и оборонительный механизм, свободен, и поэтому переживание теряет своё значение.

Тогда есть только факт, не переживание факта; мнение о факте, оценка его, его красота или не-красота, означают переживание факта. Переживать факт значит отвергать его, бежать от него. Переживание факта, без мысли или чувства, — глубочайшее событие.

При пробуждении сегодня утром присутствовала эта странная неподвижность тела и мозга; и с этим пришло движение входа в бездонные глубины интенсивности и великого блаженства, и здесь было это иное.

Процесс идёт умеренно.

Снова был ясный, солнечный день, с длинными тенями и сверкающими листьями; горы были спокойными, твёрдыми и близкими, а небо необычайно голубым, чистым, мягким. Тени заполнили землю; это было утро теней, маленьких и больших, длинных и тощих, жирных и удовлетворённых, уютно усевшихся и игривых, как эльфы. А верхушки крыш ферм и домов светились, как полированный мрамор, новые и старые. Казалось, что среди деревьев и лугов — великое веселье и переключка; они существовали друг для друга и над ними были небеса, но не те, что сотворены человеком, с их мучениями и надеждами. И была жизнь, огромная, сверкающая, вибрирующая и простирающаяся во всех направлениях. Это была жизнь всегда юная и всегда опасная; жизнь, которая никогда не стоит на месте, которая странствует по земле, никогда не оставляя следов, никогда ничего не выпрашивая, ничего не требуя. Она была здесь в изобилии, без тени и смерти; её не заботило, откуда она пришла и куда пойдёт. Это была замечательная жизнь, свободная, светлая и бездонная. И она существовала не для того, чтобы её запирали; там, где её запирали, — в местах поклонения, на рыночной площади, в доме — были упадок, разложение с присущими им постоянными изменениями и улучшениями. Она была простой, величественной и потрясающей, красота её недоступна мысли и чувству. Она так велика и несравненна, что наполняет землю и небеса и травинку, которая гибнет так быстро. Она здесь, с любовью и смертью.

В лесу было прохладно от шумного потока в нескольких футах внизу; сосны вздымались к небесам, никогда не сгибаясь, чтобы взглянуть на землю. Здесь было великолепно; чёрные белки поедали древесные грибы и гонялись друг за другом вверх и вниз по деревьям, прочерчивая в своём движении какие-то узкие спирали; была здесь и малиновка, скачущая вверх и вниз, или что-то похожее на малиновку. Было прохладно и тихо, если не считать потока с его холодными горными водами. И было здесь это — любовь, творение и разрушение, но не как символ, не в мысли и в чувстве, а как подлинная реальность. Вы не могли этого видеть, не могли чувствовать это, но оно было здесь, потрясающе огромное, сильное, как десять тысяч, с могуществом самого уязвимого. Оно было здесь, и всё стало спокойным, и мозг и тело; это было благословение, и ум был причастен этому.

Нет конца глубине; сущность этого — вне времени и пространства. Этого нельзя пережить; переживание — это такая мишура, переживание так легко приходит, так легко уходит; мысль не может это сконструировать, и чувство не может проложить к этому путь. Они — нечто глупое и незрелое. Зрелость — не от времени, не продукт возраста и не приходит через влияние или окружение. Её нельзя купить, и ни книги, ни учителя и спасители — один или многие — не могут создать должной атмосферы для этой зрелости.

Зрелость — не цель сама по себе; она приходит без мысли, культивирующей её, незаметно, без медитации, неосознанно. Зрелость необходима, это созревание в жизни; не то созревание, которое рождается из болезни или из несчастья, из скорби или надежды. Отчаяние и труд не могут принести этой полной зрелости, но она должна быть здесь, непрощенная.

Ибо в этой полной зрелости есть строгость, есть аскетизм. Не строгость и аскетизм пепла и власяницы, а непредумышленное, непреднамеренное равнодушие к вещам мира, к его добродетелям, его богам, его респектабельности, к его надеждам и ценностям. Они должны быть полностью отвергнуты ради той строгости, которая приходит с уединённостью. Никакое влияние общества или культуры не может затронуть эту уединённость. Но она должна быть, — не вызванная заклинаниями мозга, который есть дитя времени и влияния. Она должна прийти, как удар грома, ниоткуда. Без неё нет полноты зрелости. Одиночество — суть жалости к себе,

самозащиты и жизни в изоляции, в мифе, в знании, в идее — очень далеко от уединённости; в нём вечная попытка соединения и постоянное разделение. Уединённость — жизнь, в которой всякое влияние закончилось. Именно эта уединённость и составляет сущность строгости.

Но строгость приходит, когда мозг остаётся ясным, не повреждённым всякими психологическими ранами, что наносит ему страх; конфликт любого вида разрушает чувствительность мозга; честолюбивое желание, с его безжалостностью, с его беспрестанными попытками чем-то стать, изнашивает тонкие способности мозга; жадность и зависть отяжеляют мозг довольством и утомляют недовольством. Нужна бдительность без выбора, осознание, в котором всякое приобретение и приспособление прекратились. Переедание и любые излишества делают тело вялым и притупляют мозг.

У дороги цветок, чистый, яркий, открытый небесам; солнце, дожди, мрак ночи, ветры, гром и почва участвовали в создании этого цветка. Но цветок не является ничем из этого. Вот в этом сущность всех цветов. Свобода от авторитета, от зависти, страха, от одиночества не принесёт этой уединённости, с её необычайной строгостью. Эта уединённость приходит, когда мозг не ищет её; она приходит, когда вы обращены к ней спиной. Тогда нечего к ней добавить или отнять от неё. Тогда у неё своя собственная жизнь, движение, которое есть сущность всей жизни, без времени и пространства.

Это благословение было здесь — с великим миром.

Процесс идёт умеренно.

Луна была в облаках, но горы и тёмные холмы были ясно видны, и вокруг них стояла великая тишина. Большая звезда висела прямо над лесистым холмом, а тот единственный шум, что доносился из долины, был шумом горного потока, скачущего по камням. Всё спало, кроме отдалённой деревни, но её звуки не достигали так высоко. Шум потока вскоре ослабел; он был здесь, но он не наполнял долину. Ветра не было, деревья стояли неподвижно; свет бледной луны падал на рассеянные крыши, и всё было спокойно, даже бледные тени.

В воздухе было ощущение этой невыносимой беспредельности, интенсивной, настойчивой. Это не было прихотью воображения; воображение прекращается, когда есть реальность; воображение опасно, в нём нет действительной вескости, она есть только в факте. Фантазия и воображение приятны и обманчивы — и они должны полностью исчезнуть. Любой вид мифа, фантазии и воображения следует понять, и само понимание лишает их смысла и значения. Это было здесь, и то, что начиналось как медитация, закончилось. Какой смысл в медитации, когда здесь — реальность! Не медитация создала эту реальность, ничто не может создать её; она была здесь, несмотря на медитацию, — но вот что при этом необходимо, так это очень чувствительный, бдительный мозг, который легко, добровольно и полностью прекратил всю болтовню своей рассудочности и безрассудства. Он стал очень спокоен, он видел и слышал, не интерпретируя, не классифицируя; он был спокоен, и не было никакой сущности, успокаивающей его, или необходимости делать это. Мозг был очень спокойным и очень живым. Это беспредельное наполнило ночь, и здесь было блаженство.

У него нет никаких отношений ни с чем, оно не пытается формировать, изменять, утверждать; у него нет влияния — и потому оно неумолимо. Оно не делало добрых дел, оно не улучшало и не преобразовывало; оно не становилось уважаемым, и потому было в высшей степени разрушительно. Но это была любовь — не та любовь, которую культивирует общество, эта мучительнейшая штука. Оно было сущностью движения жизни. Оно здесь, неумолимое, разрушительное, с нежностью, которую знает только новое, как молодой весенний листок, он скажет вам об этом. И была здесь безмерная сила, была здесь мощь, которой обладает только творение. И всё было спокойно. Та одинокая звезда, что проходила над холмом, стояла теперь высоко и сияла в своём одиночестве.

Утром, во время прогулки в лесу над ручьём, при солнце на каждом дереве, оно снова появилось здесь, это беспредельное, так неожиданно, так тихо, что шёл через него, изумляясь. Один лист танцевал ритмично, а всё остальное множество листьев было спокойно. Она была здесь, та любовь, что не вмещается в круговорот человеческих желаний и мер. Она была здесь, и мысль могла сдуть её, и чувство могло оттолкнуть её. Она была здесь, чтобы никогда не покориться, никогда не оказаться пойманной.

Слово «чувствовать» вводит в заблуждение; речь идёт о большем, чем эмоция, чем настроение, чем переживание, чем осязание или обоняние. Хотя это слово имеет тенденцию вводить в заблуждение, его приходится использовать для передачи и особенно когда мы говорим о сущности. Сущность чувствуется не мозгом или с помощью какой-то фантазии; она не переживается, как переживается шок; и самое главное, что она — не слово. Вы не можете её переживать — чтобы переживать, нужен переживающий, наблюдающий. Переживание без переживающего — совсем другое дело. Именно в этом «состоянии», в котором нет ни переживающего, ни наблюдающего, есть такое «чувство». Это неинтуиция, которая интерпретируется или которой следует наблюдающий, или слепо, или разумно; это не желание, не стремление, трансформированное в интуицию или «голос Бога», предлагаемый политиками

или религиозно-социальными реформаторами. Необходимо уйти от всего этого и уйти далеко, чтобы понять это чувство, это видение, это слышание. Чтобы «чувствовать», требуется строгая ясность, в которой нет смятения и конфликта. «Чувство» сущности приходит, когда есть простота, позволяющая идти до самого конца и без всяких отклонений, скорби, зависти, страха, честолюбия и всего такого прочего. Эта простота за пределами способности интеллекта; интеллект фрагментарен. Идти таким образом до конца и есть высшая форма простоты — не нищенское одеяние или еда один раз в день. «Чувство» сущности означает отрицание мысли и её механических способностей, знания и рассудка. Рассудок и знание необходимы, чтобы решать механические проблемы, а все проблемы мысли и чувства являются механическими. Именно отрицание механизма памяти, чьей реакцией и является мысль, необходимо в таком движении к сущности. Разрушай, чтобы дойти до самого конца; речь идёт о разрушении не внешних вещей, а психологических укрытий и сопротивлений, всех богов и тайных убежищ богов. Без этого нет путешествия в ту глубину, чьей сущностью является любовь, творение и смерть.

При пробуждении сегодня утром тело и мозг были неподвижны, так как была здесь та мощь и сила, что является благословением.

Процесс идёт мягко.

Редкие облака блуждали ранним утром в небе, которое было таким тусклым, спокойным и вневременным. Солнце готовилось покончить с великолепием утра. Роса лежала на лугах; теней не было, и деревья стояли одни, дожидаясь их. Было очень рано, и даже поток медлил в своём буйном беге. Было тихо, ветерок ещё не пробудился, и листья были спокойны. Ещё не было дыма ни над одним из фермерских домов, но крыши начинали блестеть с приходом света. Звёзды неохотно уступали рассвету, и было то особое безмолвное ожидание, когда солнце вот-вот взойдёт; холмы ждали, то же делали деревья и луга, открытые в своей радости. Потом солнце коснулось горных вершин мягким ласковым касанием — и снега засверкали в свете раннего утра; листья начали шевелиться после долгой ночи, дым поднимался прямо вверх от одного из коттеджей — и поток зажурчал опять без всякого удержу. Медленно и постепенно, с деликатной застенчивостью, длинные тени протянулись по земле; горы отбрасывали свою тень на холмы, холмы на луга, а деревья ждали своих теней, — и вскоре они появились, светлые и глубокие, лёгкие, как пух, и тяжёлые. И осины танцевали, день начался.

Медитация — такое внимание, в котором есть осознание всего, без выбора, — карканья ворон, электропилы, вгрызающейся в дерево, трепета листьев, шума потока, голоса мальчика, чувств, мотивов, мыслей, гонящихся друг за другом и уходящих всё глубже, осознание всего ума. И в этом внимании время, в качестве вчера, устремляющегося в пространство завтра, искривляющее и разворачивающее сознание, стало спокойным и безмолвным. В этом покое присутствует неизмеримое, ни с чем не сравнимое движение; это движение, которое не имеет бытия, которое есть сущность блаженства, жизни и смерти; движение, которому нельзя следовать, потому что оно не оставляет следов и потому что оно спокойно, неподвижно; оно — сущность всего движения.

Дорога шла на запад, петляя через пропитанные дождём луга, мимо маленьких деревушек на склонах холмов, пересекая горные потоки чистой снеговой воды, и мимо церквей с медными шпилями; она шла дальше и дальше в тёмные, пещеристые облака и в дождь, зажатая горами. Начало моросить, а взглянув назад через заднее окно медленно движущегося автомобиля, туда, откуда мы приехали, можно было видеть освещённые солнцем облака, голубое небо и яркие, чёткие горы. Не говоря ни слова, инстинктивно, мы остановили автомобиль, дал и задний ход, развернулись и поехали в сторону света и гор. Было невозможно красиво, и когда дорога повернула в открытую долину, сердце замерло; оно было столь же тихим и открытым, как эта расширяющаяся долина, оно было совершенно потрясено. Мы проезжали через эту долину несколько раз, очертания холмов были хорошо знакомы, луга и коттеджи узнаваемы, и привычный шум потока был на месте. Всё было на месте, кроме мозга, хотя он вёл машину. Всё стало таким интенсивным; это была смерть. Не потому, что мозг был спокоен, не из-за красоты земли, или света на облаках, или неподвижного достоинства гор — не в этом было дело, хотя всё это, по-видимому, что-то добавляло. Это буквально была смерть, всё внезапно пришло к концу, продолжения не было; мозг руководил телом в управлении автомобилем — вот и всё. Буквально всё. Автомобиль проехал какое-то время и остановился. Здесь были жизнь и смерть, такие близкие, интимно, нераздельно связанные, — и ни одна из них не была важной. Происходило что-то потрясающее.

В этом не было обмана или воображения — это было слишком серьёзно для такого рода глупых искажений, это не были игрушки. Смерть — не обычное дело, и она не уйдёт, с ней спорить нечего. Вы можете всю жизнь спорить с жизнью, однако со смертью это невозможно. Смерть так окончательна и абсолютна. Это не было смертью тела — что было бы достаточно

простым и определённым событием. Но жить со смертью — это совсем другое дело. Была жизнь, и была смерть, и они были неразрывно соединены. Это не было психологической смертью, это не было шоком, изгоняющим все мысли и чувства, это не было внезапным помрачением мозга или умственной болезнью. Это не было ничем таким или странным решением мозга, который устал или отчаялся. Не было это и бессознательным желанием смерти. Ничего такого не было; эти вещи были бы так несерьёзны, поэтому им и потворствуют так легко. Это было чем-то в другом измерении; это было нечто неподдающееся описанию в терминах времени-пространства.

Она была здесь, сама сущность смерти. Сущность эго есть смерть, но эта смерть была также самой сущностью и жизни. Фактически они были нераздельны — жизнь и смерть. И это не было изобретено мозгом для его утешения и идеологической безопасности. Сам процесс жизни был умиранием, и умирание было процессом жизни. В этом автомобиле, со всей этой красотой и этим цветом, с этим «чувством» экстаза, смерть была частью любви, частью всего. Смерть не являлась символом, идеей, чем-то, что вы знаете. Смерть была здесь действительно, фактически, такая же интенсивная, требовательная, как гудок автомобиля, которому требуется проехать. И как жизнь никогда не уйдёт, она не может быть отложена в сторону, так же и смерть отныне уже никогда не уйдёт, её нельзя будет откладывать в сторону. Она была здесь с необычайной интенсивностью и окончательностью.

Всю ночь жил со смертью; смерть, казалось, овладела мозгом и его обычной деятельностью; в мозгу сохранялось не так уж много движений, но в отношении них имелось некоторое непринуждённое безразличие. Безразличие и прежде было, но теперь оно выходило за пределы всего, что можно описать. Всё стало гораздо более интенсивным — и жизнь, и смерть.

Смерть присутствовала здесь и при пробуждении, без скорби, но вместе с жизнью. Это было чудесное утро. Было то благословение, которое даётся прелестью гор и деревьев.

День был тёплый, с обилием теней; скалы светились чистым сиянием. Тёмные сосны казались совсем неподвижными, в отличие от осин, готовых трепетать от легчайшего дуновения. Сильный ветер дул с запада, проносясь через долину. Скалы были настолько живыми, что, казалось, бежали вслед за облаками, облака же цеплялись за скалы, обретая формы и очертания скал; они плыли вокруг них, трудно было отделить скалы от облаков. И деревья плыли вместе с облаками. Казалось, что движется вся долина; маленькие, узенькие тропинки, ведущие прямо вверх к лесу и ещё дальше, по-видимому, тоже подчинились этому же движению и ожили. А сверкающие луга служили обителью застенчивых цветов. Но этим утром долиной правили скалы; они имели так много оттенков, что не было ничего кроме цвета; эти скалы сегодня утром были нежны и так разнообразны по форме и размерам. И они были так равнодушны ко всему — к ветру, к дождям и к взрывам для человеческих надобностей. Они были здесь и намеревались быть по прошествии всех времён.

Было роскошное утро, всюду солнце, трепетал каждый лист; хорошее утро для поездки, не долгой, но достаточной, чтобы увидеть красоту земли. Это было утро, которое новым сделала смерть, не смерть от увядания, болезни или несчастного случая, а смерть, которая разрушает, чтобы имело место творение. Творения нет, если смерть не сметает всё, что построил мозг для защиты своего эгоцентрического существования. Смерть, прежде, была новой формой продолжения; смерть и ассоциировалась с продолжением. Со смертью приходило новое существование, новое переживание, новое дыхание и новая жизнь. Старое прекращалось, и рождалось новое, и это новое потом уступало место следующему новому. Смерть была средством для нового состояния, нового изобретения, нового способа жить, новой мысли. Она была пугающей переменной, но сама эта переменная несла новую надежду.

Но теперь смерть не несла ничего нового — нового горизонта, нового дыхания. Это смерть абсолютная и окончательная. И, значит, уже нет ничего — ни прошлого, ни будущего. Ничего. Никакого рождения чего бы то ни было. Но нет и отчаяния или поиска; полная смерть, без времени; взгляд из великих глубин, которые не здесь. Смерть без старого или нового. Смерть без улыбки и слез. Это не маска, скрывающая, прячущая какую-то реальность. Реальность — это смерть, и нет никакой нужды что-то прятать. Смерть смела всё и не оставила ничего. Это ничто — танец листа, зов ребёнка. Это — ничто, и должно быть ничто. То, что продолжается, есть разложение, механизм, привычка, честолюбивое стремление. Существует разложение, но не в смерти. Смерть есть полное небытие. И оно должно быть здесь, потому что из него жизнь, из него любовь. Потому что в этом небытии происходит творение. Без абсолютной смерти нет творения.

Мы что-то читали, не очень внимательно и наблюдая в то же время состояние мира, когда внезапно, неожиданно комната наполнилась тем благословением, которое теперь приходило так часто. Дверь в маленькую комнату была открыта, и мы как раз собирались поесть, когда через эту открытую дверь пришло оно. Можно было буквально физически почувствовать его, как волну, вливающуюся в комнату. Оно становилось всё «более» и «более» интенсивным — слово «более» здесь употреблено не в сравнительном смысле; это что-то невероятно сильное, непоколебимое, обладающее потрясающей мощью. Слова — не реальность, и подлинная действительность вовсе не может быть переведена в слова, её нужно видеть и слышать, с ней нужно жить; тогда она имеет совсем иное значение.

Процесс последние дни был острым, и нет надобности писать о нём каждый день (*О процессе больше не упоминается, хотя, надо полагать, он продолжался*).

Было очень раннее утро, до рассвета оставалось ещё часа два или более. Орион как раз восходил над вершиной того пика, что расположен за покатыми, поросшими лесом холмами. В небе не было ни облачка, но ощущение от воздуха указывало на вероятное появление тумана. Был час покоя, и даже поток спал; в слабеющем лунном свете холмы были тёмными, они чётко вырисовывались на фоне бледного неба. Ветра не было, деревья были спокойны, и звёзды сияли.

Медитация — не поиск; это не поиск, не процесс разведки или исследования. Медитация — взрыв и открытие. Медитация — не укрощение мозга, чтобы мозг чему-то соответствовал, и не интроспективный самоанализ; она определённо не является и упражнением в концентрации, которая включает, отбирает и отвергает. Это нечто приходящее естественно, когда все позитивные, негативные утверждения и достижения поняты, с лёгкостью отброшены. Это полная пустота мозга. Именно эта пустота существенна, а не то, что в пустоте; видение возможно только из пустоты; всякая добродетель — речь не об общественной морали и респектабельности — возникает из неё. И именно из этой пустоты выходит любовь, — иначе это нелюбовь. Основание праведности — в этой пустоте. Пустота эта есть конец и начало всего сущего.

Смотрел из окна, как Орион поднимался всё выше и выше, мозг же был интенсивно живым и чувствительным, и медитация стала чем-то совсем иным, чем-то, чего не мог охватить мозг, и поэтому мозг отступил к самому себе и умолк. Часы до рассвета и после него, казалось, не имели начала, и когда солнце восходило над горами и облака уловили его первые лучи, в этом сияющем великолепии присутствовало изумление. И день начался. Станным образом, медитация продолжалась.

Было прекрасное утро, полное солнечного света и теней; сад у расположенного поблизости отеля был полон красок, всех красок; и краски были такие яркие, а трава так зелена, что от них было больно глазам и сердцу. И горы позади, омытые утренней росой, блистали свежестью и суровостью. Это было очаровательное утро, и красота была повсюду; над узким мостиком через поток, вверх по тропе в лес, где лучи солнца играли с листьями; они трепетали, и их тени двигались; это были обычные растения, но в своей зелени и свежести они превосходили все деревья, возносившиеся к голубым небесам. Вы могли только удивляться всему этому восторгу, изобилию, трепету; вы не могли не изумляться и спокойному достоинству каждого дерева и растения, и бесконечной радости этих чёрных белок с длинными, пушистыми хвостами. Воды потока были прозрачны и сверкали на солнце, проникавшем сквозь листву. В лесу было влажно и приятно. Когда стоял, глядя на пляшущие листья, внезапно пришло то иное, явилось вневременное, и вместе с ним тишина. Это была тишина, в которой всё двигалось, танцевало и кричало, не та тишина, что приходит, когда машина перестаёт работать; механическая тишина — одно, а тишина в пустоте — другое. Одна повторяющаяся, привычная, разлагающая, в которой конфликтующий и усталый мозг ищет убежища; другая взрывающаяся, никогда не повторяющаяся; её нельзя отыскать, повторить, и поэтому она никогда не предлагает никакого убежища. Такая тишина пришла и оставалась, пока мы шли дальше, и красота леса усиливалась, и краски взрывались, подхватываемые листьями и цветами.

Это была не очень старая церковь, примерно начала семнадцатого века; по крайней мере, так было написано над аркой; арку обновили, деревянная отделка была из сосны светлой окраски, и стальные гвозди выглядели блестящими и как будто отполированными, и это было, конечно, абсолютно неподобающим; можно было быть почти уверенным, что собиравшиеся здесь, чтобы послушать музыку, никогда не смотрели на эти гвозди, сверкавшие по всему потолку. Это была не православная церковь, здесь не было запаха ладана, свечей или образов. Она была здесь, и солнце проникало через окна. Там было много детей, которым было ведено не разговаривать и не шалить; это не мешало им оставаться неугомонными, — выглядели они ужасно торжественно, но глаза были готовы смеяться. Один хотел поиграть и подошёл близко, однако был слишком застенчив, чтобы подойти ещё ближе. Они репетировали концерт на этот вечер, и все были важными от сознания своего долга и заинтересованными. Снаружи была яркая трава, ясное, голубое небо и бесчисленные тени.

Зачем это постоянное стремление стать совершенным, достичь совершенства, как совершенны машины, механизмы? Идея, пример, символ совершенства есть нечто чудесное, облагораживающее, — но так ли это? Разве подражание — совершенство? И существует ли совершенство, или это только идея, данная человеку проповедником, чтобы он был уважаемым? В идее совершенства есть немалая доля комфорта и безопасности, она всегда выгодна, как священнику, так и тому, кто попытается стать совершенным. Механический, привычный способ действия, повторяемый снова и снова, может в конце концов быть доведён до совершенства; только привычка может доводиться до совершенства. Думать одно и то же, верить в одно и то же снова и снова, без отклонений, становится механической привычкой, но, возможно, это и есть то совершенство, которого хочет каждый. Это создаёт и наращивает совершенную стену сопротивления, которая будет предотвращать любое беспокойство, любой дискомфорт. И кроме того, совершенство — это прославляемая форма успеха; честолюбивое устремление освящается уважением и благословляется представителями и героями успеха. Не существует никакого совершенства, оно есть нечто безобразное, за исключением

совершенства в машине, в механизме. Попытка стать совершенным есть фактически попытка побить рекорд — как в гольфе; соревнование священно. Соревнование с вашим соседом и с Богом — за совершенство называться братством и любовью. Однако каждая попытка совершенствования ведёт только к ещё большему смятению и скорби, что даёт ещё больший импульс к дальнейшему совершенствованию.

Удивительно, мы всегда хотим быть совершенными в чём-то или в отношении чего-то; это даёт средства к достижению, а удовольствие от достижения есть, конечно, тщеславие. Гордость в любой форме отвратительна, и ведёт она к несчастью. Желание совершенства, внешнего или внутреннего, исключает любовь, но без любви, что бы вы ни делали, всегда имеют место и разочарование и чувство неудачи и скорби. Любовь не является ни совершенной, ни несовершенной; только когда нет любви, возникает совершенство и несовершенство. Любовь никогда ни к чему не стремится; она не совершенствует себя. Любовь является пламенем без дыма; в стремлении быть совершенным только ещё больше дыма; таким образом, совершенствование заключается лишь в стремлении, которое механично, в том, чтобы быть всё более и более совершенным в привычном действии, в подражании, в порождении всё большего страха. Каждого человека приучают соревноваться, достигать успеха; тогда цель становится самым важным. Тогда любовь к чему-либо самому по себе исчезает. Тогда инструмент используют не из любви к самому звуку, а ради того, что этот инструмент может дать, — ради славы, денег, престижа и тому подобного.

Бытие бесконечно более значительно, чем становление. Бытие — не противоположность становления; если это противоположность или нечто противостоящее, тогда нет бытия. Когда становление умирает полностью, тогда есть бытие. Но это бытие не статично; оно не является принятием или просто отрицанием; становление включает в себя время и пространство. Всякое стремление должно прекратиться; только тогда есть бытие. Бытие — вне поля общественной добродетели и морали. Бытие разбивает вдребезги общественную формулу, общественный рецепт жизни. Это бытие есть жизнь, это не способ или образ жизни. Где есть жизнь, там нет совершенствования; совершенствование — это идея, слово; жизнь, бытие, за пределами любой мысленной формулы. Это бытие есть, когда слово и пример и шаблон разрушены.

Оно было здесь, это благословение, часами и вспышками. При пробуждении сегодня утром за много часов до восхода, когда было затмение луны, оно было здесь, с такой силой и мощью, что сон в течение пары часов был невозможен. В нём необыкновенная чистота и невинность.

Поток, соединяясь с другими, меньшими ручьями, пробежал через долину с шумом, и шум его никогда не был одинаковым. У него бывали свои настроения, но никогда не было неприятного и мрачного настроения. У маленьких ручейков тон был более высокий, в них было больше камней, гальки; в них были спокойные тенистые заводи, мелкие, с танцующими тенями, и по ночам они издавали совершенно иной звук, мягкий, нежный и нерешительный. Они притекали по разным долинам, из разных источников, один из которых был гораздо дальше другого; один из ледника и из шумящего водопада, а другой, должно быть, из источника слишком далёкого, чтобы дойти до него во время прогулки. Оба эти ручейка впадали в большой поток, у которого был глубокий и спокойный тон, он был величественнее и шире и быстрее. Все три были обрамлены деревьями, и длинная извилистая полоса деревьев показывала, откуда и куда текли эти потоки; они были жителями и хозяевами долин, все же остальные, в том числе и деревья, были посторонними, пришельцами. Можно было следить за ними по часу и слушать их бесконечное журчанье; они были очень весёлые и склонные к забавам, даже больший из них, хотя ему и приходилось сохранять определённое достоинство. Они вели своё происхождение с гор, с головокружительных высот, более близких к небесам и потому более чистых и благородных; они не были снобами, и всё же сохраняли свои повадки и оставались несколько отстранёнными и холодными. И во мраке ночи они пели свою песню, когда мало кто их слушал. То была песня многих песен.

Когда, перейдя мост, поднялся к лесу, где всё было как будто в яркую крапинку из-за прорывавшихся солнечных лучей, медитация была чем-то совсем иным. Без всякого желания и поиска, без каких-либо жалоб мозга пришло непровольное безмолвие; маленькие птички чирикали, белки скакали по деревьям, ветерок играл листьями, и стояла тишина. Маленький ручей, тот, что приходил издалека, был веселее, чем когда-либо, и всё же была тишина, но не внешняя, а глубоко, далеко внутри. Это было полное безмолвие внутри всего ума, которое не имело границ. Это не было безмолвие в некоем отгороженном месте, в какой-либо области, в пределах границ мысли, которое можно было бы поэтому опознать как тишину. Не было ни границ, ни меры, и это безмолвие не включалось в переживание, в опыт, чтобы быть опознанным и отложенным для сохранения. Оно никогда не могло появиться снова, а если бы это случилось, оно было бы совершенно другим. Безмолвие не может повториться; только мозг с помощью памяти и воспоминания может повторить то, что было, но то, что было, — не подлинно. Медитация была полным отсутствием сознания, накопленного и построенного с помощью времени и пространства. Мысль, которая есть сущность сознания, не может, что бы она ни делала, вызвать, создать эту тишину; мозг со всей его сложной, изощрённой активностью должен успокоиться добровольно, без обещаний какой-либо награды или безопасности. Только тогда он может быть чутким, быть восприимчивым, живым, спокойным. Мозг, понимающий свою скрытую и явную деятельность, есть часть медитации; это основа медитации, без неё медитация — всего лишь самообман, самогипноз, не имеющий вообще никакого значения. Для взрыва творения необходимо безмолвие.

Зрелость — не от времени, не от возраста. Нет никакого интервала между сейчас и зрелостью; никогда нет никакого «со временем». Зрелость — то состояние, когда всякий выбор прекратился; и только незрелость выбирает и знает конфликт выбора. В зрелости нет управления, руководства, но существует и такое руководство, которое не является властью выбора. Конфликт на любом уровне, на любой глубине — показатель незрелости. Не существует такой вещи, как достижение зрелости, не считая органической, механической неизбежности

созревания чего-то. Понимание, означающее выход за пределы конфликта во всех его сложных разновидностях, это и есть зрелость. При всей его сложности и тонкости суть конфликта, внешнего и внутреннего, можно понять. Конфликт, неудача, осуществление есть единое движение, внутренне и внешне. Морская вода, которая уходит во время отлива, должна вернуться, и для самого этого движения нет ухода и нет прихода. Конфликт во всех его формах следует понять не интеллектуально, а подлинно, на деле, реально входя в эмоциональный контакт с конфликтом. Эмоциональный контакт, шок, невозможен тогда, когда конфликт интеллектуально, словесно принят как неизбежность или отвергнут на уровне чувств и настроений. Принятие или отрицание не изменит факта, и рассудок не приведёт к необходимому действию. Что приведёт, так это «видение» факта. Но «видения» нет, если есть осуждение, оправдание или отождествление с фактом. «Видение» возможно лишь тогда, когда мозг не участвует активно, а наблюдает, воздерживаясь от классификации, суждения и оценки. Конфликт неизбежен, когда присутствует стремление осуществить, с его неизбежными неудачами, когда имеется честолюбивое стремление, с его изощрённой и безжалостной конкуренцией; и зависть является частью этого беспрестанного конфликта — стать, достигнуть, преуспеть. Нет понимания во времени. Понимание не приходит завтра, оно никогда не придёт завтра; оно имеет место сейчас или никогда. «Видение» непосредственно, — когда значение «видения», понимания, наконец стёрто из мозга, «видение» непосредственно. «Видение» — нечто взрывное, не рассудочное, не рассчитанное. Именно страх очень часто препятствует «видению», пониманию. Страх с его защитой и его смелостью и есть источник конфликта. Видение не только в мозгу, но и за пределами его. Видение факта несёт в себе своё собственное действие, полностью отличное от действия идеи, мысли; действие, исходящее из идеи, мысли, порождает конфликт; действие в этом последнем случае представляет собой приближение, сравнение с формулой, с идеей, и это приводит к конфликту. В поле мысли нет конца конфликту, малому или большому; конец конфликта — не-конфликт, который и есть зрелость.

При пробуждении очень рано утром это необыкновенное благословение было медитацией, а медитация была тем благословением. Оно было здесь с огромной интенсивностью, во время прогулки в мирном лесу.

Был довольно жаркий солнечный день, жаркий даже на такой высоте; снег на горах был белым и сияющим. Солнечно, жарко было уже несколько дней, ручьи были прозрачными, а небо бледно-голубым, но всё же была в этой голубизне горная интенсивность. Цветы на пути были необычайно яркие и веселы, а луга прохладны; тени были тёмные, и было их необычайно много. Здесь есть маленькая тропинка через луга, идущая вверх по холмистой местности мимо фермерских домов; на тропинке никого не было, кроме старой женщины, несущей бидон с молоком и маленькую корзину овощей; она, должно быть, ходила этой тропой вверх и вниз всю свою жизнь, взбегая на холмы, когда была молодой, а теперь, вся сгорбленная и скрюченная, она поднималась медленно, с трудом, почти не поднимая глаз от земли. Она умрёт, а горы останутся. Ещё выше находились две козы, белые, с какими-то особенными глазами; они подошли, чтобы вы их приласкали, но держась на безопасной дистанции от электрической изгороди, не дающей им разбрестись. Там был и белый с чёрным котёнок с той же фермы, что и козы; ему хотелось поиграть; ещё выше, на лугу, сидел ещё один кот, подкарауливающий в абсолютной неподвижности полевую крысу.

Здесь наверну в тени было прохладно, свежо, красиво: горы и холмы, долины и тени. Местами земля была болотистая, и там росли тростники, низкие, золотой окраски, и среди золота белые цветы. Но это ещё было не всё. И при подъёме и при спуске в течение целых полутора часов присутствовала та сила, которая есть благословение. Она обладала качеством огромной и непроницаемой прочности; никакая материя, вероятно, не могла иметь такой прочности. Материя проницаема, может быть разрушена, растворена, превращена в пар; мысль и чувство обладают определённым значением; их можно измерять, они также могут быть изменены и разрушены, и ничего от них не останется. Но эта сила, которую ничто не могло пронзить или растворить, не была проекцией мысли и, конечно, не была материей. Эта сила не была иллюзией, созданием мозга, который тайно ищет власти или той силы, которую даёт власть. Никакой мозг не мог бы сформировать такую силу с её странной интенсивностью и прочностью. Она была здесь, и никакая мысль не могла изобрести или рассеять её. Интенсивность приходит, когда нет потребности ни в чём. Пища, одежда и кров — необходимость, они не потребности. Потребность — скрытое желание, ведущее к привязанности. Потребность в сексе, в славе, поклонении с их сложными причинами; потребность в самореализации с её честолюбивыми устремлениями и крушениями; потребность в Боге, в бессмертии. Все эти формы потребности неизбежно порождают привязанность, которая вызывает скорбь, страх и боль одиночества. Потребность выразить себя через музыку, через литературу или живопись и какими-то другими средствами приводит к ужасной привязанности к средствам. Музыкант, который использует свой инструмент, чтобы достичь славы, стать лучшим, перестаёт быть музыкантом; не музыку любит он, а пользу от музыки, выгоды, даваемые музыкой. Мы используем друг друга в своих потребностях и даём этому благозвучные названия; и из этого вырастает отчаяние и нескончаемая скорбь. Мы используем Бога как убежище, как защиту, как какое-то лекарство, и потому церковь и храм, с их священниками, приобретают большое значение, тогда как никакого значения они не имеют. Мы используем всё, машины и технологии, для наших психологических потребностей, а любви к самому предмету нет.

Любовь существует только тогда, когда нет потребности. Сущность эго — эта потребность, постоянная смена потребностей, вечный поиск, переход от одной привязанности к другой, от одного храма к другому, от одной приверженности к другой. Вверить себя какой-то идее, какой-

то формуле, принадлежать к какой-то секте, какой-либо догме является проявлением потребности, сущности эго, которая принимает форму самой альтруистической деятельности. Это оболочка, маска. Свобода от потребности означает зрелость. С этой свободой приходит интенсивность, которая не имеет причины и не приносит выгод.

Здесь есть тропинка, в стороне от немногочисленных разбросанных шале и фермерских домов, которая идёт через луга и мимо заборов из колючей проволоки; там, где она направляется вниз, открывается великолепный вид на горы с их снегами и ледником, на долину и маленький город с множеством магазинов. Отсюда можно увидеть начало потока и тёмные, покрытые соснами холмы — очертания этих холмов на фоне вечернего неба были великолепны, казалось, что они рассказывают об очень многом. Это был приятный вечер; весь день на небе не было ни облачка, и теперь чистота неба и теней поражала, а вечерний свет был восхитителен. Солнце садилось за холмы, и они отбрасывали свои огромные тени на другие холмы и луга. Перейдя ещё одно заросшее травой поле, тропинка круто спускалась вниз и соединялась с большей и более широкой тропой, которая шла лесом. На этой тропе никого не было, тропа была пуста, и в лесу было очень тихо, если не считать потока, шумевшего, казалось, больше, перед тем как успокоиться на ночь. Здесь росли высокие сосны, воздух был напоён каким-то ароматом. Неожиданно, когда тропка эта повернула в туннель из деревьев, появилось пятно зелени и свежесрубленный участок соснового леса, освещённый солнцем. Он был поразителен в своей интенсивности и радости. Увидел это, и всякое пространство и время исчезли, было только это пятно света и ничего больше. Это не означало превращения в этот свет или отождествления себя с ним; активная деятельность мозга прекратилась, всё существо было с этим светом. Деревья, тропа, шум потока полностью исчезли, как и пятьсот ярдов и более между светом и тем, кто наблюдал. Наблюдающий исчез, и интенсивность этого пятна вечернего света была светом всех миров. Тот свет был всем небом, и тот свет был умом.

Многие отвергают то, что лежит на поверхности и что отвергнуть достаточно просто; есть другие, идущие в своём отрицании дальше, есть те, кто отвергает полностью. Кое-что отвергнуть сравнительно легко — церковь и её богов, авторитет и власть тех, кто их имеет, политика и его способ действия и прочее. Можно пойти достаточно далеко в отрицании того, что, может быть, имеет значение, отношений, нелепостей общества, концепции красоты, утверждённой критиками и теми, кто говорит, что они знают. Можно отбросить всё это и остаться одному, одному не в смысле изоляции и разочарования, но потому, что увидено значение всего этого и человек отходит в сторону, естественно, без какого-либо чувства превосходства. С этими вещами покончено, они мертвы — возврата к ним нет. Но дойти до самого конца отрицания — совсем другое дело; сущность отрицания — свобода в одиночестве, в уединённости. Но мало кто заходит настолько далеко, мало кто полностью отбрасывает всякое убежище, всякую формулу, всякую идею, всякий символ и остаётся обнажённым, неопалённым и чистым.

Но как это необходимо — отвергнуть; отвергнуть без усилия, без горьких переживаний, без надежды на знание. Отвергнуть и остаться одному, без завтра, без будущего. Взрыв отрицания — это обнажённость. Остаться одному, без приверженности к какому-нибудь способу действия, к какому-нибудь поведению или к какому-нибудь переживанию необычайно важно, ибо одно лишь это освобождает сознание от пут времени. Всякая форма влияния понята и отвергнута, это не даёт мысли прохода во времени. Отказ от времени — сущность вневременности.

Отвергать знание, опыт, известное — значит приглашать неизвестное. Отрицание — это взрыв; это не интеллектуальное, идеологическое дело, нечто, чем может играть мозг. В самом акте отрицания присутствует энергия, энергия понимания, и это энергия непослушная, её не укротить страхом или удобством. Отрицание разрушительно; оно не осознаёт последствий; отрицание не реакция и потому не является противоположностью утверждению. И утверждать, что что-то есть или что чего-то нет, значит продолжать реагировать, но реакция не есть

отрицание. В отрицании нет выбора, поэтому оно — не результат конфликта. Выбор — конфликт, а конфликт есть незрелость.

Видение истины как истины, видение ложного как ложного и видение истины в ложном — это акт отрицания. Это действие, а не идея. Полное отрицание мысли, идеи, слова приносит свободу от известного, от знания; с полным отрицанием чувства, эмоции и настроения приходит любовь. Любовь за пределами и выше мысли и чувства.

Полное отрицание известного есть сущность свободы.

При пробуждении, ранним утром, за много часов до восхода, медитация была за пределами откликов мысли; медитация была стрелой в непознаваемое, и мысль не могла следовать за ней. Наступил рассвет, осветив небо, и лишь солнце коснулось высочайших пиков, появилось то беспредельное, чья чистота превышает солнца и гор.

День был безоблачный, жаркий, и земля и небо накапливали силы для предстоящей зимы; осень уже окрашивала некоторые листья в жёлтый цвет, и листья ярко желтели среди тёмной зелени. На лугах и полях скашивали густую траву для коров на долгую зиму; работали все — взрослые и дети. Это была серьёзная работа, и смеха или разговоров было немного. Машины занимали место кос, и всё же то тут, то там пастбище косили косами. Вдоль потока через поля шла тропа, и здесь было прохладно, так как жаркое солнце уже скрылось за холмами. Тропа проходила мимо фермерских домов и лесопилки; на свежескошенных полях лежали тысячи крокусов, таких нежных, с таким своеобразным запахом. Это был тихий и ясный вечер, и горы были ближе, чем когда-либо ещё. Поток был спокоен, камней здесь было не слишком много, и вода бежала быстро. Вам пришлось бы тоже перейти на бег, чтобы поспеть за водой. В воздухе стоял аромат свежескошенной травы, и земля выглядела процветающей и довольной. На каждой ферме здесь было электричество, и, похоже, здесь царили мир и изобилие.

Как мало людей видит горы или облако. Они смотрят, делают какие-то замечания и проходят. Слова, жесты и эмоции препятствуют видению. Дереву, цветку дают название, заносят в определённую категорию, вот и всё. Вы видите пейзаж сквозь арку или из окна; если случится так, что вы или художник или знакомы с искусством, вы почти сразу скажете, что это похоже на такие-то средневековые картины, или вы упоминаете имя какого-нибудь современного живописца. Если вы писатель, вы смотрите для того, чтобы описать, если музыкант, то вы, скорей всего, никогда не видели ни волнистого контура холма, ни цветов у своих ног — вы захвачены своей повседневной деятельностью или же вас держат за горло ваши честолюбивые устремления. Если вы в чём-либо профессионал, вы, вероятно, никогда не видите. Чтобы видеть, необходимо смирение, сущность которого — невинность, чистота. Вот здесь гора, освещённая вечерним солнцем; видеть эту гору впервые, видеть эту гору так, будто вы никогда не видели её раньше, видеть её с невинностью, видеть её глазами, которые омылись в пустоте, глазами, которые не повреждены знанием, — это необычайное переживание. Слово «переживание» безобразно; с ним связывается эмоция, знание, опознание и продолжение; ничего такого здесь нет. Это нечто совершенно новое. Чтобы видеть эту новизну, необходимо смирение — смирение, которое никогда не бывает отравлено гордостью и тщеславием. В отношении того, что происходило сегодня утром, было именно такое видение, как с горной вершиной или вечерним солнцем. Всё существо человека, во всей своей полноте, было здесь, и его состояние было свободным от какой-либо потребности, конфликта и выбора; оно было пассивно той пассивностью, которая активна. Существует два рода внимания — одно внимание активно, а другое лишено движения. И то, что происходило, было действительно новым, тем, что никогда не происходило прежде. «Видеть» это происходящее было чудом смирения; мозг был полностью спокоен и без всякой реакции, хотя он и был полностью пробуждён. «Видеть» эту горную вершину, такую ослепительную в вечернем солнце — хотя и видел её уже тысячи раз, — видеть её глазами, не имеющими знания, значило видеть рождение нового. Это не глупый романтизм, и это не сентиментальность, с её жестокостью и с её настроениями, это и не эмоция с её волнами энтузиазма и подавленности. Это нечто столь абсолютно новое, что в самой полноте внимания присутствует безмолвие. Из этой пустоты выходит новое.

Смирение — не добродетель; культивировать его невозможно; оно не входит в мораль респектабельности. Святые не знают его, ибо святость их признана; кто поклоняется, тот не знает его, поскольку он просит и ищет; набожный верующий и последователь тоже не знают его, так как они следуют. Накопление исключает смирение, идёт ли речь о собственности, об опыте

или способностях. Процесс узнавания нового, учения, не является накопительным процессом; знание является. Знание механично; процесс учения — никогда. Знания может быть всё больше и больше, а в узнавании нового, в учении нет никакого «больше». Где сравнение, учение прекращается. Учение, узнавание нового является мгновенным видением, оно не во времени. Всякое накопление и знание измеримы. Смирение не может быть сравниваемо; не бывает больше или меньше смирения, так что его невозможно культивировать. Мораль и технику культивировать можно, и их может быть или больше или меньше. Смирение вне пределов способности ума — как и любовь. Смирение — всегда акт смерти.

Очень рано сегодня утром, за много часов до рассвета, при пробуждении была здесь эта пронзительная интенсивность силы с её суровостью. В этой суровости было блаженство. По часам это «продолжалось» сорок пять минут, со всё нарастающей интенсивностью. Поток и тихая ночь с сияющими звёздами были внутри этого.

Медитация без установленной формулы, рецепта, без причины и мотива, без результата и цели — невероятный феномен. Это не только гигантский взрыв, который очищает, но также смерть, у которой нет завтра. Её чистота опустошает, не оставляя ни одного тайного угла, где мысль могла бы скрываться среди своих собственных тёмных теней. Её чистота не защищена; она не является добродетелью, вызванной к жизни сопротивлением. Она чиста потому, что в ней нет сопротивления, как в любви. В медитации нет завтра, нет спора со смертью. Смерть прошлого и будущего не оставляет ничтожного настоящего времени, и время всегда ничтожно, но разрушение — это действительно новое. Такова медитация, это не глупые расчёты мозга в поисках безопасности. Медитация — это разрушение безопасности, и в медитации великая красота, не красота вещей, созданных человеком или природой, но красота безмолвия. Это безмолвие — пустота, в которой и из которой текут и имеют своё бытие все вещи. Она непознаваема; интеллект, чувства не могут проложить к ней путь; к ней нет пути, а метод в отношении неё — всего лишь изобретение жадного мозга. Все пути и средства расчётливого эго должны быть разрушены полностью; всякое движение вперёд или назад, путь времени, должно прийти к концу, без всякого завтра. Медитация является разрушением; и это опасность для тех, кто желает вести поверхностную жизнь и жизнь фантазии и мифа.

Звёзды рано утром были яркие и блестящие. До рассвета было очень далеко; было поразительно тихо, даже буйный поток затих; холмы были безмолвны. Целый час прошёл в том состоянии, когда мозг не спал, был бодрствующим, восприимчивым и только наблюдал; в этом состоянии весь ум мог выйти на пределы самого себя — без руководящих указаний, ведь не было никакого руководящего и направляющего. Медитация — ураган, разрушающий и очищающий. Попозже вдали появился рассвет. На востоке разливался свет, такой юный и прозрачный, такой тихий и робкий; свет прошёл мимо отдалённых холмов, коснулся вздымающихся гор, вершин. Группами и поодиночке деревья стояли тихо, стала просыпаться осина, и поток радостно зашумел. Белая стена фермерского дома, обращённая на запад, стала очень белой. Медленно, миролюбиво, почти просительно, он пришёл и наполнил землю. Потом снежные горные пики начали светиться ярко-розовым, и появились шумы раннего утра. Три вороны молча пересекли небо, все в одном направлении; издали доносился звук коровьего колокольчика, но всё ещё было тихо. Потом автомобиль поднялся на холм, и день начался.

На ту тропинку в лесу упал жёлтый лист; для некоторых деревьев уже пришла осень. Это был единственный лист, без изъянов, незапятнанный, чистый. Это была желтизна осени, и он был всё ещё красив в своей смерти, ни что болезненное ещё не коснулось этого листа. Весна и лето ещё присутствовали во всей полноте, все остальные листья этого дерева всё ещё оставались зелёными. Это была смерть в славе. Смерть была здесь, не в этом жёлтом листе, но действительно здесь; не неизбежная традиционная смерть, но смерть, которая всегда здесь. Смерть была не фантазией — смерть была реальностью, которую невозможно скрыть. Смерть всегда здесь, за каждым поворотом дороги, в каждом доме, с каждым богом. Она была здесь со всей своей силой и красотой.

Вы не можете избежать смерти — вы можете забывать о ней, можете объяснять, оправдывать её, верить, что вы переродитесь, что воскреснете. Делайте, что хотите, обращайтесь к какому угодно храму, книге — она всегда здесь, в празднике и в здоровье. Вы должны жить с ней, чтобы знать её; но вы не можете её знать, если вы её боитесь; страх только затемняет её. Чтобы знать смерть, вы должны её любить. Чтобы жить со смертью, вы должны любить её. Знание её — это не конец её. Это конец знания, а не смерти. Любить её не значит быть в

близких отношениях с ней; вы не можете быть в близких отношениях с разрушением. Вы не можете любить то, чего не знаете, но вы же ничего не знаете, даже свою жену или своего начальника, не говоря уж о том, что полностью незнакомо. И всё же вы должны любить смерть, незнакомого, неизвестного. Вы любите только то, в чём уверены, что даёт вам комфорт или безопасность. Вы не любите неопределённого, неизвестного; вы можете любить опасность, отдать свою жизнь за другого или убить другого за свою страну, но всё это не любовь, в этом же есть своя награда и выгода; достижение и успех вы любите, хотя в них есть страдание. В знании смерти нет выгоды — хотя, странным образом, смерть и любовь всегда вместе, они никогда не разлучаются. Вы не можете любить без смерти; вы не можете обнимать без присутствия смерти. Где любовь, там и смерть, они неразлучны.

Но знаем ли мы, что такое любовь? Вы знаете ощущение, эмоцию, вы знаете желание, чувство и механизмы мысли — но всё это не любовь. Вы любите своего мужа, своих детей, вы ненавидите войну — но вы ведёте войну. Ваша любовь знает ненависть, зависть, честолюбие, страх; дым всего этого — не любовь. Власть и престиж любите вы, но власть и престиж — это зло, разложение. Разве мы знаем, что такое любовь? В незнании любви — её чудо, её красота. Никогда не знать не означает пребывать в сомнении или в отчаянии; это означает смерть вчерашнего и поэтому полную неопределённость завтрашнего. Любовь не имеет продолжения, как и смерть. Только память и картина в раме обладают длительностью, но они механические, и даже машины изнашиваются, уступая место новым картинам, новым воспоминаниям. Имеющее продолжение всегда деградирует, а то, что деградирует, не есть смерть. Любовь и смерть неразделимы, и где они — там всегда разрушение.

Снег в горах быстро таял, так как было много безоблачных дней и жаркое солнце; поток стал мутным, в нём было больше воды, он стал более шумным и бурным. За маленьким деревянным мостом, вверх по течению потока видна гора, удивительно изящная, отстранённая, с притягательной силой, её снега блистали в вечернем солнце. Она была прекрасна, обрамлённая деревьями по сторонам потока и быстротекущей водой; поразительно огромная, воспаряющая в небо, висящая в воздухе. И не только гора была прекрасна, но и вечерний свет, холмы и луга, деревья и поток. Внезапно вся земля с её тенями и миром стала интенсивной, такой живой и поглощающей. Она пробивалась через рассудок, подобно пламени выжигая бесчувственность мысли. Небо, земля и тот, кто на них смотрит, — все оказывались захваченными этой интенсивностью, оставалось только пламя, ничего другого. Медитация во время этой прогулки вдоль речки, по тропе, плавно извивавшейся среди зелёных полей, объяснялась не безмолвием, не тем, что красота вечера поглотила все мысли; она продолжалась, невзирая на разговор. Ничто не могло помешать медитации; медитация продолжалась не бессознательно, не где-то в укромных уголках мозга и памяти, она была здесь, присутствуя, как вечерний свет среди деревьев. Медитация — не целенаправленное занятие, порождающее отвлечение и конфликт; это не найденная игрушка, которая поглотит все мысли, как бывает поглощён игрушкой ребёнок; это не повторение слова с целью успокоения ума. Медитация начинается с самопознания и выходит за пределы познания. Во время прогулки она шла, глубоко захватывая, волнуя и не двигаясь ни в каком направлении. Медитация происходила за пределами мысли, осознанной или скрытой, и видение выходило за пределы того, на что способна мысль.

Взгляд не ограничивается горой; в поле этого взгляда — окрестные дома, луга, красивой формы холмы и сами горы; когда вы ведёте автомобиль, вы смотрите довольно далеко вперёд, на три сотни ярдов или больше; этот взгляд включает в себя боковые дороги, тот припаркованный автомобиль, мальчика, переходящего дорогу, грузовик, едущий вам навстречу, но если бы вы смотрели только на автомобиль впереди себя, с вами произошёл бы несчастный случай. Взгляд вдаль включает в себя то, что близко, но взгляд на то, что близко, не включает в себя отдалённого. Наша жизнь проходит в срочном и безотлагательном, в поверхностном. Жизнь в полноте уделяет внимание фрагменту, но фрагменту никогда не понять целого. Но это то, что мы всегда пытаемся делать: держимся за малое и, тем не менее, пытаемся охватить целое. Известное — это всегда малое, это фрагмент; и с этим малым мы ищем неизвестное. Мы никогда не отпускаем малое, не выкидываем малое из головы; в малом мы уверены, в нём мы в безопасности, по крайней мере, мы так думаем. Но в действительности, мы никогда не можем быть уверены ни в чём, кроме, вероятно, поверхностных и механических вещей, — но даже и они подводят. Более или менее, мы можем полагаться на внешние вещи, вроде поездов, использовать их в своих действиях и быть в них уверенными. Психологически же, внутренне, как бы их ни жаждали, нет уверенности, нет постоянства ни в наших отношениях, ни в наших убеждениях, ни в богах нашего ума. Интенсивная жажда уверенности, какого-либо постоянства и тот факт, что постоянства всё равно нет, — суть конфликта, иллюзии и реальности. Понять способность создавать иллюзию гораздо важнее, чем понять реальность. Способность порождать иллюзию должна полностью исчезнуть — и не ради достижения реальности; с фактом нечего торговаться. Реальность — не награда; ложное должно уйти не для того, чтобы достичь истинного, а потому, что оно ложное.

Это также и не отречение, не отказ.

Был прекрасный вечер в долине у ручья, среди зелёных лугов, столь богатых кормом для скота, среди чистых фермерских домиков и восхитительных облаков, полных цвета и ясности. Одно из них висело над горой, так ярко сияя, что казалось любимцем солнца. Долина была прохладной, приятной и совсем живой. В ней царили мир и спокойствие. Здесь были и современные сельскохозяйственные машины, но всё ещё использовалась и коса, и давление и грубость цивилизации не затронули это место. Тяжёлые электрические провода на мачтах тянулись через долину, и они тоже казались частью этого безыскусственного мира. Когда мы шли через поля по узкой тропинке, заросшей травой, заснеженные горы с их окраской казались совсем близкими и хрупкими, такими нереальными. Козы блеяли, ожидая, чтобы их подоили. Совершенно неожиданно вся эта непомерная красота, эти краски, холмы, эта богатая земля, эта переполненная жизнью долина — всё это оказалось где-то внутри. Даже не внутри, — сердце и мозг были так полно раскрыты, настолько свободны от барьеров времени и пространства, так пусты от всякой мысли и чувства, что была только эта красота, без звука и формы. Она была здесь — и всё остальное перестало существовать. Беспредельность этой любви, с её красотой, с её смертью, наполнила всю долину и всё существо человека — которое было этой долиной. Это был необычайный вечер.

Отречения не существует. То, от чего отреклись, всегда остаётся, и там, где есть понимание, отречения, отказа, жертвы не существует. Понимание — самая сущность не-конфликта, а отречение — конфликт. Отказ — это действие воли, порождённое выбором и конфликтом. Отказаться означает поменять — в обмене же нет свободы, а только ещё больше смятения и несчастья.

Возвращение из долин и высоких гор в большой, шумный и грязный город влияет на тело (*он прилетел в Париж, где остановился у Друзей на восьмом этаже дома на авеню Бурдоннэ*). Был прекрасный день, когда мы уезжали через глубокие долины, водопады, тёмные леса к голубому озеру и широким дорогам. Это была резкая смена — из мирного, уединённого места в город, который шумит день и ночь, в жаркий, душный воздух. Когда сидел во второй половине дня, глядя вверх крыш, рассматривая их форму и каминные трубы, совершенно неожиданно, с мягкой ясностью пришло то благословение, та сила, то иное, отличное, непохожее, наполнило комнату и осталось. Оно и сейчас здесь, когда пишу это.

(В этот день он провёл первую из девяти бесед в Париже. Беседы продолжались до 24 сентября).

Из окна восьмого этажа было видно, как некоторые деревья вдоль авеню становились жёлтыми, красно-коричневыми, красными среди длинной полосы густой зелени. С этой высоты верхушки деревьев сияли своим цветом, и рёв уличного движения, восходя через них, в какой-то степени смягчался. Есть только цвет, а не разные цвета; есть только любовь, а не разные её выражения; различные категории любви — не любовь. Когда любовь разбита на фрагменты, на божественную любовь и телесную, она перестаёт быть любовью. Ревность — дым, удушающий пламя, но страсть становится глупой без строгости, а строгости нет, если нет самоотверженности, которая есть смирение в полной простоте. Глядя вниз на массу цвета с разными красками, видишь единственную чистоту, как бы она ни была раздроблена; нечистота, как бы её ни меняли и ни прикрывали, как бы ей ни сопротивлялись, всегда останется нечистотой, как и насилие. Чистота не состоит в конфликте с нечистотой. Нечистота никогда не может стать чистой, не более, чем насилие может стать ненасилием. Насилие должно прекратиться.

Здесь есть два голубя, устроившие себе дом под шиферной крышей на той стороне двора. Первой входит самка, потом медленно, с большим достоинством за ней следует самец, и там они остаются всю ночь; сегодня рано утром они вышли, сначала самец, потом самка. Раскинули крылья, почистились и распластались на холодной крыше. Вскоре, неизвестно откуда, появились другие голуби, десятками; они усаживались вокруг этих двоих, чистились и ворковали, дружески толкая друг друга. Затем, совершенно внезапно, все они улетели, кроме первых двух. Небо хмурилось, висели тяжёлые облака, полные света на горизонте, и виднелась длинная полоса голубого неба.

Медитация не имеет ни конца, ни начала; в ней нет достижения и нет неудачи, нет накопления и нет отречения; это — движение без конца и потому за пределами и выше времени и пространства. Переживание её означает её отрицание, отказ от неё, поскольку переживающий привязан к времени и пространству, памяти и узнаванию. Основание истинной медитации—то пассивное осознание, которое есть полная свобода от авторитета и честолюбивого стремления, зависти и страха. Медитация не имеет никакого значения, никакого смысла без этой свободы, без самопознания; пока же есть выбор, самопознания нет. Выбор подразумевает конфликт; конфликт препятствует пониманию того, что есть. Блуждание в каких-то фантазиях, в каких-то романтических верованиях — не медитация; мозг должен очистить себя от всякого мифа, иллюзии и безопасности и прямо взглянуть в лицо факту их ложности. Нет никакого отвращения, всё входит в движение медитации. Цветок — это форма, запах, цвет и красота, которые и есть весь цветок в целом. Разорвите его на части, фактически или словами, и тогда нет цветка, есть только воспоминание о том, что было, а это ни в коем случае не цветок. Медитация — весь цветок в его красоте, увядании и жизни.

Солнце только начало проглядывать сквозь облака рано утром и ежедневный рёв уличного движения ещё не начался; шёл дождь, и небо было скучное, серое. Дождь стучал по маленькой террасе, и ветер был свежий. Стоял в укрытии, глядя на простор реки и осеннюю листву, когда пришло это иное, отличное, как вспышка, какое-то время оставалось — чтобы снова уйти. Странно, каким интенсивным и реальным оно стало. Оно было таким же реальным, как эти крыши с сотнями труб. В нём есть странная движущая сила; оно сильно своей чистотой, силой невинности, которую ничто не может извратить. И оно было благословением.

Знание пагубно, разрушительно для узнавания нового, для открытия. Знание — всегда во времени, в прошлом. Оно никогда не принесёт свободы. Но знание необходимо, чтобы думать, действовать, а без действия существование невозможно. Однако действие, пусть даже мудрое, праведное, благородное, не может открыть дверь к истине. Пути к истине нет — её нельзя купить никаким действием, никаким очищением мысли. Добродетель — это единственный порядок в мире, находящемся в беспорядке, и здесь должна быть добродетель, которая является движением не-конфликта, свободы от конфликта. Но ничто из этого не откроет путь к беспредельному. Всё сознание должно опустошить себя от всего своего знания, действия и добродетели; опустошить себя не с целью достичь чего-то, что-то реализовать, чем-то стать. Оно должно оставаться пустым, хотя и действовать в повседневном мире мысли и действия. Из этой пустоты должны приходиться и мысль, и действие. Но и эта пустота не откроет пути. Не должно быть никакого пути, никакой попытки достичь чего бы то ни было. Не должно быть центра в этой пустоте, поскольку у неё нет измерения; это центр измеряет, взвешивает, рассчитывает. Эта пустота — вне пределов времени и пространства, вне пределов мысли и чувства.

Она приходит так же спокойно и ненавязчиво, как приходит любовь; у неё нет начала и конца. Она здесь, неизменная и неизмеримая.

Как важно для тела находиться в одном месте долгое время; эти постоянные переезды, смена климата и смена домов влияют на тело; оно вынуждено приспособляться, и в период приспособления ничто очень «серьёзное» происходить не может. А потом снова приходится уезжать. Всё это — испытания для тела. Но сегодня утром, когда проснулся незадолго до восхода солнца и рассвет уже наступил, невзирая на тело, та сила со своей интенсивностью была здесь. Любопытно, как тело реагирует на неё; тело никогда не бывало ленивым, хотя часто уставало, но сегодня утром, несмотря на холодный воздух, оно стало или, скорее, хотело стать активным. Только когда мозг спокойный — не сонный или вялый, а чувствительный и бдительный, — может появиться «иное». В это утро оно было совершенно неожиданным — ведь тело всё ещё приспособлялось к новому окружению.

Солнце взошло в ясном небе; его было не видно из-за множества дымовых труб, но его сияние наполнило небо, и цветы на маленькой террасе, казалось, ожили, и их цвет стал более ярким и интенсивным. Это было прекрасное утро, полное света, и небо стало чудесно голубым. Медитация включала в себя эту голубизну и эти цветы, они были её частью; они тихо входили в медитацию и не были отвлечением. Отвлечения, на самом деле, не бывает, так как медитация — это не концентрация, представляющая собой исключение, отсекающее, сопротивление и потому конфликт. Медитативный ум может концентрироваться, и тогда это не исключение, не сопротивление, но концентрированный ум не может медитировать. Любопытно, сколь всеобъемлюще важной становится медитация; ей нет конца, и у неё нет начала. Она — как дождевая капля; в такой капле — все ручьи, огромные реки, моря, водопады; такая капля питает землю и человека, без неё земля была бы пустыней. Без медитации сердце становится пустыней, бесплодной землёй. Медитация имеет своё движение; вы не можете направлять её, формировать или принуждать её; если вы это делаете, она перестаёт быть медитацией. Если вы — просто наблюдающий, если вы — переживающий, это движение прекращается. Медитация есть движение, которое уничтожает наблюдающего, переживающего; это движение, которое за пределами всех символов, мыслей и чувств. Его скорость неизмерима.

Но облака затягивали небо; шла битва между ними и ветром, и ветер побеждал. Возникло обширное голубое пространство, голубое-голубое, облака же были фантастичны, полные света и мрака, а те, что к северу, казалось, забыли время, но пространство принадлежало им. В парке [*Марсово поле*] земля была покрыта осенними листьями, и тротуар тоже полон ими. Это было яркое, свежее утро, и цветы были великолепны в своей осенней окраске. За огромной, высоко поднявшейся башней [*Эйфелева башня*], главной достопримечательностью, проезжала похоронная процессия; гроб и катафалк, покрытый цветами, сопровождало множество автомобилей. Даже и в смерти мы хотим быть важными; нет конца нашему тщеславию и претензиям. Всякий хочет быть кем-то или ассоциироваться с тем, кто является кем-то. Власти и успеха, большого или малого, и признания. Без признания они не имеют смысла — признания многими или одним, над которыми или над которым они властвуют, на кого они имеют влияние. Власть всегда почитается, и потому она считается уважаемой. Власть — всегда зло, будь она у политика или у святого, или у жены над мужем. Хоть она и зло, каждый жаждет её, а у кого она есть, хотят большей власти. Катафалк с этими весёлыми цветами на солнце кажется таким далёким, и даже смерть не кладёт конца власти, ибо она продолжается в другом. Это факел зла, который передаётся от поколения к поколению. Немногие могут отбросить его, легко и свободно — без оглядки назад; они не получают награды. Награда — это успех, ореол признания. И если нет речи о том, чтобы быть признанным, — неудача забыта; если вы —

никто, когда все к чему-то стремятся, а конфликт прекратился, — тогда приходит благословение, которое не от церкви или от человеческих богов. Дети шумели и играли, когда катафалк проезжал мимо, даже не глядя на него, поглощённые своими играми и смехом.

Даже звёзды можно увидеть в этом хорошо освещённом городе, и звуки здесь есть иные, чем рёв уличного движения, — воркование голубей, чи-риканье воробьев; и запахи есть не только окиси углерода, но и другие — запах осенних листьев и аромат цветов. Сегодня рано утром на небе было немного звёзд и кудрявые облачка — и вместе с ними пришло это интенсивное проникновение в глубины неизвестного. Мозг был спокоен, так спокоен, что он мог слышать малейший шум, и поскольку он был спокоен и потому не способен вмещиваться, было движение, которое начиналось ниоткуда и шло через мозг в неизведанные глубины, туда, где слово теряет свой смысл. Оно проносилось через мозг, и происходило вне пространства и времени. Описываемое — не фантазия, сон или иллюзия, а действительный факт, который имел место, но то, что имеет место, — это не слово, не описание. Была огненная энергия, взрывная, немедленная жизненность, и с ней пришло это проникновенное движение. Оно было подобно ужасному ветру, набирающему силу и ярость по мере движения, разрушая, очищая, оставляя за собой пустоту. Было полное осознание всего этого, и была огромная сила и красота — не сила и красота, которые создаются, а красота и сила чего-то абсолютно чистого и неподвластного порче. Это продолжалось десять минут по часам, но было чем-то неподдающимся измерению.

Солнце вошло среди славы облаков, фантастически живых и глубоких по цвету. Городской гул ещё не начался, и голуби и воробьи были на своих местах. Как удивительно мелок мозг; какой бы тонкой и глубокой ни была мысль, она, тем не менее, рождается из поверхностного. Мысль скована временем, а время ограничено; именно эта ограниченность, мелкость, и препятствует «видению». Видение всегда мгновенно, как понимание, и мозг, который сформирован временем, препятствует видению, искажает его. Время и мысль нераздельны; положите конец одному, и вы положите конец другому. Мысль не может быть уничтожена волей, ибо воля — это мысль в действии. Мысль — одно, а центр, из которого выходит мысль, — другое. Мысль — это слово, а слово — накопление памяти, опыта. Существует ли мысль без слова? Есть движение, которое не является словом, и оно не от мысли. Это движение можно описать мыслью, но само оно — не от мысли. Это движение появляется, когда мозг спокоен, но активен, и мысль никогда не может найти, обнаружить это движение.

Мысль — это память, а память — накопленные реакции, так что мысль всегда обусловлена, сколько бы она ни воображала себя свободной. Мысль механична и привязана к центру своего знания. Расстояние, которое покрывает мысль, зависит от знания, а знание — это всегда остатки от вчерашнего дня, от движения, которое ушло. Мысль может проецировать себя в будущее, но она привязана к прошлому. Мысль строит себе тюрьму и живёт в ней, будь та тюрьма в будущем или в прошлом, золочённая или простая. Мысль никогда не может быть спокойной; по природе своей она неутомима, всё время рвётся вперёд и отступает. Механизм мысли всегда в движении, шумном или спокойном, на поверхности или же скрытым образом. Она не может исчерпать себя. Мысль может себя очищать, контролировать свои блуждания, может выбирать себе направление и соответствовать окружению.

Мысль не может выйти за пределы самой себя; она может функционировать в узких или широких полях, но она всегда будет в пределах ограничений памяти, память же всегда ограничена. Память должна умереть, психологически, внутренне, функционируя только внешне. Внутренне — необходима смерть, а внешне — чувствительность к каждому вызову и отклику. Внутренняя озабоченность мыслью препятствует действию.

Провести такой прекрасный день в городе представляется большой потерей; на небе ни облачка, солнце тёплое, и голуби греются на крыше — но город продолжает реветь немилосердно. Деревья чувствуют осенний воздух, листья их желтеют — медленно, вяло, заброшенно. Улицы полны людьми, всё время глядящими на витрины, но очень редко — на небо; проходя, они видят друг друга, но озабочены они лишь самими собой: как они выглядят, какое впечатление производят; зависть и страх присутствуют постоянно, несмотря на их косметику, несмотря на весь их ухоженный вид. Рабочие измотаны, мрачны и ворчливы. А скопление деревьев напротив стены музея выглядит совершенно самодостаточным; река, заключённая в бетон и камень, кажется абсолютно равнодушной, безразличной. Полно голубей с их чопорным достоинством. Вот и прошёл день, на улице, в конторе. Это мир монотонности и отчаяния, со смехом, который быстро проходит. По вечерам памятники и улицы освещаются — но остаётся огромная пустота и невыносимая боль.

Жёлтый лист на тротуаре — только что упавший; он всё ещё полон лета и даже в смерти очень красив; он ещё несколько не увял, всё ещё хранит весеннюю форму, изящество, но он жёлтый и к вечеру увянет. Рано утром, когда солнце только что показалось в ясном небе, был проблеск «иного», отличного, с его благословением, и красота его остаётся. Не то чтобы мысль овладела ею и удерживает её, но она оставила свой отпечаток на сознании. Мысль всегда фрагментарна, и то, что она удерживает, всегда частично, неполно, как память. Она не может наблюдать целое; часть не может видеть целое, и отпечаток благословения не вербален, не передаваем словами и каким-то символом. Мысль всегда терпит неудачу в своей попытке открыть, пережить то, что за пределами времени и пространства. Мозг, ум, механизм мысли, может быть в покое; самый активный ум может быть в покое; его механизм может работать очень медленно. Спокойствие мозга, ума, при интенсивной чувствительности жизненно важно; только при нём клубок мысли может распутаться и мысль может прийти к концу. Окончание мысли — это не смерть; только с ним возможна чистота, невинность, свежесть; это новое качество мысли. Это то качество, которое кладёт конец скорби и отчаянию.

Утро — безоблачное; солнце как будто прогнало каждое облако с глаз долой. Царит спокойствие, нарушаемое только рёвом уличного движения, хотя сегодня и воскресенье. Голуби греются на цинковых крышах, и сами почти того же цвета, что крыша. Ни дуновения воздуха, хотя свежо и прохладно.

Есть мир, выходящий за пределы и мысли и чувства. Это не мир политика, священника или того, кто его ищет. Его не отыскать. Что ищут, то должно быть уже известным, а что известно, то никогда не бывает реальным. Мир — не для верующего, не для философа, который специализируется в теории. Мир — это не реакция, не противоположность насилия. У него нет противоположности; все противоположности должны прекратиться — сам конфликт двойственности. Двойственность существует: свет и тьма, мужчина и женщина, и так далее, но конфликт между противоположностями ни в коем случае не обязателен. Конфликт между противоположностями возникает только тогда, когда есть потребность, побуждение что-то выполнить, потребность в сексе, психологическая потребность в безопасности. Только тогда возникает конфликт между противоположностями; бегство от противоположностей, привязанность и отстранение — это поиск мира с помощью церкви и закона. Закон может дать и даёт поверхностный порядок; мир, который предлагают церковь и храм, — это фантазия, миф, к которому может прибегать смятенный ум. Но это не мир. Символ, слово должны быть уничтожены — не для того уничтожены, чтобы иметь мир, они должны быть уничтожены потому, что они являются препятствием для понимания. Мир — не для продажи, не средство обмена. Конфликт в любой форме должен прекратиться, тогда, возможно, будет мир. Необходимо полное отрицание, прекращение требований и потребностей, только тогда конфликт приходит к концу. Лишь в пустоте происходит рождение. Вся внутренняя структура сопротивления и безопасности должна отмереть; только тогда есть пустота. Только в этой пустоте присутствует мир, чья добродетель не имеет цены и не приносит выгоды.

Он был здесь рано утром, он вошёл вместе с солнцем в ясное, ещё тёмное небо; он был чудесным, исполненным красоты, тем благословением, которое не требует ничего — ни жертвы, ни последователей или апостолов, ни добродетели, ни полночного часа. Он был здесь в изобилии, и только щедрый ум и сердце могли воспринять его. Он был за пределами всякой меры.

В парке было многолюдно; повсюду были люди, дети, няньки — самых разных национальностей; они разговаривали, кричали и играли; работали фонтаны. Главный садовник имел, должно быть, очень хороший вкус: здесь было такое множество цветов и такое множество красок, перемешанных друг с другом. Это было очень эффектно и создавало ощущение весёлого праздника. День был приятный, и казалось, все вышли на прогулку в своих лучших нарядах. Пройдя через парк и перейдя главную улицу, вышел на тихую улочку, с деревьями и хорошо ухоженными старыми домами; солнце садилось, заливая огнём облака и реку. День завтра опять обещал быть хорошим, как сегодня утром, когда раннее солнце освещало редкие облачка, делая их ярко-розовыми. Это было хорошее время для покоя, для медитации. Вялость и спокойствие несовместимы; чтобы быть в покое, необходимы интенсивность и медитация; в таком случае медитация не является блуждающей, она активна и энергична. Медитация — не преследование какой-то мысли, идеи; медитация есть сущность всей мысли, которая заключается в том, чтобы выйти за пределы всякой мысли и чувства. Тогда это движение в неизвестное.

Разумность — это не просто способность к планированию, припоминанию и передаче; она больше, чем всё это. Человек может быть очень информированным и умным на одном уровне существования и вполне тупым на других уровнях.

Знание, пусть даже глубокое и широкое, не обязательно означает разумность. Способность — это ещё не разумность. Разумность есть чуткое осознание жизни во всей её полноте — жизни, с её проблемами и противоречиями, несчастьями и радостями. Осознавать всё это без выбора и без увлечения какой-либо одной из её сторон и течь вместе со всей жизнью — это разумность. Такая разумность — не результат влияния или окружения; она не является их пленником, поэтому она может понимать их и потому быть свободной от них. Сознание ограничено, явное или скрытое, и его деятельность, какой бы живой и чуткой она ни была, заключена в границы времени; разумность же — нет. Чуткое осознание всей полноты жизни, без всякого выбора, — это разумность. Эту разумность невозможно использовать для достижений и выгоды, личной или коллективной. Эта разумность означает разрушение, так что форма не имеет значения; реформа же в таком случае оказывается регрессом. Без разрушения всякое изменение есть лишь модифицированное продолжение. Психологическое разрушение всего, что было, — а не просто внешнее изменение — вот сущность разумности. Без этой разумности всякое действие ведёт к несчастью и смятению. Скорбь — отрицание этой разумности.

Невежество означает отсутствие не знания, а самопознания; без самопознания нет разумности. Самопознание, в отличие от знания, не накопительно; самопознание — учёба из момента в момент. Это не накопительный процесс; в процессе собирания и добавления формируется центр — центр знания, опыта. В этом процессе, позитивном или негативном, нет понимания, ведь пока имеется намерение собирать или сопротивляться, движение мысли и чувства не понято и никакого самопознания нет. Без самопознания нет разумности. Самопознание — это активное настоящее, а не суждение; всякое суждение о себе подразумевает накопление, оценку из центра опыта и знания. Именно это прошлое препятствует пониманию активного настоящего. В существовании самопознания присутствует разумность.

Город не является приятным местом; даже красивый город, а это красивый город. Чистая река, открытые пространства, цветы, шум, грязь и удивительная башня, голуби и люди — всё это и небо способствует тому, чтобы сделать его приятным, но всё же это не сельская местность, с полями, лесами и чистым воздухом; сельская местность всегда красива, она далека от дыма и рёва уличного движения, совсем далека, и там есть земля, такая обильная, такая богатая. Шёл вдоль реки, под беспрестанный рёв уличного движения, и казалось, что река содержит в себе всю землю; хотя и сдерживаемая бетоном и камнем, она была беспредельна, это были воды каждой реки от гор до равнин. Она становилась цветом заката, любым цветом, который когда-либо видел глаз, такая сверкающая и быстрая. Вечерний ветерок играл повсюду, и осень касалась каждого листа.

Небо было так близко, охватывая землю, и царил невероятный мир. И постепенно наступала ночь.

При пробуждении сегодня рано утром, когда солнце ещё было за горизонтом и рассвет только начался, медитация подчинилась тому иному, чьё благословение — ясность и сила. Оно было там прошлой ночью, когда ложился спать, — так неожиданно, так ясно. Не был с ним уже несколько дней, тело приспособлялось к жизни в городе, и поэтому когда оно пришло, была огромная интенсивность и красота, и всё стихло; оно наполняло комнату и распространялось за её пределы. В теле ощущалась определённая скованность — нет, определённая неподвижность, — хотя оно и было расслабленным. Должно быть, оно оставалось всю ночь, поскольку при пробуждении оно активно присутствовало, наполняя и комнату, и окрестности. Всякое его описание не имеет смысла, ибо слово не может охватить ни его безмерность, ни его красоту. Всё прекращается, когда есть оно, и странным образом мозг со всеми его откликами и делами оказывается внезапно и добровольно успокоившимся, без единого отклика, без единого воспоминания или какой-либо регистрации происходящего. Мозг очень живой, но он абсолютно спокоен. Оно слишком огромно для любого воображения, которое всегда весьма незрело и, в любом случае, глупо. То, что действительно происходит, настолько жизненно и значительно, что всякое воображение и иллюзия теряют свой смысл.

Понимание потребности имеет огромное значение. Есть внешние потребности, необходимые, жизненно важные: еда, одежда, жильё; но помимо этого есть ли какие-нибудь другие потребности? Хотя каждый человек захвачен водоворотом внутренних потребностей, являются ли они жизненно важными? Потребность в сексе и потребность в осуществлении чего-то или в самоосуществлении, неудержимые импульсы честолюбия, зависти и жадности — не образ ли это жизни? В течение тысяч лет своим образом жизни их делал каждый из живущих; и общество и церковь весьма почитают и уважают их. Каждый человек или принял этот образ жизни или, будучи к нему приучен, смиряется с ним, бессильно сопротивляясь течению, обескураженный, ищущий убежища. И убежища становятся более важными, чем реальность. Психологические потребности — это защитный механизм против чего-то гораздо более значительного и реального. Потребность осуществить что-то, реализоваться, быть важным вытекает из страха перед чем-то, что существует и присутствует рядом, но что человек не пережил, что ему не известно. Осуществление чего-то и сознание собственной значительности, освящаемые именем страны, партии, подкрепляемые каким-либо удобным верованием, — способы бегства от факта своего ничтожества, пустоты, одиночества, от факта своей самоизолирующей деятельности. Внутренние потребности, которым, похоже, нет конца, умножаются, изменяются, продолжаются. Это источник противоречивых жгучих желаний.

Желание всегда здесь; объекты желания меняются, число их уменьшается или умножается, но оно всегда здесь. Контролируемое, терзаемое, отвергаемое, принимаемое, подавляемое, выпущенное на свободу или пресекаемое, оно всегда здесь, слабое или сильное. Что не в порядке с желанием? Откуда эта непрестанная война против него? Оно беспокоит, причиняет боль, ведёт к смятению, скорби, но всё-таки оно здесь, всегда здесь, слабое или обильное. Понять его полностью, не подавлять его, не муштровать его до неузнаваемости, значит понять потребность. Потребность и желание идут рядом, как достижение и разочарование. Нет желания благородного или неблагородного, есть только желание, внутри которого всегда конфликт. Отшельник и партийный босс, пылая им, называют иным именем, но оно здесь, разъедающая самую суть, самую сердцевину вещей. Если есть полное понимание потребности, внешней и внутренней, желание больше не является мучением. Тогда оно имеет совсем другой смысл, смысл, далеко выходящий за пределы содержания мысли, выходящий и за пределы чувства с его волнениями, мифами и иллюзиями. При полном понимании потребности — не только лишь её масштабов или характера, — желание оказывается пламенем, страстью, а не мучением. Без этого пламени пропадает и сама жизнь. Это то пламя, которое выжигает ничтожество своего объекта, уничтожает границы, барьеры, навязанные ему. Зовите тогда его каким угодно именем: любовь, смерть, красота. Тогда оно здесь, и нет ему конца.

Странный вчера был день. То иное было вчера весь день — во время короткой прогулки, когда отдыхал, и очень интенсивно во время беседы (*это была третья беседа, в основном о конфликте и о сознании*). Оно упорно оставалось большую часть ночи; этим утром, когда проснулся после короткого сна, оно продолжалось. Тело слишком устало и нуждается в отдыхе. Удивительно, тело становится очень спокойным, очень тихим, неподвижным, но каждый дюйм его очень живой и чувствительный.

Сколько может видеть глаз, везде маленькие, короткие дымовые трубы, все без дыма, так как погода очень тёплая; горизонт далеко, неровный, загромождённый; кажется, что город тянется бесконечно. Вдоль улицы — деревья, ожидающие зимы, ибо осень уже постепенно начинается. Небо отливало серебром, гладкое и яркое, и ветерок рябил воду на реке. Голуби зашевелились рано утром, и когда солнце нагрело цинковые крыши, они сидели там, греясь. Ум, который включает в себя рассудок, мысль, чувство, любую тончайшую эмоцию, фантазию и воображение, — это нечто необычайное. Ум не сводится ко всему своему содержанию, и всё же без этого содержания ума нет; он больше того, что в нём содержится. Без ума этого содержания не было бы, оно существует благодаря ему. Именно в абсолютной пустоте ума существуют интеллект, мысль, чувство, всё сознание. Дерево — не слово, не лист и не ветвь или корень; всё это вместе и есть дерево, и всё же оно не является ни одной из этих вещей. Ум — это та пустота, в которой могут существовать явления ума, но эти явления — не ум. Благодаря этой пустоте возникают время и пространство. Но рассудок со своими проявлениями охватывает всё поле существования, рассудок занят многочисленными проблемами существования. Рассудок не может постичь природу ума, поскольку функционирует лишь фрагментарно — но множество фрагментов не составляет целого. И всё же он занимается соединением противоречивых фрагментов с целью составить целое. Целое никогда не может быть собрано и составлено.

Работа памяти, действие знания, конфликт противоположных желаний, поиски свободы, — всё это ещё остаётся в пределах рассудка; рассудок может очищать, расширять, накапливать свои желания, но скорбь будет продолжаться. Нет конца скорби, пока мысль — только отклик памяти, опыта. Есть «мышление», рождённое абсолютной пустотой ума; в этой пустоте нет центра, и потому есть возможность бесконечного движения. Творение рождается из этой пустоты, но это не творчество человека, который что-то составляет, конструирует. Творение пустоты — это любовь и смерть.

Опять же — странный это был день. То иное присутствовало, где бы ни был и что бы ни делал. Мозг, рассудок как будто жил в этом, он был очень спокоен, не сонный, чувствительный и бдительный. Есть ощущение наблюдения из бесконечной глубины. Хотя тело и устало, налицо специфическая бдительность. Пламя, которое всегда горит.

Всю ночь шёл дождь, и это было приятно после многих недель солнца и пыли. Земля была сухая, обожжённая, потрескавшаяся; тяжёлая пыль покрывала листья, и газоны поливали. В переполненном и грязном городе солнечные дни в таком количестве не радовали; воздух был душным, и вот теперь много часов шёл дождь. Только голубям он не нравился, они прятались, где могли, огорчённые, и перестали ворковать. Воробьи привыкли купаться вместе с голубями там, где была вода, а теперь они где-то попрятались; обычно они прилетали на террасу, пугливые и энергичные, но настало время проливного дождя, и земля намокла.

Опять большую часть ночи это благословение, это иное было здесь; даже когда спал, оно было здесь; при пробуждении чувствовал его силу, упорство и настойчивость; оно было таким, как будто продолжалось всю ночь. Его всегда сопровождает великая красота, красота, не связанная с образами, чувством или мыслью. Красота — не мысль или чувство; она ничего общего не имеет с эмоцией или настроением.

Возьмём страх. Страх никогда не бывает в настоящем; страх или до, или после живого, действующего настоящего. Если страх присутствует в живом, действующем настоящем — страх ли это? Оно здесь, и от него не убежать, никакое бегство невозможно. В данный, наличный момент есть полное внимание к моменту опасности, физической или психологической. Когда есть это полное внимание — страха нет. Но реальный, наличный факт невнимания порождает страх; страх возникает при уклонении от факта, при бегстве; тогда бегство само по себе есть страх.

Страх и множество его форм — вина, тревога, надежда, отчаяние — присутствуют в любом движении отношений; страх присутствует в любом поиске безопасности; он присутствует в так называемой любви и в поклонении; он присутствует в честолюбивом стремлении и в успехе; он присутствует в жизни и в смерти; он присутствует в телесных проявлениях и в психологических факторах. Страх существует в таком множестве форм и на всех уровнях нашего сознания. Защита, сопротивление и отказ возникают из страха. Страх темноты и страх света, страх ухода и страх прихода. Страх начинается и кончается желанием безопасности, и внутренней и внешней, желанием уверенности и постоянства. Непрерывающееся постоянство, неизменное постоянство ищется по всюду: в добродетели, отношениях, действии, опыте, знании, явлениях внешних и внутренних. Обрести безопасность и быть в безопасности — вот вечный клич, вечный вопль. Именно эта настойчивая потребность порождает страх.

Но существует ли и постоянство, внешнее или внутреннее? Внешнее постоянство, возможно, в какой-то мере быть и может, но даже и оно непрочное: войны, революции, прогресс, несчастный случай и землетрясения. Пища, одежда и жильё нужны, они важны и необходимы всем. Но несмотря на все поиски, ведущиеся безрассудно или разумно, существует ли то, что мы ищем, — внутренняя уверенность, внутренняя неизменность и неразрывность, постоянство? Нет. Бегство от этой реальности есть страх. Неспособность встретить эту реальность лицом к лицу порождает все формы надежды и отчаяния.

Мысль сама по себе является источником страха. Мысль есть время; мысль о будущем — это удовольствие или страдание; если это приятно, мысль будет за это держаться, боясь конца; если болезненно, тогда само уклонение от этого означает страх. И удовольствие и страдание вызывают страх. Время как мысль и время как чувство порождают страх. Концом страха является понимание мысли, механизма памяти и опыта. Мысль — это весь процесс сознания, явный и скрытый; мысль — это не только лишь то, что продумывается, но и источник самой себя. Мысль — это не просто вера, догма, идея и довод, она также является центром, из которого

всё это возникает. Этот центр — источник всего страха. Но что происходит: переживание страха или осознание причины страха, от которого убегает мысль? Физическая самозащита здрава, нормальна, но всякая другая форма самозащиты — внутренняя — означает сопротивление, она всегда накапливает и формирует ту силу, которая и есть страх. Этот внутренний страх делает внешнюю безопасность проблемой класса, престижа, власти, и отсюда безжалостная конкуренция.

Когда весь этот процесс мысли, времени и страха воспринят, не в качестве идеи, интеллектуальной формулы, приходит полное окончание страха, осознанного или скрытого. Понимание себя — это пробуждение и окончание страха.

И когда прекращается страх, прекращается также и способность порождать иллюзии, мифы, видения с их надеждами и отчаянием, и только тогда начинается движение выхода за пределы сознания, то есть мысли и чувства. Это опустошение сокровенных уголков от глубоко скрытых потребностей и желаний. Когда присутствует эта полная пустота, когда не остаётся абсолютно и буквально ничего — никакого влияния, никаких ценностей, никаких границ, никакого слова, — тогда, в этой полной тишине и покое времени-пространства, пребывает то, что не имеет имени.

Был славный вечер, небо ясное, и несмотря на огни города, звёзды сияли; хотя башня была залита светом со всех сторон, можно было увидеть и далёкий горизонт, и блики света внизу на реке; несмотря на постоянный рёв уличного движения, это был тихий вечер. Медитация подкралась как волна, набегающая на песчаный пляж. Это была не та медитация, которую мозг мог бы уловить в сети своей памяти; она была чем-то таким, чему мозг сдался без всякого сопротивления. Это была медитация, далеко выходящая за пределы любой формулы, метода; метод, формула и повторение разрушают медитацию. В своём движении она вбирала всё: звёзды, шум, покой, водный простор. Но медитирующего не было; медитирующий, наблюдающий должен исчезнуть, чтобы могла быть медитация. Разрушение медитирующего — тоже медитация, но когда медитирующий перестаёт существовать, тогда это совсем иная медитация.

Было очень раннее утро; Орион поднимался над горизонтом, а Плеяды стояли почти над головой. Шум города утих, огней в окнах в этот час не было, и дул приятный, прохладный ветерок. В полном внимании нет переживания. В невнимании оно присутствует; именно невнимание накапливает переживания, опыт, умножая память, выстраивая стены сопротивления; именно невнимание порождает эгоцентрическую деятельность. Невнимание — это концентрация, исключаящая, отсекающая; концентрация знает рассеяние и бесконечный конфликт контроля и дисциплины. В состоянии невнимания всякий отклик на любой вызов неадекватен; эта неадекватность есть переживание. Переживание ведёт к бесчувственности, притупляет механизм мысли, укрепляет стены памяти — и привычка, рутина становится нормой. Переживание, невнимание — не освобождение. Невнимание — это медленная деградация.

В полном внимании нет переживания, нет центра, который переживает, или периферии, в которой может иметь место переживание. Внимание — не концентрация, которая сужает, ограничивает. Полное внимание включает и никогда не исключает. Поверхностность внимания означает невнимание; полное внимание включает в себя поверхностное и скрытое, прошлое и его влияние на настоящее, продвигающееся в будущее. Всё сознание избирательно, ограничено, и полное внимание включает в себя сознание с его ограничениями, и потому оно способно разрушить эти барьеры и ограничения. Всякая мысль обусловлена — и мысль не может избавиться от обусловленности. Мысль—это время и опыт; она, по сути дела, — результат невнимания.

Что принесёт полноту внимания? Не какой-нибудь метод или система; они приносят результат, обещанный ими. Но полное внимание — не результат, так же, как не является результатом и любовь; его нельзя возбудить, нельзя вызвать каким-то действием. Полное внимание есть отрицание результатов невнимания, и это отрицание не есть следствие знания того, что такое внимание. Что ложно, то должно быть отвергнуто, и не потому, что вы уже знаете, что истинно: если бы вы знали, что истинно, ложного не существовало бы. Истинное — не противоположность ложного; как и любовь — не противоположность ненависти. Из-за того, что вы знаете ненависть, вы не знаете любви. Отрицание ложного, отрицание невнимания — не результат желания достигнуть полного внимания. Видение ложного как ложного, истинного как истинного и истинного в ложном — не результат сравнения. Видеть ложное как ложное — это и есть внимание. Ложное нельзя увидеть как ложное, пока есть мнение, суждение, оценка, привязанность и тому подобное, которые являются результатом невнимания. Видение всего механизма невнимания и есть полное внимание. Внимательный ум — это пустой ум.

Чистота иного — его безмерная и непостижимая сила. И этим утром оно было здесь со своей необычайной тишиной.

Вечер был ясный и светлый, на небе ни облачка. Он был такой прелестный, что было даже удивительно, что такой вечер может случиться в городе. Луна стояла между арками башни, и вся картина выглядела весьма искусственной и нереальной. Воздух был такой мягкий и приятный, что это вполне мог бы быть летний вечер. На балконе было очень спокойно, всякая мысль замерла, и медитация казалась случайным движением без всякого направления; но направление всё же было. Она начиналась ниоткуда и шла в безмерную, бездонную пустоту, где пребывает сущность всего. В этой пустоте есть расширяющееся, взрывное движение, чей взрыв — творение и разрушение. Любовь — сущность этого разрушения.

Либо мы ищем в страхе, либо — будучи свободными от него — мы ищем без всякого мотива. Этот поиск не исходит из недовольства; не быть удовлетворённым любой формой мысли и чувства, видеть их смысл не означает недовольства. Недовольство так легко удовлетворяется, когда мысль и чувство нашли в какой-то форме убежище, успех, удовлетворяющую позицию, веру, и так далее, — только для того, чтобы снова возникнуть, если убежище подверглось нападению, повреждено или разрушено. С этим циклом надежды и отчаяния большинство из нас знакомо. Поиск, мотивом которого является недовольство, может вести лишь к какой-нибудь иллюзии, к иллюзии коллективной или личной, к тюрьме множества привязанностей. Но есть поиск и без всякого мотива вообще; но поиск ли это тогда? Поиск подразумевает — не такли? — объект, цель, уже известную, прочувствованную или сформулированную. Если она сформулирована, то это расчёт мысли, комбинирующей и соединяющей то, что мысль познала или пережила; для того, чтобы найти то, что ищется, изобретены методы и системы. Но это вообще не поиск, это просто желание достичь удовлетворяющего результата или укрыться в какой-то фантазии или в том, что обещает какая-нибудь теория, какое-нибудь верование. Это не поиск. Когда страх, удовлетворение, стремление уклониться или убежать потеряли свой смысл, есть ли тогда вообще поиск?

Если мотив всякого поиска иссяк, недовольство и жажда успеха умерли, есть ли тогда поиск? И если поиска нет, будет ли сознание деградировать, впадать в застой? Наоборот, именно этот поиск, переход от одного убеждения к другому, от одной церкви к другой, ослабляет ту необычайно важную энергию, которая необходима, чтобы понять то, что есть. То, что есть, — всегда ново; его никогда не было и никогда не будет. Высвобождение этой энергии возможно только тогда, когда поиск в любой форме прекращается.

Было безоблачное утро, очень раннее; время, казалось, остановилось. Было четыре тридцать, но время, казалось, потеряло весь свой смысл. Как будто не было ни вчера, ни завтра, ни следующего момента. Время замерло, и жизнь продолжалась без тени, жизнь шла без мысли, без чувства. Тело находилось здесь, на террасе, высокая башня со вспышками предупредительного света была на месте, так же как и дымовые трубы; мозг видел всё это, но дальше он не шёл. Время как мера и время как мысль и чувство остановилось. Времени не было; всякое движение прекратилось, но не было и ничего статичного. Наоборот, была необычайная интенсивность и чувствительность, огонь, который горел без жара и цвета. Плеяды были над головой, Орион — пониже, на востоке, а утренняя звезда стояла над крышами. И этот огонь сопровождали радость, блаженство. Дело не в радостном ощущении — был экстаз. Не было отождествления с ним и не могло быть, так как время прекратилось. Этот огонь не мог отождествить себя ни с чем или быть в отношениях с чем-либо. Он был здесь, ибо время остановилось. И наступал рассвет, Орион и Плеяды угасали, а вскоре и утренняя звезда тоже ушла своим путём.

Был жаркий, душный день, даже голуби спрятались; воздух был горячий, и находиться в городе было совсем не приятно. Ночь же была прохладная; несколько звёзд, которые были видны, ярко светились, даже огни города не могли их затмить. В них была поразительная интенсивность.

Это был день иного; весь день оно спокойно присутствовало, временами вспыхивая, становясь очень интенсивным, затем опять успокаивалось, шло спокойно (*в это утро он провёл пятую беседу*). Его интенсивность была такой, что всякое движение становилось невозможным и приходилось сидеть. При пробуждении в середине ночи оно было здесь, с огромной силой и энергией. На террасе, при шуме города, уже не столь назойливом, всякая медитация стала и неуместной и ненужной, ибо оно присутствовало в полной мере. Это благословение; всё остальное представляется таким глупым и инфантильным. В этих случаях мозг всегда очень спокойный, но ни в коем случае не сонный, всё тело становится бездвижным. Это странно и удивительно.

Как мало меняется человек. Через принуждение в какой-либо форме, давление, внешнее или внутреннее, он изменяется, но на самом деле это только приспособление. Какое-нибудь влияние, слово, жест заставляют его изменить форму привычки, но не так уж сильно. Пропаганда, газета, какой-нибудь инцидент в известной мере изменяют ход жизни. Страх и вознаграждение разрушают привычный образ мыслей лишь для того, чтобы переформировать его, придать ему другую форму. Новое изобретение, новое устремление, новое убеждение приносят определённые перемены. Но всё это — изменения на поверхности, как от сильного ветра на воде, они не являются коренными, глубокими, сокрушительными. Всякая перемена, имеющая мотив, вообще не перемена. Экономическая, социальная революция — это реакция, а всякое изменение, происходящее в качестве реакции, не есть радикальная перемена, это только изменение стереотипа, шаблона. Такая перемена — это просто приспособление, механическое производное желаний комфорта, безопасности, простого физического выживания.

Что же тогда приводит к фундаментальной трансформации? Сознание, явное и скрытое, — весь механизм мысли, чувства, переживания — заключено в границы времени и пространства. Оно есть неделимое целое; разделение на сознательное и скрытое существует лишь для удобства коммуникации, но это недействительное разделение. Верхний уровень сознания может модифицировать и модифицирует себя, приспособливается, изменяется, реформируется; он овладевает новым знанием, новыми методами; может изменить себя, чтобы соответствовать новой социальной, экономической модели, но такие изменения поверхностны и хрупки. Неосознанное, скрытое, может передавать и передаёт через сны свои требования, свои потребности, свои накопившиеся желания. Сны нуждаются в истолковании, а интерпретатор всегда обусловлен. В снах нет никакой надобности, если в часы бодрствования есть осознание без выбора, при котором каждая мимолётная мысль и чувство поняты; тогда сон имеет совсем другой смысл. Анализ скрытого подразумевает наблюдающего и наблюдаемое, цензора и вещь, о которой судят. И здесь не только присутствует конфликт, здесь и сам наблюдающий обусловлен — и его оценка, его интерпретация никогда не может быть верной, она будет искажённой, извращённой. Поэтому самоанализ или психоанализ, осуществляемый кем-либо другим, пусть даже и профессионалом, может привести лишь к некоторым поверхностным изменениям, к некоторой сглаживающей корректировке отношений, и тому подобному, однако он не может вызвать радикальной трансформации сознания. Психоанализ не трансформирует сознание.

Ближе к вечеру солнце освещало реку и красно-бурую листву осенних деревьев вдоль длинной аллеи; ярко горели краски в своём удивительном разнообразии; как в огне пылала и узкая полоска воды. Длинная очередь собралась у верфи в ожидании прогулочного судна, и автомобили производили ужасный шум. В жаркий день большой город был почти невыносим; небо было ясное, и солнце пекло немилосердно. Но ранним утром, сегодня, когда Орион стоял над головой и лишь один или два автомобиля проехали вдоль реки, на террасе царили покой и медитация при полном раскрытии ума и сердца, граничащем со смертью. Быть полностью раскрытым, полностью уязвимым — это и есть смерть. У смерти тогда нет уголка, где бы она могла скрыться; смерть скрывается только в тени, в тайных убежищах мысли и желания. Но смерть всегда здесь для сердца, которое увяло в страхе и надежде; смерть всегда там, где мысль ждёт и наблюдает. В парке кричала сова, этот звук был приятен для уха — такой ясный и такой ранний; он приходил и уходил с разными интервалами, и, казалось, ей нравится собственный голос, на который никто не откликается.

Медитация разрушает границы сознания; она разрушает механизм мысли и чувство, возбуждаемое мыслью. Медитация, подчинённая методу, системе наград и обещаний, уродует, подавляет и разрушает энергию. Медитация — высвобождение энергии в изобилии, — а контроль, дисциплина и подавление загрязняют чистоту этой энергии. Медитация — это пламя, пылающее интенсивно, не оставляя пепла. Слово, чувство, мысль всегда оставляют пепел, и жить на пепелище — путь и образ жизни этого мира. Медитация опасна, ведь она разрушает всё, совершенно ничего не оставляя, даже намёка на желание; и в этой огромной, бездонной пустоте — творчество и любовь.

Если продолжить: психоанализ, личный или профессиональный, не приводит к трансформации сознания. Никакое усилие не может трансформировать его; усилие означает конфликт, а конфликт лишь укрепляет стены сознания. Никакой довод, даже логичный и здравый, не может освободить сознание, так как довод — это идея, выработанная влиянием, опытом и знанием, а все они — дети сознания. Когда всё это видится как ложное, ложный подход к трансформации, тогда отрицание ложного означает опустошение сознания. У истины нет противоположного, как и у любви; и не следование противоположному ведёт к истине, а только отрицание противоположного. Отрицания нет, если оно — результат надежды или попытки чего-то достичь. Отрицание есть только тогда, когда нет ни награды, ни обмена. Отказ, отречение есть лишь тогда, когда в акте отказа нет выигрыша, нет приобретения. Отрицание ложного — это свобода от положительного, положительного с его противоположностью. Положительное — это авторитет, с его принятием, подчинением, стремлением соответствовать, подражанием, и опыт с его знанием.

Отрицать — значит остаться одному; одному, свободным от всякого влияния, традиции и потребности с их зависимостью и привязанностью. Быть одному означает отвергать обусловленность, подоснову. Рамки, в которых сознание существует и имеет своё бытие, — это его обусловленность; осознавать без выбора эту обусловленность и полностью отвергать её — это и значит быть одному. Это не изоляция, не одиночество, не самоизолирующая деятельность. Это и не уход от жизни; наоборот, это полная свобода от конфликта, от скорби, от страха и смерти. Это перемена сознания, полная трансформация того, что было. Это пустота — не позитивное состояние бытия и не состояние небытия. Это пустота; в этом огне пустоты ум делается молодым, свежим, невинным. Только чистота, невинность, способна воспринимать вневременное, новое, которое постоянно разрушает себя. Разрушение — это творчество. Без

любви разрушения не бывает.

За пределами огромного, расползающегося города были поля, леса и холмы.

Есть ли будущее? Есть завтра, уже спланированное, определённые вещи, которые должны быть сделаны; есть также и следующий после завтра день, со всем, что должно быть сделано, есть и следующая неделя, и следующий год. Их нельзя отменить; возможно, модифицированные, даже совсем изменённые, но многие завтра существуют, это невозможно отрицать. Есть пространство: отсюда до этого места, близко и далеко; расстояние в километрах; пространство между объектами; расстояние, которое мысль покрывает мгновенно; другой берег реки и далёкая луна. Время, чтобы пересечь пространство, расстояние, и время, чтобы пересечь реку; отсюда до того места — время необходимо, чтобы покрыть это пространство, это может занять минуту, день или год. Это время по солнцу или по часам, время как путь к тому, чтобы что-то наступило. Всё это достаточно просто и ясно. Но есть ли будущее помимо этого механического, хронологического времени? Есть ли достижение, есть ли цель, для которых время необходимо?

Голуби на крыше появились рано-рано утром; они ворковали, чистились, гонялись друг за другом. Солнце ещё не взошло, и редкие туманные облачка были рассеяны по всему небу; они ещё были бесцветны, ещё не слышно было рёва уличного движения. До появления обычных шумов было ещё много времени, а за всеми этими стенами раскинулись сады. Вчера вечером трава там, где не разрешается ходить никому, кроме, разумеется, голубей и немногочисленных воробьёв, была очень зелёной — поразительно зелёной, — и цветы были очень яркими. Во всех прочих местах находился человек со своей деятельностью и нескончаемой работой. Стояла башня, так прочно и изящно построенная, — вскоре она будет затоплена сияющим светом. Трава казалась обречённой, и цветам предстояло увянуть — ведь осень была повсюду. Но задолго до того, как на крыше появились голуби, на террасе радостью стала медитация. У этого экстаза не было причины — если у радости есть причина, это уже не радость; радость просто была, и мысль не могла завладеть ею и превратить её в воспоминание. Радость была слишком сильна и активна, чтобы мысль могла играть ею, и мысль и чувство стали совсем спокойными и безмолвными. Она шла волна за волной — живое нечто, которое ничто не могло вместить, удержать, и с этой радостью пришло благословение. Всё это было абсолютно запредельно для всякой мысли и потребности. Существует ли достижение? Достигнуть — быть в скорби и в тени страха. Существует ли внутреннее достижение, достигаемая цель, результат, к которому следует прийти? Мысль назначает цель:

Бог, блаженство, успех, добродетель и так далее. Но мысль — всего лишь реакция, отклик памяти; и мысль порождает время, необходимое, чтобы преодолеть расстояние между тем, что есть, и тем, что должно быть. То, что должно быть, идеал, — это нечто словесное, теоретическое, реальности в нём нет. Наличное — фактически существующее — не имеет времени, у него нет цели, чтобы достигать, нет расстояния, чтобы его проходить. Факт существует, а всего остального нет. Факта же не существует без смерти идеала и достижения, цели; идеал, цель — это бегство от факта. Факт не имеет ни времени, ни пространства. И существует ли в таком случае смерть? Существует увядание; механизм физического организма деградирует, изнашивается — это и есть смерть. Но это неизбежно, как неизбежно изнашивается грифель этого карандаша. Это ли вызывает страх? Или же смерть мира, в котором мы чем-то становимся, что-то приобретаем, чего-то достигаем? Этот мир не имеет ценности; это мир воображения, мир бегства. Факт — то есть то, что есть, — и то, что должно быть, — две совершенно разные вещи. То, что должно быть, подразумевает и влечёт за собой время и расстояние, скорбь и страх. Смерть всего этого оставляет только факт — то, что есть. Для того, что есть, нет будущего; мысль, которая порождает время, воздействовать на факт не может;

мысль не может изменить факт, она может только бежать от него, а когда всякое стремление бежать умирает, факт претерпевает громадную трансформацию. Но нужна смерть мысли, которая и есть время. И когда время как мысль отсутствует — есть ли тогда факт, то, что есть? Когда время как мысль разрушено, нет движения ни в каком направлении, нет пространства, которое нужно покрыть, есть только безмолвие пустоты. Это — полное уничтожение времени в форме вчера, сегодня и завтра, в форме памяти непрерывной преемственности и становления.

Тогда бытие вневременно, лишь действительное, наличное настоящее, но это настоящее не принадлежит времени. Это внимание без границ мысли и барьеров чувства. Слова употребляются для коммуникации, общения: сам и по себе слова, символы, вообще не имеют смысла и значения. Жизнь — всегда действительное, наличное настоящее, время же всегда принадлежит прошлому, равно как и будущему. Смерть времени означает жизнь в настоящем. Именно эта жизнь бессмертна, а не жизнь в сознании. Время — это мысль в сознании, а сознание ограничено своими рамками и своей структурой. В структуре, образуемой мыслью и чувством, всегда присутствуют страх и скорбь. Конец скорби — это конец времени.

Был очень жаркий день, и в этом жарком холле при большом стечении народа можно было задохнуться (*Во время вчерашней, седьмой беседы; она была посвящена, в основном, смерти. В начале её он предложил аудитории воздерживаться от ведения записей*). Но несмотря на всё это и усталость, проснулся в середине ночи — и в комнате было иное. Его интенсивность была огромна, и оно не только наполняло комнату, выходя за её пределы, но и проникало глубоко внутрь мозга, внутрь ума, настолько глубоко, что казалось, будто оно проходит всю мысль, пространство, время и идёт дальше. Оно было невероятно сильным и имело такую энергию, что невозможно было оставаться в постели, и на террасе при свежем, прохладном ветре его интенсивность сохранялась. Это продолжалось почти час с огромной силой и напором; и всё утро оно было здесь. Это не фантазия, не желание, принимающее форму ощущения, возбуждения; не мысль выстроила его из событий прошлого, и никакое воображение не могло бы найти формулу, рецепт этого иного. Станным образом, каждый раз, когда это происходит, это что-то новое, неожиданное и внезапное. Мысль, попытавшись, осознаёт, что не может вспомнить, что было в других случаях, и не может разбудить память о том, что было сегодня утром. Оно — за пределами всякой мысли, желания, воображения. Оно слишком огромно, чтобы мысль и желание могли вызвать его; оно слишком беспредельно, чтобы мозг мог создать его. Оно — не иллюзия.

Странно здесь то, что обо всём этом даже не беспокоишься: если оно приходит, то оно есть, без приглашения; а если нет, остаёшься к этому как-то безразличен. С его красотой и силой нельзя играть; нельзя его призывать или от него отказываться. Оно приходит и уходит, когда ему угодно.

В это раннее утро, незадолго до восхода солнца, медитация, в которой всякое усилие давно прекратилось, стала безмолвием — безмолвием, в котором нет центра, а потому нет и периферии. Оно было просто безмолвием. У него не было ни качества, ни движения, ни глубины, ни высоты.

Оно было совершенно спокойно. Это тот покой, который обладает движением, расширяющимся бесконечно, и измерение его было не во времени и пространстве. Этот покой взрывался, всё время расширяясь. Но у него не было центра; если бы у него был центр, он не был бы покоем, он был бы застойным распадом; он не имел ничего общего с хитростями мозга. Характер того покоя, который может создать мозг, полностью отличается во всех отношениях от покоя, который был здесь этим утром. Это был покой, который ничто не могло нарушить, потому что в нём не было сопротивления; всё было в нём, и он превосходил всё. Утреннее движение грузовиков, доставляющих в город продукты и прочее, не нарушало этого покоя, как и лучи вращающегося прожектора с высокой башни. Он был здесь, без времени.

Когда солнце всходило, великолепное облако перехватило его, направляя вспышки голубого света поперёк неба. То была игра света со мраком — и игра эта продолжалась, пока фантастическое облако не скрылось за множеством дымовых труб. Как странно мелочен мозг, даже интеллектуально развитый, обученный. Он навсегда останется мелочным, что бы ни делал; он может добраться до луны и дальше или погрузиться в самые глубокие слои земли; он может изобретать, собирать самые сложные машины, компьютеры, которые будут изобретать компьютеры; он может разрушать и воссоздавать себя, но что бы он ни делал, он навсегда останется мелочным. Потому что он может функционировать лишь во времени и пространстве; его философские взгляды скованы его собственной обусловленностью, его теории, его спекуляции сотканы из его же хитростей. Он не может убежать от себя, что бы он ни делал. Его

боги и спасители, его учителя и лидеры так же малы и мелочны, как он сам. Если он глуп, он старается стать умным, а то, насколько он умен, оценивается с точки зрения успеха. И он всегда что-то преследует или что-то преследует его. Его тень — это его собственная скорбь. Что бы он ни делал, он всегда останется мелочным.

Его действие означает бездействие в занятии самим собой; его реформы всегда нуждаются в дальнейшей реформе. Он скован своим действием и своим бездействием. Он никогда не спит, а его сны — это пробуждение мысли. Будь он активный, будь он благородный или низменный, он — мелочен. Нет конца его мелочности. Он не может убежать от самого себя; его добродетель посредственна, и его мораль посредственна. Есть только одно, что он может делать, — быть полностью и совершенно тихим, спокойным. Этот покой — не сон или лень. Мозг чувствителен, и для того, чтобы оставаться чувствительным, без своих привычных самозащитных реакций и без своих обычных суждений, осуждения, одобрения, единственное, что мозг может сделать, это быть абсолютно спокойным — что означает состояние отрицания, полного отказа от себя и своей деятельности. В этом состоянии отрицания он уже не мелочен, он уже не накапливает, чтобы чего-то достичь, что-то осуществить, чем-то стать.

Тогда он то, что он есть: технический, механистичный, изобретательный, защищающий себя, рассчитывающий. Совершенная машина не бывает мелочной, и когда мозг функционирует на этом уровне, он — превосходная вещь. Подобно всем машинам, мозг изнашивается — и умирает. Мелочным он становится тогда, когда начинает исследовать неизвестное — то, что неизмеримо. Его назначение — в известном, мозг не может функционировать в неизвестном. Его творения — в поле известного, но творением непознаваемого ему никогда не овладеть, ни в краске, ни в слове; эта красота ему недоступна. Только когда он полностью спокоен, безмолвен без единого слова и неподвижен без жеста, без движения — тогда есть эта безмерность.

Вечерний свет отражался в реке, и движение на мосту было неистовым, стремительным. Тратуар был полон людей, возвращавшихся домой после дневной работы в конторах. Река поблёскивала, мелкие волны в полном восторге гонялись друг за другом. Вы почти могли их слышать, но ярость уличного движения была слишком велика. Дальше вниз по реке свет на воде менялся, становясь более глубоким, и вскоре должно было стемнеть. Луна по ту сторону огромной башни выглядела такой неуместной, такой искусственной; в ней не было реальности, но в высокой стальной башне реальность была; на башне были люди; ресторан наверху освещён — и можно было видеть толпы людей, входящих в него. И поскольку ночь была туманная, лучи вращающихся фонарей светили гораздо ярче, чем луна. Всё казалось таким далёким, кроме башни. Как мало мы знаем о себе! Похоже, мы знаем очень много о других вещах: расстояние до луны, атмосфера Венеры, как делать самые необыкновенные электронные мозги, расщеплять атом, мельчайшие частицы материи. Но о себе мы знаем очень мало. Путешествие на луну волнует гораздо больше, чем погружение в самих себя; может быть, человек ленив или боится, или погружение в самих себя неприбыльно в смысле денег и успеха. Это — путешествие, гораздо более дальнее, чем на луну; никакие машины не годятся для этого путешествия, никто не может помочь: ни книги, ни теории, ни руководитель. Вы должны совершить это путешествие сами. Вам нужно гораздо больше энергии, чем для изобретения и сборки огромной машины. Вы не можете получить эту энергию с помощью какого-нибудь лекарства или наркотика, каких-то отношений, контроля или отречения. Никакие боги, ритуалы, верования, молитвы не могут дать её вам. Наоборот, в самом акте отбрасывания всего этого, в осознании смысла этого энергия начинает проникать в сознание и за его пределы.

Вы не можете купить эту энергию накоплением знания о себе. Накопление в любой форме и привязанность к нему уменьшает и извращает эту энергию. Знание о себе связывает, отягощает, тянет вниз; тогда уже нет свободы движения, и вы действуете и движетесь в границах данного знания. Изучать себя — это не то же самое, что накапливать знание о себе. Изучение себя — это живое настоящее, а знание — это прошлое; если вы изучаете, чтобы накапливать, то это перестаёт быть познанием нового; знание статично, к нему можно добавить или отнять от него, а познание нового активно, к нему ничего нельзя добавить, от него ничего нельзя отнять, потому что в нём никогда нет накопления. Познание, изучение себя не имеет ни начала, ни конца, — тогда как знание имеет. Знание конечно, а изучение, познание — бесконечно.

Вы — накопленный результат многих тысяч веков существования человека, его надежд и желаний, его вины и тревог, его верований и богов, его достижений и разочарований; вы — всё это и ещё множество добавлений к этому, сделанных в новейшие времена. Изучение всего этого, глубоко внутри и на поверхности, — не просто словесные или интеллектуальные формулировки очевидного, не просто выводы. Изучение означает переживание этих фактов эмоционально и непосредственно; необходимо входить в контакт с ними нетеоретически, словесно, а фактически, как голодный человек.

Изучение невозможно, если существует учащийся; учащийся — это накопленное, прошлое, знание. Существует разделение между учащимся и тем, что он изучает, и потому между ними есть конфликт. Этот конфликт разрушает, уменьшает энергию, необходимую для изучения, прослеживания до конца всего состава и строения сознания. Выбор означает конфликт, выбор препятствует видению; осуждение и оценка также мешают видению. Когда факт увиден, понят не словесно, не теоретически, а действительно увиден как факт, тогда изучение идёт от момента к моменту. Тогда нет конца изучению, познанию; только изучение, познание важно, а не

неудачи, успехи или ошибки. Есть только видение — нет видящего и увиденного. Сознание ограничено; сама его природа есть ограничение; оно функционирует в рамках своего существования, то есть опыта, знания, памяти. Изучение такой обусловленности разрушает эти рамки, структуру; тогда мысль, чувство имеют свои ограниченные функции; и они тогда не могут вмещиваться в более широкие и более глубокие стороны жизни. Где заканчивается это с его тайными и явными происками, с его неудержимыми желаниями, с его потребностями, с его радостями и его печалью, там начинается движение жизни, которое за пределами времени и зависимости от него.

Там есть маленький мост через реку, только для людей, и на нём довольно спокойно. Река была полна света, и большая баржа, наполненная песком, привезённым с побережья, двигалась вверх по течению; это был мелкий, чистый песок. Куча песка была специально насыпана в парке, чтобы дети могли играть в песке. Там было несколько детей, они делали глубокие туннели и большой замок со рвом, получая огромное удовольствие.

День был приятный и достаточно прохладный, солнце не слишком жаркое, в воздухе ощущалась влажность; ещё больше деревьев стало коричневыми и жёлтыми, пахло осенью. Деревья готовились к зиме; многие ветви были уже голыми и чернели на фоне бледного неба; у каждого дерева свой оттенок разной интенсивности, от красно-коричневого до бледно-жёлтого. Даже в умирании они были прекрасны. Это был приятный вечер, полный света и мира, несмотря на рёв уличного движения.

На террасе есть цветы, и этим утром жёлтые были и ярче и живее, чем когда-либо; в раннем утреннем свете они выглядели более пробуждёнными, более яркими, чем их соседи. Восток начинал светлеть, и в комнате было иное; оно было здесь уже несколько часов. При пробуждении среди ночи оно было здесь как нечто совершенно объективное, что не могли произвести ни мысль, ни воображение. И опять тело при пробуждении было совершенно спокойно, без единого движения, так же как и мозг. Мозг был не сонным, а очень пробуждённым, наблюдающим, следящим без всякой интерпретации. Это была сила недостижимой чистоты, её энергия поражала. Она была здесь, всегда новая, всегда пронзительная. Была она не только снаружи, в комнате и на террасе, она была и внутри и снаружи, но без разделения. Это было нечто, чем были захвачены целиком ум и сердце; и ум и сердце перестали существовать.

Нет никакой добродетели, только смирение; где оно есть, там вся добродетель. Общественная мораль — не добродетель, она — просто приспособление к стереотипу, и этот стереотип варьирует и меняется соответственно времени и климату. Общество и организованная религия сделали её уважаемой, но она — не добродетель. Мораль, в том виде, в каком она признаётся и церковью и обществом, — это не добродетель; моральность строится, она подчиняется правилам, её можно изучать и практиковать, её можно внедрять с помощью награды и наказания, с помощью принуждения. Влияние формирует мораль, так же как и пропаганда. В структуре общества есть разные степени морали, разных оттенков. Но это не добродетель. Добродетель не зависит от времени и от влияния, её невозможно культивировать; она — не результат контроля и дисциплины, она вообще не результат, так как не имеет причины. Её нельзя сделать респектабельной. Добродетель не разделяется на благотворительность, милосердие, братскую любовь и так далее. Она — не продукт окружения, общественного богатства или бедности, влияния монастыря или какой-то догмы. Она не порождается изодранным мозгом, она — не производное мысли и эмоции; и она — не бунт против общественной морали с её респектабельностью; бунт — это реакция, а реакция есть модифицированное продолжение того, что было.

Смирение нельзя культивировать; и если его культивируют, это — гордость, облачившаяся в плащ смирения, которое стало респектабельным.

Тщеславие никогда не станет смирением, не более, чем любовь может стать ненавистью. Насилие не может стать ненасилием; насилие должно прекратиться. Смирение — не идеал, которому можно следовать; идеалы не обладают реальностью; лишь то, что есть, имеет реальность. Смирение — не противоположность гордости; у смирения нет никакой

противоположности. Все противоположности взаимосвязаны, а смирение не имеет связи с гордостью. Гордость должна закончиться — не от решения, или дисциплины, или ради какой-то выгоды; она прекращается только в пламени внимания — не в противоречии и смятении концентрации. Увидеть гордость внешне и внутренне, во множестве её форм, — значит покончить с ней. Видеть её — значит быть внимательным к каждому движению гордости; во внимании нет выбора. Внимание есть только в действительном, живом настоящем, его невозможно тренировать; если это делать, оно становится ещё одной хитроумной способностью мозга, а смирение не бывает продуктом такой способности. Внимание существует, когда мозг полностью спокоен, когда он живой и чувствительный, но спокойный. Тогда нет центра, из которого идёт внимание, — в то время как концентрация имеет центр, с его исключениями. Внимание, полное и мгновенное видение всего значения и смысла гордости, кладёт гордости конец. Это пробуждённое «состояние» и есть смирение. Внимание — добродетель, так как в нём расцветает доброта и милосердие. Без смирения нет добродетели.

Было и жарко, и довольно душно, даже в садах; столь долгая жара была необычна. Хороший дождь и прохладная погода будут приятны. Траву в садах поливали, и она, несмотря на жару и отсутствие дождя, была и яркой, и блестящей, а цветы были ослепительны; некоторые деревья стояли в цвету — не во время, ведь скоро здесь будет зима. Голуби бродили повсюду, пугливо избегая встречи с детьми; некоторые дети гонялись за ними для забавы — и голуби это знали. Солнце было красным в душном, тяжёлом небе; не было никаких красок, за исключением цветов и травы. Река была мутной и вялой.

Медитация в этот час была свободой, и она была подобна входу в неизвестный мир красоты и покоя; это мир без образа, символа или слова, без волн памяти. Любовь была смертью каждую минуту, и каждая смерть была обновлением любви. Она не была привязанностью, у неё не было корней; она расцвела без причины — это было пламя, которое сожгло все границы, все тщательно выстроенные загородки сознания. Это была красота за пределами и мысли и чувства; она не создавалась на холсте, в словах или в мраморе. Медитация была радостью, и с ней пришло благословение.

Это очень странно, как каждый человек жаждет власти, — власти денег, положения, способности, знания. В достижении власти присутствует конфликт, смятение, скорбь. Её ищут, к ней стремятся отшельник и политик, домашняя хозяйка и учёный. Они будут убивать и уничтожать друг друга, чтобы получить её. Аскеты достигают этой власти самоотречением, контролем, подавлением; политик добывает власть словом, способностью, хитроумием; тот, кто господствует над своей женой или мужем, чувствует эту власть; священник, который принял, взял на себя обязанности своего бога, знает эту власть. Каждый к этой власти стремится или хочет быть связанным с властью, божественной или мирской. Власть порождает авторитет, и с ним приходят конфликт, смятение и скорбь. Авторитет развращает того, кто имеет его, тех, кто близок к нему или к нему стремится. Власть священника, домашней хозяйки, лидера и эффективного организатора, святого или местного политика есть зло; чем больше власть, тем больше зло. Это болезнь, поражающая каждого человека, — болезнь, которую он холит и лелеет. С ней всегда приходит бесконечный конфликт, смятение, скорбь. Но никто не готов отказаться от неё, отбросить её в сторону.

С ней идут честолюбие и успех и безжалостность, которые сделаны респектабельными, а потому приемлемыми. Каждое общество, каждый храм и каждая церковь даёт своё благословение ей, и потому любовь извращается, уничтожается. И зависть становится почитаемой, а конкуренция оказывается моральной. Со всем этим приходит страх, война и скорбь, но всё-таки ни один человек от этого не откажется. Отвергнуть власть в любой форме — это начало добродетели; добродетель — это ясность, она упраздняет конфликт и скорбь. Эта разлагающая энергия с её бесконечными хитроумными делами всегда приносит своё неизбежное зло и несчастье; и этому нет конца; сколько бы её ни преобразовывали, ни ограничивали законом или моральными установлениями, она найдёт себе выход тайно и непредвиденно. Ибо она здесь, скрытая в тайных углах мыслей и желаний человека. Именно их нужно рассмотреть и понять, чтобы не было конфликта, смятения и скорби. Каждый человек должен это сделать, не через другого, не с помощью какой-то системы наград и наказаний. Каждый должен осознать своё собственное устройство, свою структуру. Видеть то, что есть, означает окончание того, что есть.

С полным окончанием этой власти, с её смятением, конфликтом и скорбью, каждый видит, что он собой представляет, — пучок воспоминаний и всё углубляющееся одиночество. Желание

власти и успеха есть бегство от этого одиночества и от того праха, того пепла, каковыми являются воспоминания. Чтобы выйти за пределы, человек должен видеть это, встретить это лицом к лицу, и ни в коем случае не убегать от этого, осуждая или боясь того, что есть. Страх возникает только в самом акте бегства от факта, от того, что есть. Необходимо целиком и полностью, добровольно и легко отбросить власть и успех, и тогда в наблюдении, в видении, в пассивном осознании без выбора этот пепел и одиночество приобретают совершенно другой смысл. Жить с чем-то — значит это любить и не быть привязанным. Чтобы жить с пеплом одиночества, нужна огромная энергия, и эта энергия приходит, когда нет страха.

Когда вы пройдёте через это одиночество — как прошли бы через физическую дверь, — вы осознаете, что вы и одиночество едины, что вы — не наблюдающий, следящий за этим чувством, которое находится за пределами слова. Вы — оно. Вы не можете уйти от него, как это делали раньше, пользуясь множеством тонких способов. Вы и есть это одиночество; и нет никакого способа избежать его, и ничто не может скрыть его или заполнить. Только тогда вы живёте с ним; оно — часть вас, оно — одно целое с вами. И никакое отчаяние или надежда не могут изгнать его, равно как и никакой цинизм или интеллектуальные ухищрения. Вы есть это одиночество, — пепел, который когда-то был огнём. Это — полное одиночество, неизлечимое и недоступное никакому воздействию. Мозг не может больше изобретать пути и способы бегства; мозг — создатель этого одиночества, он создаёт его своей беспрестанной деятельностью по самоизоляции, защите и агрессии. Когда мозг осознаёт это — негативно, и без всякого выбора, — тогда он готов умереть, быть абсолютно безмолвным.

Из этого одиночества, из этого пепла рождается новое движение. Это движение уединённости. Это то состояние, когда все влияния, всякое принуждение и все виды поиска и достижения естественно и полностью прекратились. Это — смерть известного. Только тогда совершается не имеющее конца путешествие в непознаваемое. Тогда есть мощь, чья чистота есть творчество.

(В этот день он провёл свою последнюю беседу в Париже).

Там был красиво содержавшийся газон, не очень большой и невероятно зелёный; он находился за железной оградой, хорошо увлажнённый и тщательно ухоженный, выровненный, ослепительно живой и сверкающий в своей красоте. Ему было, должно быть, уже много сотен лет; даже кресла не стояло на нём, уединённом и охраняемом высокой и узкой оградой. В конце газона рос единственный розовый куст с единственной красной розой в полном цвету. Это было чудо — мягкий газон и единственная роза; они были далеки от всего мира шума, хаоса и страдания; хотя и помещённые сюда человеком, они были самыми прекрасными вещами, далеко превосходящими музеи, башни и грациозную линию мостов. Они были великолепны в своём великолепном уединении. Они были тем, чем были: травой и цветком, и ничем больше. Были в них великая красота и спокойствие, и достоинство чистоты. Был жаркий день, без ветра, и запах выхлопных газов такого множества автомобилей стоял в воздухе, но у травы был свой запах, и почти можно было ощутить аромат одинокой розы.

Когда проснулся так рано, с полной луной, глядящей в комнату, качество мозга, рассудка, было совсем другим. Мозг, рассудок, не спал и не отяжелел от сна, он был полностью пробуждённым, бдительным, но он наблюдал не себя, а что-то за пределами самого себя. Он осознавал, он сознавал себя как часть всего движения ума. Рассудок функционирует во фрагментах — рассудок функционирует в части, в разделении. Он классифицирует. Он никогда не бывает целым; он пытается охватить целое, но понять его он не может. По самой своей природе мысль неполна, как и чувство; мысль — отклик памяти — может функционировать только в вещах известных или интерпретировать, исходя из того, что она знает, из знания. Рассудок — это продукт специализации; он не может выйти за пределы себя. Он разделяет и специализируется: учёный, художник, священник, адвокат, техник, фермер. Функционируя, он проектирует собственный статус, привилегии, власть, престиж. Функционирование и статус идут вместе, так как рассудок — это самозащищающийся организм. С требования статуса начинаются противостоящие и противоречивые элементы в обществе. Специалист не может видеть целого.

Медитация — это цветение понимания. Понимание не заключено внутри границ времени; время никогда не приносит понимания. Понимание — не постепенный процесс, его нельзя собирать по-немногу, с заботой и терпением. Понимание есть сейчас или никогда; понимание — разрушающая вспышка, а не что-то ручное; оно — то потрясение, которого человек боится и потому избегает — сознательно или бессознательно. Понимание может изменить ход человеческой жизни, образ мыслей и действия; оно может быть приятным или же неприятным, но понимание — опасность для любых отношений. Но без понимания скорбь будет продолжаться. Скорбь завершается только через самопознание, осознание каждой мысли и чувства, каждого движения того, что сознаётся, и того, что скрыто. Медитация — понимание сознания, скрытого и явного, и движения, происходящего за пределами всех мыслей и чувств.

Специалист не может воспринять целое; его небо — то, в чём он специализируется, но небо его — ничтожный продукт мозга, небо религии или небо техника. Способность, дарование, несомненно вредны, ибо усиливают эгоцентризм; они фрагментарны и тем самым порождают конфликт. Способность имеет значение только при полном, целостном восприятии жизни, которое в поле ума, а не рассудка. Способность и её функционирование ограничены мозгом, рассудком, и потому она становится безжалостной, безразличной к целостному процессу жизни. Способность порождает гордость и зависть, реализация же её становится единственно важной и поэтому приносит смятение, вражду и скорбь; она имеет свой смысл лишь в целостном осознании жизни. Жизнь идёт не просто на каком-то фрагментарном уровне: хлеб, секс, благополучие, честолубие; жизнь не фрагментарна, а когда её делают такой, она полностью превращается в поле отчаяния и бесконечного несчастья. Рассудок функционирует в специализации фрагмента, в самоизолирующей деятельности и в пределах ограниченного поля времени. Он не способен видеть жизнь в целом; рассудок — это часть, каким бы образованным он ни был; рассудок — не целое. Только ум видит целое — и рассудок пребывает внутри поля ума; рассудок не может содержать в себе ум, что бы он ни делал.

Для того, чтобы видеть целое, рассудок должен быть в состоянии отрицания. Отрицание не является противоположностью утверждения; все противоположности взаимосвязаны. Отрицание не имеет противоположного. Для полного видения рассудок должен быть в состоянии отрицания; он не должен вмешиваться со своими оценками и оправданиями, со своим осуждением и защитой. Он должен быть безмолвным — не сделан безмолвным путём какого-то принуждения, потому что тогда это мёртвый рассудок, только подражающий и соответствующий. Когда рассудок в состоянии отрицания — он безмолвен без выбора. Только тогда есть полное видение. В этом полном видении, которое является свойством ума, нет видящего, нет наблюдающего, нет переживающего есть только видение. Ум тогда полностью пробуждён. В этом полностью пробуждённом состоянии нет наблюдающего и наблюдаемого, есть только свет и ясность. Противоречие и конфликт между мыслящим и мыслью прекращаются.

(Он был теперь в Риме, прилетев 25 сентября)

Пройдя по тротуару с видом на самую большую базилику, затем вниз по знаменитым ступеням к фонтану и изобилию срезанных цветов самых различных оттенков, мы перешли многолюдную площадь и прошли по узкой и спокойной улице [*via Marzutta*], с односторонним, не слишком оживлённым движением; здесь, на этой скудно освещённой улице с редкими второразрядными магазинами, внезапно, совершенно неожиданно пришло иное, с такой интенсивной нежностью и красотой, что тело и мозг стали неподвижными. В течение нескольких дней до этого оно не давало почувствовать своё безмерное присутствие, оно ощущалось смутно, на расстоянии, намёком, но здесь беспредельное стало проявляться резко и с терпеливым ожиданием. Мысль и речь ушли, остались только особенная радость и ясность. Оно сопровождало нас по длинной узкой улице, пока нас всех не поглотил рёв уличного движения и переполненный людьми тротуар. Это было благословение, которое превосходило все образы и мысли.

В странные и неожиданные моменты приходило иное, внезапно и неожиданно, и шло своим путём, без приглашения и без надобности. Все нужды и потребности должны полностью прекратиться, чтобы оно было.

Медитация, в очень тихие часы раннего утра, без единого автомобиля, тархтящего мимо, была расцветом красоты. Она не была мыслью, исследующей нечто, со своей ограниченной способностью, или обострением чувства; она не была какой-то внешней или внутренней сущностью, выразившей себя; медитация не была движением времени, так как мозг находился в покое. Она была полным отрицанием всего известного, не реакцией, а отрицанием, не имеющей причины; она была движением в полной свободе, движением, не имеющим направления и измерения; в этом движении была безграничная энергия, чьей сущностью было безмолвие. Его действием было полное недеяние, и сущность этого недеяния — свобода. Было огромное блаженство, огромный экстаз, гибнущий от прикосновения мысли.

Солнце садилось за римскими холмами в огромные цветные облака; они сияли, расплёскиваясь по всему небу, и вся земля сделалась восхитительной, даже телеграфные столбы и бесконечные ряды зданий. Быстро темнело, и автомобиль ехал быстро (*на пути в Чирчео, вблизи моря, между Римом и Неаполем*). Холмы постепенно исчезли, местность стала ровной. Смотреть с мыслью и смотреть без мысли совершенно разные вещи. Если смотреть на эти деревья у дороги и на те строения на той стороне высохших полей с мыслью, то тогда ум остаётся привязанным к своим якорям времени, опыта, памяти, и механизм мысли работает бесконечно, без отдыха, без свежего импульса; мозг делается вялым, бесчувственным, неспособным к обновлению. Он вечно откликается на вызов, и его отклик неадекватен и не нов. Если смотреть с мыслью, мозг остаётся в колее привычки и узнавания; он становится усталым и медлительным; он живёт в тесных границах, которые создал сам. Он никогда не свободен. Свобода есть только тогда, когда мысль не смотрит; смотреть без мысли не значит бессмысленно наблюдать, рассеянно отвлекаясь и не имея внимания. Когда мысль не смотрит, есть только наблюдение, без механического процесса опознания и сравнения, оправдания и осуждения; такое видение не утомляет мозг, потому что все механические процессы времени прекратились. Полный отдых делает мозг свежим, способным откликаться без реакции, жить без деградации, умирать без мучительных проблем. Смотреть без мысли — это видеть без вмешательства времени, знания и конфликта. Эта свобода видеть — не реакция; все реакции имеют причины; смотреть без реакции не означает безразличия, отстранённости или хладнокровного ухода. Видение без механизма мысли есть полное видение, без пристрастия и деления; это не означает, что деления и несходства не существует. Дерево не становится домом или дом деревом. Видение без мысли не погружает мозг в сон, — наоборот, мозг полностью пробуждён, мозг внимателен, в нём нет трения, нет боли. Внимание без барьеров времени — это расцвет медитации.

Облака были изумительны, они были по всему горизонту, кроме его западной стороны, где небо было ясное. Некоторые из облаков были чёрные, тяжёлые, с громом, дождём, другие чисто белые, они полны света, сияния. Всевозможных форм и размеров, нежные, грозные, клубящиеся, облака громоздились друг на друга со страшной силой и красотой. Облака казались неподвижными, но внутри них происходило сильное движение, ничто не могло остановить их потрясающей мощи. Лёгкий ветер дул с запада и гнал эти огромные, гороподобные облака в сторону холмов; холмы придавали форму облакам и двигались с этими облаками тьмы и света. Холмы с разбросанными на них деревьями ожидали дождей, которые так долго медлили; вскоре они снова зазеленеют, а деревья скоро потеряют свою листву с приходом зимы. Дорога была прямая, с красивыми деревьями по сторонам; автомобиль двигался на большой скорости, и даже на поворотах; автомобиль для того и создан, чтобы следовать своим путём, двигаясь быстро, и в то утро (по пути из Чирчео, где он провёл три ночи в отеле «Ла Байя дардженто», назад в Рим) он делал это очень хорошо. Автомобиль этот был создан для скорости: низкий, прижимающийся к дороге. Мы очень быстро покидали сельскую местность и въезжали в город [Рим], но те же облака были и здесь, огромные, грозные, подстерегающие.

Посреди ночи [в Чирчео], когда было совсем тихо, если не считать случайного крика совы, зов которой остался без ответа, в маленьком домике посреди деревьев (один из небольших коттеджей, принадлежащих отелю в Чирчео и расположенных в парке) медитация была чистым блаженством без трепета мысли с её бесконечными хитростями; медитация была движением без конца и цели, всякое движение мозга, глядящего из пустоты, затихло. Это была пустота, которая не знала знания; это была пустота, которая не знала пространства; она была пуста и не содержала времени. Она была пуста, превыше всякого видения, знания, бытия. В этой пустоте было неистовство, неистовство бури, и неистовство взрывающейся вселенной, и неистовство творения, которое никогда не смогло бы иметь никакого выражения. То было неистовство всей жизни, смерти, любви. Но несмотря на это она была пуста — огромная, безграничная пустота, пустота, которую ничто не могло наполнить, преобразовать или прикрыть. Медитация была экстазом этой пустоты.

Тонкие взаимоотношения ума, мозга, тела — сложная игра жизни. Это несчастье, когда одно преобладает над другим, и ум не может доминировать над мозгом или физическим организмом; если между этими двумя существует гармония, тогда ум может согласиться остаться с ними; он не является игрушкой ни одного из этих начал. Целое может содержать в себе часть, но малое, или часть, никогда не может выразить целое. Невероятно сложно для обоих начал жить вместе в полной гармонии, без того чтобы то или другое принуждало, решало, господствовало. Интеллект может разрушить и разрушает тело, а тело с его тупостью, бесчувственностью, может извратить, привести к деградации интеллект. Невнимание к телу, с его распущенностью и требовательными вкусами, с его аппетитами, может сделать тело тяжёлым, бесчувственным и тем самым сделать вялой и мысль. Мысль, становящаяся всё более утончённой, более хитрой, может пренебречь и пренебрегает потребностями тела, которое тогда начинает извращать мысль. Жирное, грубое тело вмещивается в хитросплетения мысли, а мысль, спасаясь от конфликта и проблем, ею же самой и порождённых, делает тело извращённым. Тело и мозг должны быть чуткими, восприимчивыми и находиться в гармонии с невероятной тонкостью ума, всегда взрывного и разрушительного. Ум — не игрушка для мозга, чьи функции механичны.

Когда абсолютная необходимость полной гармонии мозга и тела увидена, мозг будет следить за телом, не господствуя над ним, но само такое наблюдение и обостряет мозг, и делает

тело чувствительным. Видение — это факт, и с фактом невозможно торговаться; его можно отодвигать в сторону, отрицать или избегать, но он всё равно остаётся фактом. Существенно и необходимо понимание факта, не его оценка. Когда факт увиден, мозг становится бдителен к привычкам как к факторам деградации тела. Тогда мысль уже не навязывает телу дисциплину и не контролирует тело, поскольку и дисциплина и контроль ведут к бесчувственности, а любая форма бесчувственности есть деградация, увядание.

Опять при пробуждении, когда ещё не было автомобилей, с рёвом взбирающихся на холм (*он жил в Риме на виа дэ коли дела Фурнэзина; это была новая дорога с весьма слабым движением, а на другой стороне дороги находился небольшой лес*), и запах близлежащей роции наполнял воздух, а дождь стучал в окно, это иное снова наполнило комнату; оно было интенсивным, и было в нём ощущение неистовости; и это была неистовость бури, полноводной ревущей реки — неистовость невинности. Оно было здесь, в комнате, в таком изобилии, что любой вид медитации приходил к концу, и мозг смотрел, чувствовал из этой своей пустоты. Это продолжалось значительное время, несмотря на неистовую интенсивность этого или благодаря ей. Мозг оставался пустым — полным этим иным. Это иное разрушало всё, что человек думал, всё, что человек чувствовал и видел; это была пустота, в которой ничто не существовало. Это было полное разрушение.

Поезд [во Флоренцию] шёл очень быстро, более 90 миль в час; города на холмах были знакомыми, и озеро [Тразимэнское] казалось другим. Это была знакомая местность — оливы, кипарисы, дорога, следующая железнодорожному пути. Шёл дождь, и земля радовалась ему, ибо месяцы прошли без дождя, и теперь появились новые побеги зелени, и реки текли мутные, быстрые и полноводные.

Поезд шёл долинами, свистя на переездах; когда поезд замедлил ход, работавшие на шоссе люди остановились и помахали нам. Было приятное, прохладное утро, и осень окрашивала множество листьев в коричневое и жёлтое; шла вспашка под озимый сев, и холмы казались такими дружелюбными, не слишком высокие, мягкие и древние. Поезд опять пошёл очень быстро, и машинисты электровоза поздоровались с нами и пригласили в свою кабину, мы встречались уже несколько раз в предыдущие годы; перед отправлением поезда они просили зайти навестить их; они были также дружелюбны, как реки и холмы. Местность из их окна была хорошо видна, и холмы с их городами и рекой, вдоль которой мы ехали, казалось, ждали знакомого грохота их поезда. Солнце слегка касалось холмов, и лицо земли было улыбчивым. По мере того как мы мчались на север, небо становилось всё яснее; кипарисы с оливами на фоне голубого неба были изящны в своём великолепии. Земля, как всегда, была прекрасна.

Была глубокая ночь, когда медитация заполнила пространство в мозгу и вне его. Медитация не конфликт, это не война между тем, что есть, и тем, что должно бы быть; не было контроля, а потому не было и рассеяния внимания. Не было противоречия между мыслящим и мыслью, так как не было их обоих. Было только видение без наблюдающего; то видение пришло из пустоты, эта же пустота не имела причины. Все причины порождают бездействие, и само это бездействие называется действием.

Как удивительна любовь, и какой уважаемой стала любовь — любовь к Богу, любовь к ближнему, любовь к семье. Как аккуратно она разделена: мирское и священное, долг и ответственность, повинование и готовность умереть и распределять или раздавать смерть другим. О ней говорят священники, и то же самое делают генералы, планируя войны; и политики и домашние хозяйки вечно сетуют о ней. Ревность и зависть питают любовь, и отношения заключены в тюрьму любви. Она на экране, в журнале, все радио и телевизоры трубят о ней. Когда смерть уносит любовь, есть фото в рамке, или есть образ, который продолжает вызывать память или прочно удерживаться в вере. Поколение за поколением воспитывалось на этом, и скорби нет конца.

Продолжение любви — это удовольствие, и с ним всегда приходит боль, — но мы пытаемся избежать одного и цепляемся за другое. Это продолжение означает стабильность и безопасность в отношениях, а в отношениях не должно быть перемены, потому что отношение — привычка, в привычке же — безопасность и скорбь. За эту бесконечную механику удовольствия и боли мы держимся, и это мы называем любовью. Чтобы убежать от её скуки, есть религия и романтика. Слово изменяется и становится разным для каждого, а романтизм предлагает прекрасное убежище от факта удовольствия и скорби. И конечно, последнее убежище и надежда — это Бог, который стал таким необычайно уважаемым и выгодным.

Но всё это не любовь. У любви нет продолжения; её не перенести в завтра; у неё нет будущего. Что имеет его — память, а память — пепел всего мёртвого, похороненного. У любви нет завтра; её не уловить временем, не сделать уважаемой. Она здесь, когда времени нет. У неё нет перспективы, надежды; надежда порождает отчаяние. Она не при надлежит никакому богу и потому никакой мысли и никакому чувству. Любовь не выдумана мозгом. Она живёт и

умирает каждую минуту. Это ужасная вещь, ибо любовь есть разрушение. Это разрушение без будущего. Любовь — разрушение.

Здесь в саду есть огромное высоченное дерево (*Падуб. Он остановился на вилле, иль Леччо, к северу от Флоренции, выше Фьезоле*), у него большой ствол, и ночью его сухие листья шумели на осеннем ветру; каждое дерево в саду было живым, шелестящим, и до зимы было всё ещё далеко; все они шептались, перекликались, и ветер не знал покоя. Но это дерево господствовало над садом; оно вздымалось выше четырёхэтажного дома, и река [*Муньён*] питала его. Она не из числа больших рек, стремительных и опасных; жизнь сделала её знаменитой, она вьётся по долинам и на некотором удалении впадает в море. Вода в ней есть всегда, и рыбаки свешиваются с мостов и вдоль её берегов. Ночью маленький водопад жалуется на что-то, шум его наполняет воздух; шелестящие листья, водопад и неугомонный ветер, кажется, всё время переговариваются друг с другом. Было прелестное утро с голубым небом и редкими облаками, рассеянными на нём, и два кипариса, в стороне от всех прочих, чётко выделялись на фоне неба.

И опять, далеко за полночь, когда ветер шумел среди деревьев, медитация стала неистовым взрывом, разрушающим всё, что создано мозгом. Мысль формирует каждый отклик и ограничивает действие. Действие, рождённое идеей, — это не-действие; такое не-действие порождает конфликт и скорбь. Именно в спокойный момент медитации была сила. Сила не образуется сплетением множества нитей воли; воля — это сопротивление, и действие воли порождает смятение и скорбь, и внутри и вовне. Сила — не противоположность слабости; все противоположности содержат в себе то, что им противостоит.

Начался дождь, и небо покрылось плотными облаками; до того как небо закрылось полностью, огромные облака заполнили горизонт, и видеть их было чудесно. Они были такие огромные и мирные; это был мир огромной мощи и силы. И тосканские холмы были так близко к ним, ожидая их неистовства. Оно пришло ночью, с потрясающим громом и с молнией, которая высветила каждый лист, трепещущий от ветра и жизни. Это была великолепная ночь, полная бури, жизни и беспредельности. Всю вторую половину дня приходило иное, в автомобиле и на улице. Оно было здесь и большую часть ночи и рано утром, задолго до рассвета, когда медитация прокладывала себе путь в неизвестные глубины и высоты; оно присутствовало с настойчивой неистовостью. Медитация подчинилась этому иному. Оно было здесь в комнате, с ветвями того громадного дерева в саду; оно было здесь с такой невероятной мощью и жизнью, что сами кости ощущали его; казалось, оно прорывалось насквозь и делало мозг и тело совершенно неподвижными. Всю ночь оно было мягким и умеренным, так что сон стал очень лёгким, но когда приблизился рассвет, оно стало сокрушительной, пронзительной силой. Тело и мозг, очень чуткие, живые, слышали шуршанье листьев и видели рассвет, проникающий сквозь тёмные ветви высокой и стройной сосны. В нём была огромная нежность и красота, которая вне и за пределами всякой мысли и эмоции. Оно было здесь, и с ним пришло благословение.

Сила — не противоположность слабости; все противоположности порождают новые противоположности. Сила — не акт воли, и воля означает действие в противоречии. Есть сила, у которой нет причины, которая не есть продукт множества решений. Это та сила, которая существует в отречении и отрицании; это та сила, которая выходит из полного одиночества. Это та сила, которая приходит, когда всякий конфликт и усилие полностью прекратились. Она есть, когда вся мысль и чувство пришли к концу и есть только видение. Она есть, когда честолюбие, жадность и зависть пришли к концу без всякого принуждения; они тают с пониманием. Эта сила присутствует тогда, когда любовь есть смерть, а смерть есть жизнь. Сущность этой силы — смирение.

Как силён новорождённый лист весной, такой уязвимый, столь легко разрушаемый. Уязвимость есть сущность добродетели. Добродетель никогда не бывает сильной; она не способна переносить блеск респектабельности и тщеславие интеллекта. Добродетель — не механическое продолжение в привычном способе действия какой-либо идеи или мысли. Сила добродетели в том, что она легко разрушается, — чтобы родиться снова и снова. Сила и добродетель идут рядом, поскольку не могут существовать друг без друга. Они могут выжить только в пустоте.

Весь день шёл дождь; дороги раскисли, и вода в реке помутнела, а шум маленького водопада стал сильнее. Это была тихая ночь, приглашение дождю, который не прекращался до раннего утра. И вдруг внезапно выглянуло солнце, и небо на западе стало голубым, омытым и очищенным дождём, с огромными облаками, полными света и сияния. Было прекрасное утро, и когда смотрел на запад, на такое ярко-голубое небо, все мысли и эмоции исчезли, и видение шло из пустоты.

Перед рассветом медитация была безмерным раскрытием в неизвестное. Ничто не может открыть эту дверь, кроме полного разрушения известного. Медитация — взрывное понимание. Нет понимания без самопознания; изучение себя не означает накопления знаний о себе; накопление знаний мешает изучению; изучение — не накопительный процесс; изучение идёт из момента в момент — как и понимание. Этот тотальный процесс изучения означает взрыв в медитации.

Рано утром небо было безоблачное; солнце всходило за холмами Тосканы, серыми, с оливковыми рощами и тёмными кипарисами. Теней на реке не было, и листья осины были спокойны. Щebetали немногие ещё не улетевшие на юг птицы, и река выглядела неподвижной; поднимающееся за рекой солнце отбросило длинные тени на спокойную воду (*маленького пруда, образованного ручьём в лесу*). Но лёгкий ветерок проходил над холмами и через долины, он веял среди листьев, заставляя их трепетать и плясать в утреннем солнце. Тени на мутной, поблёскивающей воде были и длинные, и короткие, и густые, и лёгкие; начала дымить одинокая труба, и серые клубы дыма стлались над деревьями. Это было приятное утро, полное красоты и очарования, и так много было теней, так много трепещущих листьев. В воздухе стоял аромат, и хотя солнце было осеннее, ощущалось дыхание весны. Маленький автомобиль взбирался на холм, производя ужасающий шум, однако тысячи теней оставались неподвижными. Это было прекрасное утро.

Вчера во второй половине дня это началось внезапно, — в комнате (*квартира во Флоренции, где он был в гостях*) с окнами на шумную улицу; сила и красота иного распространялась из комнаты наружу, над уличным движением, за сады, холмы. Оно было огромно, непостижимо; оно было и во второй половине дня, но как раз когда ложился спать, оно было здесь с яростной интенсивностью, благословение великой святости. Невозможно к нему привыкнуть, потому что оно — всегда разное, оно всегда есть что-то новое, новое качество, тонкий смысл, новый свет, что-то, чего не было прежде. Иное не было тем, что запасают, что запоминают и рассматривают на досуге; иное было здесь, и никакая мысль не могла приблизиться к нему, ибо мозг был безмолвен, и не было времени, чтобы переживать, чтобы запастись. Оно было здесь, и всякая мысль умолкла.

Интенсивная энергия жизни всегда здесь, и ночью и днём. Она лишена трения, лишена направления, в ней нет выбора и усилия. Она присутствует с такой интенсивностью, что мысль и чувство не могут овладеть ею, переделать её согласно своим фантазиям или верованиям, переживаниям или потребностям. Она присутствует в таком изобилии, что ничто не может уменьшить её. Но мы пытаемся использовать её, придать ей направление, заключить её в форму нашего существования — и тем самым исказить её, чтобы она соответствовала нашему шаблону, опыту и знанию. Честолюбие, зависть, жадность сужают эту энергию, и поэтому возникают конфликт и скорбь; жестокость честолюбивого устремления, как личного, так и коллективного, искажает её интенсивность, вызывая ненависть, антагонизм, конфликт. Каждое действие зависти извращает эту энергию, вызывая недовольство, несчастье, страх; со страхом приходят вина и тревога и нескончаемое несчастье сравнения и подражания. Именно эта извращённая энергия и создаёт священника и генерала, политика и вора. Эта безграничная энергия, лишённая полноты нашей жадной посянства, безопасности, — почва, на которой произрастают бесплодные идеи, соперничество, жестокость, война; это причина извечного конфликта между человеком и человеком.

Когда всё это отброшено в сторону, легко и без усилия, только тогда имеется та интенсивная энергия, которая может существовать и цвести лишь в свободе. Только в свободе эта энергия не вызывает конфликта и скорби, только тогда она растёт и ей нет конца. Это жизнь, у которой нет ни начала, ни конца; это творение, которое есть любовь и разрушение.

Энергия, используемая в одном направлении, ведёт к одному — к конфликту и скорби; энергия, являющаяся выражением полноты жизни, — это блаженство сверх всякой меры.

Небо в заходящем солнце было жёлтым, тёмные кипарисы и серые оливы поразительно красивыми, а вьющаяся внизу река — золотой. Это был прекрасный вечер, полный света и безмолвия. С этой высоты (*Сан Миньято аль Монте, на южном берегу Арно*) вы могли видеть город в долине, собор, красивую колокольню, реку, вьющуюся через город. Спускаясь вниз по склону и ступеням, чувствовал великую красоту вечера; людей было мало, а случайные неугомонные туристы прошли здесь раньше, непрерывно болтая, фотографируя и вряд ли что-нибудь видя. Воздух был напоён ароматом, и, по мере того как солнце садилось, безмолвие становилось интенсивным, богатым, бездонным и непостижимым. И только из этого безмолвия, возможно, в действительности, видение и слышание, и из него пришла медитация, хотя маленький автомобиль спускался извилистой дорогой шумно, с множеством толчков. Две римские сосны выделялись на фоне желтеющего неба, и хотя часто видел их и прежде, казалось, что не видел их никогда; мягкий, покаты́й холм был серебристо-серым от оливо́в, и повсюду виднелись тёмные одинокие кипарисы. Медитация была взрывом, не чем-то тщательно спланированным, придуманным и сконструированным с определённой целью. Медитация была взрывом; взрыв не оставлял никаких осколков прошлого. Она взорвала время; ему уже никогда больше не надо было останавливаться снова. В этом взрыве ничто не имело тени, а видеть без тени — значит видеть вне времени. Это был чудесный вечер, в нём было так много причудливости и простора. И шумный город с его огнями, и мягко бегущий поезд пребывали в том великом безмолвии, и его красота была повсюду.

Поезд, идущий на юг [*обратно в Рим*], был заполнен множеством туристов и бизнесменов, и они бесконечно курили, а когда подавали еду, много ели. Поезд шёл по красивым местам, всё было омыто дождём и излучало свежесть, на небе не было ни облачка. На холмах виднелись старинные города, обнесённые стенами, и всем памятное озеро было очень голубым, без всякой ряби; плодородные земли сменились бедными и засушливыми, и фермы выглядели здесь менее процветающими, цыплята более тощими, крупный рогатый скот отсутствовал, а овец было не много. Поезд шёл быстро, пытаюсь наверстать упущенное время. Это был изумительный день, и здесь, в дымном купе с пассажирами, которые едва ли смотрели в окно, присутствовало то самое иное. Всю эту ночь оно было здесь с такой интенсивностью, что мозг чувствовал его давление. Было такое впечатление, будто в самом центре всего существования оно действовало в своей чистоте и безмерности. Мозг наблюдал, как он наблюдал пейзажи, проносящиеся мимо, — и в самом этом действии он вышел за пределы своих ограничений. И всю ночь — в отдельные моменты — медитация была огнём взрыва.

Небо ясное, маленькая роща через дорогу была полна света и теней. Ранним утром, прежде, чем солнце показалось над холмами, когда на земле ещё лежали отблески утренней зари и ни один автомобиль ещё не взбирался на холм, медитация была неисчерпаемой. Мысль всегда ограничена, она не может пойти очень далеко, потому что она коренится в памяти, заходя же далеко, она превращается в мысль всего лишь умозрительную, основанную на теориях, догадках и воображении, лишённую достоверности. Мысль не может узнать, что есть и чего нет за пределами её временных границ; мысль связана временем. Мысль, высвобождающаяся, выпутывающаяся из сетей, которые сама создала, не есть целостное движение медитации. Мысль в конфликте с самой собой — не медитация; окончание мысли и начало нового — это медитация. Солнце рисовало узоры на стене, автомобили поднимались на холм, и вскоре рабочие в строящемся здании напротив засвистели и запели.

Мозг — это неустанный, поразительно чувствительный инструмент. Он постоянно воспринимает впечатления, интерпретирует, откладывает на будущее; он никогда не бывает в покое, бодрствует он или спит. Забота мозга — выживание, безопасность, унаследованные животные реакции; на этой основе построены его хитроумные ухищрения, и внешние и внутренние; его боги, его добродетели, его мораль — это его способы защиты; его честолюбивые устремления, желания, движения принуждения и подчинения, — всё это импульсы к выживанию и безопасности. Будучи высоко чувствительным, мозг с его механизмом мысли начинает культивировать время; вчера, сегодня, множество завтра — это создаёт возможность отсрочки и осуществления; отсрочка, идеал, осуществление — это продолжение самого себя. Но в этом всегда присутствует скорбь; отсюда бегство в веру и в догму, в действие и в разнообразные развлечения, включая религиозные ритуалы. Здесь всегда смерть и страх перед ней, и мысль ищет утешения и убежища в рациональных и иррациональных верованиях, надеждах, умозаключениях. Слова и теории становятся поразительно важными, если жить ими, строить всю структуру существования на тех чувствах, которые эти слова и выводы вызывают. Мозг и его мысль функционируют на очень поверхностном уровне, сколько бы мысли ни казалось, что она ушла глубоко. Потому что мысль, даже искушённая, умная, эрудированная, всегда поверхностна. Мозг и его деятельность — только фрагмент всей целостности жизни; и этот фрагмент приобрёл абсолютную важность как для самого себя, так и для своих отношений с другими фрагментами. Эта фрагментация и противоречия, ею порождаемые, — суть его существования; мозг не может понять целое, и когда пытается сформулировать жизнь в целом, может мыслить только в терминах противостояния и реакции, что порождает лишь конфликт, смятение и несчастье.

Мысль никогда не может понять или сформулировать жизнь в целом. Только когда мозг и его мысль полностью безмолвны, не спят и не одурманены дисциплиной, принуждением или гипнозом, только тогда есть осознание целого. Мозг, столь поразительно чувствительный, может быть безмолвным, безмолвным в своей чувствительности, широко-глубоко внимательным, но абсолютно спокойным. Только когда время и его отмеривание прекращаются, есть целое, непознаваемое.

В садах [*виллы Боргезэ*], прямо посреди шумного и зловонного города с его однообразными соснами, множеством деревьев, приобретающих жёлтую и бурую окраску, и запаха сырой земли, там, при прогулке, сопровождавшейся определённой серьёзностью, присутствовало осознание иного. Оно появилось с великой красотой и нежностью, не потому, что были мысли о нём, оно избегает всякой мысли, но оно было в таком изобилии, что вызывало изумление и великое восхищение. Серьёзность мысли так фрагментарна и незрела, но должна быть серьёзность, не являющаяся продуктом желания. Есть серьёзность, обладающая качеством света, сама природа которого в том, чтобы проникать, света, не имеющего тени; эта серьёзность бесконечно пластична и потому радостна. Она была здесь, и каждое дерево и лист, каждая травинка и цветок стали интенсивно живыми и прекрасными; краски интенсивны, небо безмерно. Земля, влажная и усеянная листьями, была жизнью.

Утреннее солнце освещает небольшой лес по ту сторону дороги; утро спокойное, мирное и мягкое, и солнце не слишком жаркое, а воздух свеж и прохладен. Каждое дерево такое очаровательно живое, и в нём так много красок, и вокруг такое изобилие теней; все они призывают и ждут вас. И задолго до восхода солнца, когда было тихо и ни один автомобиль ещё не взбирался на холм, медитация была движением в благословении. Это движение текло и впадало в иное — потому что оно было здесь, в комнате, наполняя и переполняя её, снаружи и дальше, без конца. В нём была глубина, такая бездонная, такая безмерная, и был мир. Этот мир никогда не знал конфликта — он не был загрязнён мыслью и временем. Это не был мир окончательного завершения, это было что-то грозное и опасно живое. И он был беззащитен. Любая форма сопротивления есть насилие, так же как и любая форма уступки. Это был не тот мир, который порождается конфликтом, он был вне всякого конфликта и его противостояний. Он не был плодом удовлетворения и недовольства, содержащих семена порчи и деградации.

16 октября

Перед рассветом, когда не было шума и город ещё спал, проснувшийся мозг стал спокоен, ибо появилось иное. Оно вошло очень спокойно и с неторопливой осторожностью, ведь в глазах всё ещё был сон, но это было великое блаженство, блаженство великой простоты и чистоты.

На самолёте (*перелёт в Бомбей, куда он прибыл двадцатого. Записи за девятнадцатое нет*). Был гром и великий потоп дождя; был разбужен дождём в середине ночи [*в Риме*], он стучал в окно и среди деревьев по ту сторону дороги. День был жаркий, и воздух теперь стал приятно прохладным; город спал, и буря прошла. Дороги намокли, движения так рано утром почти не было; небо всё ещё было закрыто густыми облаками, и рассвет вставал над землёй. Церковь [*Сан Джованни ин Латэрано*] с её золотой мозаикой была освещена искусственным светом. До аэропорта было далеко (*Чампино; аэропорт Фьюмичино еще не был построен*), и мощный автомобиль работал прекрасно; он пытался состязаться с облаками. Он обгонял редкие автомобили, которые попадались на дороге; он прижимался к шоссе, проходя каждый поворот на высокой скорости. Он слишком долго пробыл в городе и теперь оказался на открытом шоссе. И аэропорт появился слишком быстро. Запах моря и влажной земли наполнял воздух, свежевспаханные поля чернели, и зелень деревьев была необычайно яркой, хотя осень и коснулась некоторых листьев; ветер дул с запада, и солнца в течение всего этого дня не предвиделось. Каждый лист был отмыт дочиста, и на земле царили мир и красота.

В середине ночи, когда уже всё стихло после грома и молнии, мозг был абсолютно спокоен, и медитация явилась раскрытием в неизмеримую пустоту. Сама чувствительность мозга делала его безмолвным; он был спокоен без всякой причины; действие спокойствия, имеющего причину, есть распад, разрушение. Он был так спокоен, что ограниченное пространство комнаты исчезло и время остановилось. Было только пробуждённое внимание с центром, который был внимателен; это было внимание, в котором источник мысли иссяк, без всякого насилия, естественно, легко. Он мог слышать дождь и движение в соседней комнате; он слушал без всякой интерпретации и наблюдал без знания. И тело было неподвижно. Медитация уступила иному; оно было потрясающей чистоты. Его чистота не оставила ничего; она была здесь — вот и всё, и ничто больше не существовало. И поскольку не было ничего, была она. Это была чистота всей сущности. Этот мир, это спокойствие, есть огромное, безграничное пространство, это мир неизмеримой пустоты.

На море, далеко внизу, почти в сорока тысячах футов, казалось, не было ни одной волны — такое спокойное, такое огромное, совершенно неподвижное; пустыня, обожжённые красные холмы без деревьев, прекрасные и безжалостные; опять море и отдалённые огни города, куда направлялись все пассажиры; суэта, гора багажа, досмотр и долгая поездка по плохо освещённым улицам ц мимо тротуаров, заполненных всё увеличивающимся населением; множество проникающих запахов, резкие голоса, разукрашенные холмы, автомобили с гирляндами цветов на них, так как это был день праздника, богатые дома, тёмные хижины, и дальше, — вниз по крутому склону; автомобиль остановился, и дверь открылась.

Там растёт дерево, полное зелёных листьев и очень спокойное в своей чистоте и достоинстве; это дерево окружено домами дурных пропорций, населёнными людьми, которые никогда не смотрели на него или хоть на один его лист. Но они делают деньги, ходят в офисы, они пьянствуют, заводят детей и слишком много едят. Прошлой ночью над ним стояла луна, и вся великолепная темнота была живой. При пробуждении, ближе к рассвету, медитация была сиянием света, ибо иное было здесь — в этой незнакомой комнате. Снова был грозный, настойчивый мир, не мир политиков, священников или удовлетворённых; он был слишком велик, чтобы содержаться в пространстве и времени, быть выраженным мыслью или чувством. Он был тяжестью земли и того, что на ней; он был небесами и тем, что за их пределами. Человек должен перестать быть, чтобы был он.

Время всегда повторяет свои вызовы и свои проблемы; отклики и ответы связаны с ближайшим и безотлагательным. Мы заняты ближайшим вызовом и ближайшим ответом на вызов. И этот ближайший ответ на ближайший вызов есть мирская жизнь со всеми её неразрешимыми проблемами и мучениями; интеллеktуал отвечает действием, порождаемым идеями, корни идей лежат во времени, в ближайшем, и недумаящие люди, поражённые этим, следуют за ним; священник хорошо организованной религии, основанной на пропаганде и на вере, откликается на вызов соответственно тому, чему он обучен; остальные же следуют системе «нравится — не нравится», предрассудка и злобы. А всякий аргумент и жест есть продолжение отчаяния, скорби и смятения. И этому нет конца. Отвернуться от всего этого, давая этой деятельности другие названия, — не значит покончить с ней. Она есть, отрицаете вы это или нет, критически анализируете её или заявляете, что всё это — иллюзия, майя. Она есть, и вы постоянно оцениваете её. Именно этим ближайшим ответам на череду ближайших вызовов должен прийти конец. Тогда вы будете отвечать из вневременной пустоты на непосредственные требования времени или сможете не отвечать вообще, что возможно и будет правильным откликом. Любой отклик мысли и эмоции будет лишь продлевать отчаянье и муку проблем, у которых нет ответа; окончательный ответ выходит за пределы ближайшего, неотложного, спешного.

В этом ближайшем и спешном — вся наша надежда, тщеславие и честолюбивые устремления, независимо от того, спроецировано ли это ближайшее и спешное в будущее многих завтра или в сейчас. Это путь скорби. Окончание скорби никогда не бывает в немедленном, спешном отклике на множество вызовов. Окончание заключено в видении самого этого факта.

Пальмы раскачивались с большим достоинством и с удовольствием склонялись в западном ветре с моря; казалось, они так далеки от шумной, переполненной людьми улицы. Пальмы темнели на фоне вечернего неба, и их стволы, стройные от долгих лет терпеливой работы, были красиво очерчены; они главенствовали в этот вечер звёзд и тёплого моря. Пальмы как бы протягивали свои ладони, чтобы принять вас и унести вас с грязной улицы, но вечерний бриз отклонял их, чтобы наполнить небо их движением. Улица была переполнена людьми; она никогда не была чистой, слишком многие покрывали её плевками; стены улицы были загажены рекламой последних фильмов, заляпаны именами тех, кому вы должны отдать свой голос, партийными символами; это была убогая, грязная улица, хотя она и была одной из главных магистралей; немые автобусы грохотали мимо, такси гудели на вас, и, похоже, здесь побывало множество собак. Немного дальше было море и заходящее солнце. Оно было огненным красным шаром, и день был жаркий; солнце окрашивало в красный цвет море и редкие облака. Ряби на море не было, но оно было беспокойным и сонным. Было слишком жарко для приятного вечера, бриз же, казалось, где-то забыл свою способность приносить отраду. На этой грязной улице с людьми, натякающимися на вас, медитация была самой сущностью жизни. Мозг, такой тонкий и наблюдательный, был совершенно спокоен, следя за звёздами, осознавая людей, запахи, лай собак. Одинокий жёлтый лист упал на грязную дорогу, и проезжающий автомобиль раздавил его; тот лист был так полон цвета и красоты — и так легко разрушился.

Во время прогулки вдоль улицы с редкими пальмами иное пришло, как волна, которая очищала, придавала силу; оно было как аромат, дыхание беспредельности. Не было сентиментальности, романтики иллюзий или неустойчивости мысли; оно было здесь чётко и ясно, не в какой-то смутной возможности, несомненное, определённое. Оно было здесь, святое, и ничто не могло коснуться его, ничто не могло нарушить его окончательность. Мозг сознавал близость проходящих автобусов, мокрую улицу и скрип тормозов; он осознавал всё это и, кроме того, море — но мозг не имел отношения ни к одной из этих вещей — он был совершенно пуст, без всяких корней, следил, наблюдал из этой пустоты. Иное вторгалось с резкой настоятельностью. Это было не чувство, не ощущение, а такой же факт, как зовущий человек. Оно не было эмоцией, которая меняется, преобразуется, продолжается, и мысль не могла коснуться его. Оно присутствовало здесь с окончательностью смерти, которую никакие доводы опровергнуть не в силах. И поскольку у него не было ни корней, ни отношений, ничто не могло осквернить его; оно было неуязвимо.

Полное спокойствие мозга — нечто необычайное; он высоко чувствителен, энергичен, абсолютно бодр и чуток, он осознаёт каждое внешнее движение — но совершенно спокоен. Он спокоен, поскольку он полностью открыт, без всяких препятствий, без всяких тайных желаний и целей; он спокоен, поскольку нет конфликта, который, по сути своей, есть состояние противоречия. Он полностью спокоен в пустоте; эта пустота — не состояние вакуума, бессмысленности; пустота — энергия без центра, без границ. На прогулке по многолюдной улице, дурно пахнувшей, грязной, с грохотом проезжающих автобусов, мозг осознавал всё окружающее, тело шло, шагало, живое, чувствительное к запахам и к грязи и к потным рабочим, но не было центра, из которого исходили бы наблюдение или руководство или цензура. На протяжении всей этой мили и обратно мозг был неподвижен, так же как и мысль и чувство; тело уставало от непривычки к ужасной жаре и влажности, хотя солнце уже зашло. Это был удивительный феномен, хотя он уже несколько раз имел место и раньше. Ни к чему из этого нельзя привыкнуть, так как это не предмет привычки и желания. Это всегда поражает, как нечто неожиданное, когда уже заканчивается.

В переполненном самолёте [на Мадрас] было жарко, и даже на такой высоте, почти 8 тысяч футов, казалось, никогда не станет прохладнее. В этом утреннем самолёте, внезапно и совершенно нежданно, появилось это иное. Оно никогда не бывает тем же самым, но всегда новое, всегда неожиданное; странно и удивительно в этом то, что мысль не может вернуться к нему, пересмотреть его, обдумать его на досуге. Память не принимает в нём участия, так как каждый раз, когда это случается, оно настолько совершенно новое и неожиданное, что не оставляет после себя никаких воспоминаний. Ибо это целостное, полное и завершённое событие — происшествие, после которого не остаётся никакого зафиксированного свидетельства, подобного воспоминанию. И поэтому оно всегда новое, юное, неожиданное. Оно пришло с необычайной красотой, не из-за фантастической формы облаков и света в них, и не из-за голубого неба, такого бесконечно голубого и нежного; не было никакого повода, никакой причины его невероятной красоты, потому оно и было прекрасно. Оно было сущностью — но не всех вещей, собранных вместе и сконцентрированных, чтобы их ощущать и видеть, а всей жизни — той жизни, которая была, которая есть и которая будет, — жизни без времени. Оно было здесь, и это было неистовство красоты.

Маленький автомобиль возвращался домой, в свою долину (долина Риши в 170 милях к северу от Мадраса и в 2500 футах над уровнем моря. Там есть школа Кришиамурти, в которой он останавливался), вдали от городов и цивилизаций. Он преодолевал ухабистые дороги, рытвины, резкие повороты, с кряхтением и стоном, но ехал; он был не старый, но собран был неаккуратно; он издавал запах бензина и масла, но бежал домой быстро, как мог, по мощёным и немощёным дорогам. Места вокруг были красивые; недавно прошёл дождь — прошлой ночью. Деревья были полны жизни, с яркими, зелёными листьями — тамаринд, баньян и множество других деревьев; в них было так много жизненных сил, они были так свежи и юны, хотя некоторые из них, должно быть, были уже довольно стары. Кругом были холмы и красная земля; это были не огромные холмы, мягкие и древние, одни из самых древних на земле, и в вечернем свете они выглядели безмятежными, с древней голубизной, которую имеют только холмы определённого типа. Некоторые были скалистыми и бесплодными, другие поросли чахлым кустарником, и лишь на немногих холмах росли деревья, но они были так дружелюбны, как будто они уже видели всю скорбь, всю печаль. Земля у их подножия была красной, и дожди сделали её ещё краснее; это не был цвет крови или солнца или какой-либо из созданных

человеком оттенков — это был красный цвет из всех красных, и была в нём ясность и чистота, а зелень на фоне этого красного цвета ещё более поражала. Был прекрасный вечер, и становилось прохладнее, поскольку долина располагалась на некоторой высоте.

Посреди вечернего света, и холмов, становящихся всё более голубыми, и красной земли, всё более яркой, безмолвно пришло иное, вместе с благословением. Оно каждый раз чудесно новое, и всё-таки оно то же самое. Оно было безмерно богато силой, силой разрушения и уязвимости. Оно пришло в такой полноте и исчезло вспышкой —этот момент был вне всякого времени. Это был утомительный день, но мозг оставался удивительно бдительным, видящим без наблюдающего, видящим не из переживания, а из пустоты.

Луна только поднималась над холмами, окутанная длинным змеевидным облаком, придававшим ей фантастическую форму. Она была огромна и заставляла казаться маленькими холмы и землю и зелёные пастбища; там, где она всходила, было светлее, меньше облаков, но вскоре она исчезла в тёмных дождевых облаках. Начало моросить, и земля была рада — здесь не так много дождей, и каждая капля имеет значение; большой баньян, тамаринд и манго как-то перебивались, небольшие же растения и рис радовались и маленькому дождю. К несчастью, даже редкие капли перестали падать, и теперь луна сияла в ясном небе. На побережье дождь лил с неистовой силой, но здесь, где он был нужен, дождевые облака рассеялись. Это был чудесный вечер с великим разнообразием глубоких тёмных теней. Луна светила очень ярко, тени были очень спокойны, отмытые дочиста листья сверкали. Во время прогулки, при разговоре, медитация шла глубже уровня слов и красоты ночи. Она происходила на громадной глубине, растекаясь внутри и снаружи, взрывалась и расширялась. Было её осознание, она происходила, но не было переживания её, переживание ограничивает; она присутствовала. Не было участия в ней, мысль не могла включиться в неё, ибо мысль, так или иначе, весьма пуста, механична; эмоция тоже не могла вмещаться в неё, она была слишком беспокояще активна для них обоих. Это происходило на такой неведомой глубине, меры для которой не существовало. Но было огромное спокойствие. Это было совершенно удивительно и вовсе не было обычным.

Тёмные листья светились, и луна забралась совсем высоко; она двигалась на запад и заливала светом комнату. До рассвета было ещё много часов, не было ни звука; даже деревенские собаки с их резким тьяканьем успокоились. При пробуждении оно было здесь, с ясностью, с чёткостью; иное было здесь, и необходимо было проснуться, не спать; имело место намерение осознавать происходящее, в полном сознании воспринимать то, что имеет место. Во сне это могло быть сновидением, намёком бессознательного, трюком мозга, но при полном бодрствовании это необыкновенное, это непостижимое иное было осязаемой реальностью, фактом, а не иллюзией или сном. Оно обладало качеством, если можно применить к нему такое слово, невесомости и непонятной силы. Опять же, эти слова имеют некоторое значение, определённое и передаваемое, но они теряют всякий смысл, когда приходится выражать ими это иное; слова — это символы, а никакой символ не может передать реальность. Оно было здесь с такой неуязвимой силой, что разрушить его ничто не могло, ибо оно было неприступно. Вы можете приблизиться к чему-либо, с чем вы знакомы, вы должны иметь один и тот же язык, чтобы общаться, какого-то рода мыслительный процесс, выраженный в словах или невыраженный; но помимо всего должно быть и взаимное узнавание. Ничего этого не было. Со своей стороны, вы можете сказать, что это было то или это, то или иное качество, но в сам момент события использования слов не было, так как мозг был полностью неподвижен, без всякого движения мысли. Но иное не имеет отношения ни к чему, а всякая мысль и бытие — причинно-следственный процесс, поэтому не было ни понимания его, ни отношений с ним. Это было неприступное пламя, и вы могли только смотреть на него, сохраняя дистанцию. И при внезапном пробуждении оно было здесь. И с ним пришёл неожиданный экстаз, беспричинная радость; он не имел причины, поскольку к нему вовсе не стремились и за ним не гонялись. Этот экстаз присутствовал здесь снова при пробуждении в обычный час; он был здесь и продолжался долгое время.

Здесь есть сорная трава с длинными стеблями, трава определённого вида, растущая в садах диким образом; её пушистые цветы жжёного золота вспыхивают на ветру, и она раскачивается, почти переламываясь, но никогда не ломается, разве что при сильном ветре. Здесь есть место скопления этой травки бежево-золотого цвета, и когда дует ветер, он заставляет её танцевать; у каждого стебля есть свой ритм, свой блеск, и они похожи на волну, когда движутся все вместе; цвет у них тогда в вечернем свете — неопиcуемый; это цвет солнечного заката, земли, золотых холмов и облаков. Цветы рядом с ними казались слишком определёнными, слишком грубыми, требующими, чтобы вы на них смотрели. В этих растениях есть странная изысканность, у них слабый запах пшеницы и древних времён, они очень крепкие, стойкие, чистые, полные изобилия жизни. Вечернее облако проплывало мимо, полное света, пока солнце садилось за тёмным холмом. Дождь одарил землю восхитительным запахом, воздух был приятно прохладным. Дожди приближались, и у земли была надежда.

Это случилось внезапно, при возвращении в комнату; иное появилось с ласковой приветливостью, такое неожиданное. И вошёл-то только для того, чтобы сразу выйти; мы разговаривали о разных вещах, ничего особо серьёзного. Было потрясением и неожиданностью найти в комнате это приветливое иное; оно ждало здесь, так явно приглашая, что извинения казались излишними. Несколько раз, в Коммон (*Уимблдон Коммон. Он вспоминает Лондон, где останавливался в мае в Уимблдоне*), далеко отсюда, под деревьями, на тропе, которой пользовались столь многие, оно ожидало прямо на повороте тропы; с удивлением стоял там около этих деревьев, полностью открытый, уязвимый, безмолвный, без движения. Это не было фантазией, самообманом; и другой, который при этом присутствовал, тоже его чувствовал; в нескольких случаях оно было там со всеобъемлющей приветливостью любви, и это было совершенно невероятно; каждый раз в нём было новое качество, новая красота, новая строгость. Таким же оно было и в этой комнате, чем-то совершенно новым и совершенно неожиданным. И оно было красотой, которая сделала весь ум безмолвным, а тело неподвижным; оно сделало ум, мозг, тело интенсивно бдительными и восприимчивыми; оно заставило тело трепетать, и через несколько минут это приветливое иное ушло так же быстро, как и появилось. Никакая мысль, никакая причудливая эмоция не смогли бы вызвать такое событие; мысль мелка, что бы она ни делала, а чувство так хрупко и обманчиво; ни мысль, ни чувство даже при невероятных усилиях не могли бы быть творцами этих событий. События эти непомерно огромны, слишком беспредельны по своей силе и своей чистоте для мысли и чувства, у них нет корней, а у мысли и чувства корни есть. Их не призвать, не удержать; мысль и чувство могут разыгрывать любые хитроумные и причудливые трюки, но они не могут сочинить или вместить в себя это иное. Оно само по себе, и ничто не может коснуться его.

Восприимчивость, чуткая чувствительность совершенно отлична от утончённости; чувствительность — интегральное состояние, утончённость — всегда частична. Частичной чувствительности не существует — либо она есть состояние всего человеческого существа, целого сознания, либо её вовсе нет. Её не накопить мало-помалу, её невозможно культивировать, она не результат опыта и мысли, не состояние эмоциональности. Она обладает качеством чёткости и точности — никаких намёков на романтизм или фантазию. Только чутко восприимчивый, чувствительный может смотреть в лицо факту, не прячась во всякого рода умозаключения, мнения или оценки. Только чувствительный может быть одинок, и это одиночество разрушительно. Эта чувствительность лишена всякого удовольствия, и поэтому обладает строгостью — не желания и воли, а видения и понимания. В утончённости есть

удовольствие, оно связано с образованием, культурой и окружением. Путь утонченности бесконечен; она — результат выбора, конфликта, боли, и при этом всегда есть выбирающий, тот, кто совершенствует утонченность, цензор. И потому всегда есть конфликт, противоречие и боль. Утонченность ведёт к изоляции, к замкнутой на себя отстранённости, к отделению, которое порождается интеллектом и знанием. Утонченность — это эгоцентрическая активность, пусть она даже является просвещённой в эстетическом или в моральном отношении. Есть огромное удовлетворение в процессе совершенствования утонченности, но нет радости глубины; процесс этот поверхностен и мелочен, он не имеет значительного, серьёзного смысла. Чувствительность и утонченность — две разные вещи; одна ведёт к смерти в изоляции, другая — к жизни, которой нет конца.

Здесь растёт дерево, как раз напротив веранды, с большими листьями и с множеством крупных красных цветов; они эффектно выглядят, а зелёный цвет листвы после недавних дождей и ярки и выразителен. Цветы оранжево-красные, и на фоне зелени и скалистого холма они, казалось, вобрали в себя всю землю и покрыли всё пространство раннего утра. Это было красивое утро, облачное, и с тем светом, который делал любой цвет чистым и сильным. Ни один лист не шевелился, все они ждали, надеясь на новый дождь; солнце будет жаркое, и земле нужно гораздо больше дождя. Речные русла безмолвствовали уже немало лет, в них росли кусты, и вода была нужна повсюду; вода в колодцах стояла низко, и жителям деревень придётся страдать, если воды не прибудет. Облака над холмами были чёрные, тяжёлые, они обещали дождь. Загремел гром, блеснула отдалённая молния, и вскоре начался ливень. Он длился недолго, но пока этого было достаточно, и была надежда на продолжение.

И там, где дорога идёт вниз и через мост над сухим речным руслом из красного песка, холмы на западе были тёмными, тяжело нависающими; и в вечернем свете сочная зелень рисовых полей выглядела невероятно красивой. Посреди полей высились тёмно-зелёные деревья, холмы на севере были фиолетовыми; долина лежала открытой небесам. Тем вечером в этой долине присутствовали все цвета, и знакомые, и невиданные; каждый из них о чём-то говорил, на что-то намекал, скрыто и явно, и каждый лист или стебелёк риса взрывался блаженством цвета. Цвет был богом, вовсе не мягким и кротким. Облака собирались, чёрные и тяжёлые, особенно над холмами, и видны были зарницы, беззвучные отблески молний далеко над холмами. Уже падали редкие капли; среди холмов шёл дождь, и скоро он будет здесь. Благословение для жаждущей земли.

После лёгкого обеда мы все разговаривали о делах, связанных со школой, — как необходимо то или это, как трудно найти хороших учителей, как нужны дожди и так далее. Разговор продолжался, и тут внезапно, неожиданно, появилось иное; это иное пришло с такой необъятностью, с такой сокрушительной силой, что человек стал сразу абсолютно спокоен; глаза видели его, тело ощущало его, и мозг был бдителен, без всякой мысли. Беседа не была слишком серьёзной, и в этой случайной, повседневной обстановке происходило нечто потрясающее. С ним отправился в постель, и в течение ночи шёпот его продолжался. Нет никакого переживания его; оно просто здесь, с неистовством и благословением. Чтобы переживать, должен быть переживающий, когда же его нет, это уже совсем другой феномен. Нет ни его принятия, ни его отвержения; оно просто здесь, как факт. Этот факт ник чему не имел отношения, ни к прошлому, ни к будущему, — и мысль не могла установить никакого контакта или общения с ним. Иное не имело ценности в смысле пользы или выгоды, из него нельзя было ничего извлечь. Но иное было здесь — и в силу самого его существования здесь были любовь и красота и беспредельность. Без него ничего нет. Без дождя земля погибла бы.

Время — иллюзия. Есть завтра и было множество вчера; это время — не иллюзия. Мысль, которая использует время как средство для того, чтобы осуществить внутреннюю перемену, психологическую перемену, являет собой стремление к не-перемене, ведь такое изменение есть всего лишь модифицированное продолжение того, что было; такая мысль медлит, откладывает и ищет убежища в иллюзии постепенности, в идеалах, во времени. Изменение со временем невозможно. Само отрицание времени уже есть перемена; перемена происходит, когда всё, что вызвано к жизни временем, привычка, традиция, реформа, идеалы — всё это отвергнуто. Отвергайте время, и произойдёт перемена — полная перемена, а не изменение шаблонов и стереотипов или замена одного стереотипа другим. Но обретение знания и изучение техники

требуют времени, которое нельзя и не нужно отрицать, — это необходимо для нашего существования. Время, чтобы прийти отсюда туда, — это не иллюзия, но всякая другая форма времени есть иллюзия. В такой перемене присутствует внимание, и из этого внимания выходит действие совершенно другого рода. Такое действие не становится привычкой, повторением ощущения, переживания и знания, которое притупляет мозг, делает его невосприимчивым к перемене. Поэтому добродетель — это не более хорошая привычка, не более хорошее поведение; у добродетели нет шаблона, ограничений, на ней нет печати респектабельности; она — не идеал, которому следуют и который сформирован временем. Добродетель поэтому — опасность, а не послушное орудие общества. Любовь поэтому — разрушение, революция, не экономическая или социальная, а всего сознания.

Некоторые из нас пели, разучивая новые песни и гимны; комната выходила окнами в сад, содержать который было очень трудно, поскольку здесь было мало воды; цветы и кусты поливали маленькими ведёрочками, фактически, банками из-под керосина. Это был довольно красивый сад, там множество цветов, и доминирующую роль в нём играли деревья; они были статные, развесистые и в определённые времена года на них было много цветов; но сейчас цвело только одно дерево — оранжево-красные цветы с большими лепестками, множество их. Там было несколько деревьев с красивыми листьями, маленькими, нежными; там были мимозоподобные деревья, с огромным изобилием листвы. Очень много птиц прилетело; сейчас, после двух сильных ливней, у птиц этих перья намокли, они выглядели взъерошенными, промокшими почти до костей. Там была жёлтая птица с чёрными крыльями, крупнее скворца, почти как чёрный дрозд; желтизна была такой яркой на фоне тёмно-зелёной листвы, а её живые и умные продолговатые глаза видели всё — и легчайшее движение среди листьев и прилёт и отлёт других птиц. Были там две чёрные птицы с намокшими перьями, поменьше ворон, сидевшие рядом с жёлтой на том же дереве; они растопырили хвостовые перья и хлопали крыльями, чтобы просушить их; ещё несколько птиц разных размеров прилетели на это дерево, все в мире друг с другом, все настороженно наблюдающие. Долина очень сильно нуждалась в дожде, каждая капля была радостью; уровень воды в колодцах был очень низкий, большие городские резервуары были пусты, и дожди должны были помочь наполнить их. Они были пусты уже много лет — и вот теперь появилась надежда. Долина стала очень красивой, омытая дождём, свежая, полная разнообразной густой зелени. Скалы отмылись дочи́ста и утратили свой жар, и чахлые кусты, выросшие среди скал на холмах, выглядели довольными, и сухие речные русла запели снова. Земля опять улыбалась.

Гимн и песня продолжали звучать в этой почти пустой комнате без мебели, и сидеть на полу казалось и нормально и удобно. Посреди песни внезапно и неожиданно появилось иное; другие продолжали петь, но и они тоже стали безмолвными, не осознавая своего безмолвия. Оно было здесь вместе с благословением и наполняло пространство между небом и землёй. Относительно обычных вещей, вплоть до определённой точки, общение возможно с помощью слов; слова имеют смысл, но они теряют этот свой ограниченный смысл полностью, когда мы пытаемся сообщить о событиях, которые невозможно выразить в словах. Любовь — не слово, и она оказывается чем-то совсем иным, когда прекращается всякое использование слов и глупое разделение на то, что есть, и то, чего нет. Это событие — не переживание, не продукт мысли, не узнавание вчерашнего события, не продукт сознания, сколь угодно глубокого его слоя. Оно не отравлено временем. Оно за пределами и выше всего этого; оно было, и этого достаточно для неба и земли.

Всякая молитва есть просьба, но нечего просить, когда есть ясность и сердце не обременено. Инстинктивно, при несчастье какая-то просьба оказывается на губах, чтобы отвратить несчастье или боль, или получить какое-то преимущество.

Есть надежда, что какие-то земные кумиры, идола ума, ответят удовлетворительно, и иногда, по случайности или какому-то странному стечению обстоятельств, молитва исполняется. Значит, бог вам ответил, и вера была оправдана. Боги людей, единственные реальные боги, существуют, чтобы утешать, укрывать и отвечать на все низменные и благородные требования человека. Такие боги бесчисленны; они есть в каждой церкви, в каждом храме и мечети. Земные боги даже более могущественны и более близки; они есть у каждого государства. Но человек продолжает страдать, несмотря на все просьбы и молитвы. Только с

неистовством понимания может завершиться скорбь, но другое легче, респектабельнее, менее требовательно. И скорбь изнашивает мозг и тело, делает их тупыми, бесчувственными, усталыми. Понимание требует самопознания, а самопознание — не дело одного мгновения; изучение себя бесконечно, красота и величие его именно в том, что оно бесконечно. Но самопознание происходит из момента в момент; оно существует лишь в активном настоящем; у него нет продолжения, такого, как знание. То, что имеет продолжение, есть привычка — механический процесс мысли. Понимание не имеет продолжения.

Здесь среди тёмно-зелёных листьев — красный цветок, и с веранды вы видите только его. Есть ещё холмы, красный песок речных русел, большой высокий баньян, множество тамариндов, но вы видите только этот цветок; он такой веселый, он так полон цвета; нет никаких других красок; пятна голубого неба, плавающие светом облака, фиолетовые холмы, густая зелень рисовых полей — всё это меркнет, остаётся лишь удивительный цвет этого цветка. Он заполняет всё небо и долину; он увянет и осыплется, перестанет существовать, а холмы останутся. Но сегодня утром в нём была вечность, запредельная всякому времени и мысли, он вмещал в себя всю любовь и радость; в этом не было никакой сентиментальности, никаких романтических глупостей, и он не был символом чего-то другого. Он был самим собой, чтобы вечером умереть, но он содержал в себе всю жизнь. Это не было чем-то вымышленным или неразумным, какой-то романтической фантазией; это было таким же фактом, как те холмы или перекликающиеся голоса. Это была полная медитация жизни, а иллюзия существует только тогда, когда воздействие факта прекращается. Это облако, так наполненное светом, есть реальность, чья красота не оказывает сильного воздействия на ум, сделавшийся тупым и бесчувственным от влияний, привычки и постоянных поисков безопасности. Безопасность в славе, в отношениях, в знании разрушает чувствительность и начинается деградация. Этот цветок, эти холмы и голубое беспокойное небо есть вызовы жизни, подобные ядерным бомбам, но только чувствительный ум может откликаться на них полностью; и только полный отклик не оставляет следов конфликта, конфликт же указывает на частичность отклика.

Так называемые святые и саньяси внесли свой вклад в отупение ума и разрушение чуткой восприимчивости. Любая привычка, повторение, ритуалы, подкреплённые верой и догмой, чувственные отклики могут делаться и делаются более тонкими, но живое осознание, чувствительность — совсем другое дело. Чувствительность абсолютно необходима, чтобы смотреть глубоко внутрь; это движение внутрь — не реакция на внешнее; внешнее и внутреннее — одно и то же движение, они нераздельны. Разделение этого движения на внешнее и внутреннее порождает невосприимчивость, бесчувственность. Вхождение внутрь — естественное течение внешнего; внутреннее движение имеет своё действие, выражающееся внешне, но оно не есть реакция внешнего. Осознание всего этого движения и есть чувствительность.

Это действительно был необычайно прекрасный вечер. Весь этот день дождь то начинал моросить, то прекращался; весь день пришлось просидеть дома; была беседа-дискуссия, встречи с людьми и тому подобное. На несколько часов дождь прекратился, выйти на улицу было приятно. Облака на западе были тёмные, почти чёрные, полные дождя и грома; они нависали над холмами, делая холмы темно-пурпурными, необычно тяжёлыми, грозными. Солнце садилось в буйном неистовстве облаков. На востоке облака взмывали вверх, полные вечернего света, каждое своей особой формы, со своим светом; возвышаясь над холмами, огромные и потрясающе живые, они воспаряли высоко в небо. Были там и пятна голубого неба, такого ярко-голубого, и зелень такой нежности, что она сливалась с белым светом громоздящихся облаков. Эти холмы были вылеплены с достоинством бесконечного времени; один светился изнутри, прозрачный, странно хрупкий, как бы совсем искусственный; другой, высеченный из гранита, мрачно уединившийся, имел форму всех храмов мира. Каждый холм был живым, полным движения и, в силу глубины времён, отстранённым от окружающего. Это был чудесный вечер, наполненный красотой, безмолвием и светом.

На прогулку мы вышли все вместе, но теперь мы умолкли, разделились, отошли на некоторое расстояние друг от друга. Дорога была немощёная и пересекала долину через сухие красные песчаные речные русла, по которым бежали тонкие струйки дождевой воды. Дорога повернула и пошла на восток. Дальше по долине виден белый фермерский дом, окружённый деревьями, одно из которых, огромное, перекрывает все остальные. Эта картина была исполнена мира, и земля казалась зачарованной. Дом находился на расстоянии мили, или около того, посреди ароматных зелёных рисовых полей, он бы тих и безмолвен. Часто видел его и прежде, так как дорога вела к выходу из долины и дальше, и это была единственная дорога и в долину и из долины для автомобилей и пешеходов. Белый дом среди редких деревьев стоял здесь уже не один год, он всегда был приятным зрелищем, но увидеть его в этот вечер, сразу за поворотом дороги, — в этом была совсем другая красота и другое чувство. Потому что здесь было и поднималось по долине то иное; то иное было похоже на завесу дождя, но только дождя не было; иное приходило, как приходит ветерок, мягко и нежно, и оно было и внутри и снаружи. Это не было мыслью, не было чувством или фантазией, продуктом мозга. Каждый раз оно совершенно новое, поразительное, в нём такая чистая сила, необъятность, что ему сопутствуют изумление и радость. Оно — нечто совершенно неизвестное, и у известного нет контакта с ним. Известное должно полностью отмереть, чтобы оно было. Переживание всё ещё остаётся в поле известного, и потому это не было переживанием. Всякое переживание означает состояние незрелости. Вы можете переживать и опознавать в качестве переживания только то, что вы уже знаете. Но это непереживаемо и непознаваемо; все мысли и чувства должны прекратиться, потому что все они — и известны и познаваемы; мозг и всё сознание должны быть пусты и свободны от известного без всякого усилия. Оно было здесь, и внутри и снаружи, и прогулка продолжалась в нём и с ним. Холмы, страна, земля были с ним.

Было совсем раннее утро и всё ещё темно. Ночь была с дождём и громом; окна хлопали, и дождь заливался в комнату. Не видно ни одной звезды, небо и холмы закрыты тучами, и дождь лил шумно и яростно. При пробуждении дождь уже прекратился, но было всё ещё темно. Медитация — не практика и не следование системе, методу; всё это ведёт только к затемнению ума, и это всегда движение в границах известного; в этой деятельности — отчаяние и иллюзия. Было очень тихо столь ранним утром, ни одна птица или листок не шевелились. Медитация, которая началась в неведомых глубинах и шла со всё возрастающей интенсивностью и размахом,

погрузила мозг в полное безмолвие, вычерпывая глубины мысли, искореняя чувство и опустошая мозг от известного, от его теней. Это была операция, но не было оперирующего; она шла так же, как хирург оперирует рак, отсекая каждую поражённую ткань, чтобы поражение не смогло распространиться снова. Эта медитация продолжалась в течение часа, по часам. То была медитация без медитирующего. Медитирующий вмешивается со своими глупостями, тщеславием, честолюбивыми устремлениями, жадностью. Медитирующий есть мысль, которая вскормлена конфликтами и страданиями, а мысль в медитации должна полностью прекратиться. Это основа медитации.

Повсюду стояла тишина — холмы неподвижны, деревья спокойны, речные русла пусты; птицы нашли укрытие на ночь, и всё утихло, даже деревенские собаки. Прошёл дождь, и облака были неподвижны. Безмолвие росло и становилось всё интенсивнее, всё шире, всё глубже. То, что было снаружи, было теперь и внутри; мозг, который прислушивался к безмолвию холмов, полей, рощ, и сам теперь тоже стал безмолвным; мозг уже не прислушивался к себе, он через это уже прошёл и стал спокойнее, естественно, без всякого принуждения. И всё же он был готов встрепенуться мгновенно. Он был безмолвен и глубоко погружён в себя; и как птица, сложившая крылья, он сложился, он свернулся в самом себе; он не был ни сонным, ни ленивым, но, свёртываясь в себе, он вошёл в глубины, которые были вне его пределов. Мозг, по своей сути, поверхностен; и его деятельность поверхностна, почти механична; его действия и реакции немедленны, хотя эта немедленность и переводится в термины будущего. Его мысли и чувства лежат на поверхности, хотя он может думать и чувствовать далеко в будущее и назад, в прошлое. Весь опыт и память глубоки только в пределах своей ограниченной ёмкости, но мозг, и безмолвный и обращённый к самому себе, уже не переживал, внешне или внутренне. Сознание — эти фрагменты великого множества переживаний, принуждений, страхов, надежд и отчаяния прошлого и будущего, противоречий человечества и своей собственной эгоцентрической деятельности — полностью отсутствовало; его не было. Всё существо было абсолютно безмолвным, и поскольку оно стало интенсивным, для него не было ни «больше», ни «меньше»; оно было интенсивным, и это было вхождение в глубину или появление глубины, в которую мысль, чувство, сознание войти не могли. Это было особое, новое измерение, мозг не мог охватить его, мозг не мог понять его. Не было наблюдающего, того, кто видел эту глубину. Каждая часть всего человеческого существа была живой, чувствительной, но интенсивно спокойной. Эта новизна, глубина расширялась, взрывалась, расходилась, развивалась в собственных взрывах, но вне времени и за пределами времени и пространства.

Был прекрасный вечер, воздух чистый, а холмы голубые, фиолетовые и темно-пурпурные; рисовые поля получили достаточно воды, они были окрашены в разные оттенки зелёного, от светлого к металлическому и к тёмному, мерцающему зелёному цвету; некоторые деревья уже отошли к ночному сну, тёмные, безмолвные, но другие всё ещё оставались раскрытыми, они удерживали свет дня. Облака над западными холмами были чёрные, а на севере и востоке полные вечерним солнцем, которое уже ушло за тёмно-фиолетовые холмы. На дороге никого не было, редкие прохожие молчаливы, на небе ни пятнышка голубого неба — к ночи собирались облака. Тем не менее, всё, казалось, бодрствовало: скалы, сухое русло реки и кусты в угасающем свете. Медитация на этой спокойной и пустынной дороге пришла как лёгкий дождь над холмами; она пришла легко и естественно, как приходит ночь. Не было в ней никакого усилия, никакого контроля с его концентрациями и отвлечениями, не было порядка и стремления, не было отрицания, принятия или какого-то продолжения памяти. Мозг осознавал своё окружение, но спокойно, без отклика и не испытывая его воздействия, но узнавая его без отклика. Он был очень спокоен, и слова замерли вместе с мыслью. Здесь была та необыкновенная энергия (назовите её как-либо иначе, не имеет значения), глубоко активная, без объекта и цели; она была творением, без холста и без мрамора, и она была разрушительна. Она не была чем-то, входящим в сферу человеческого мозга, выражения, упадка. Она была недоступна классификации и анализу; мысль и чувство — не инструменты для её понимания. Она не связана абсолютно ни с чем, она совершенно одна в своём величии и беспредельности. И здесь, во время прогулки по этой темнеющей дороге, был экстаз невозможного — не осуществления, достижения, успеха и всех этих незрелых потребностей и реакций, но единственности невозможного. Возможное механично, и невозможное, которое можно рассматривать, пытаться его достигнуть и, может быть, достигнуть, в свою очередь, становится механичным. Но этот экстаз не имел ни причины, ни объяснения. Он просто был, и не как переживание, а как факт, и не для того, чтобы его принимали или отвергали, обсуждали и анализировали. Он не был чем-то, к чему можно стремиться и что можно искать, ибо пути к нему нет. Всё должно умереть, чтобы тот экстаз был; смерть, разрушение, которые и есть любовь.

Бедный, усталый работник в рваной и грязной одежде возвращался домой со своей тощей, костлявой коровой.

Небо пылало фантастическим цветом, огромными вспышками невероятного огня; небо на юге полыхало облаками взрывающихся красок, одно облако интенсивнее другого в своём неистовстве. Солнце село за холм, напоминающий по форме сфинкса, но там красок не было — небо хмурое, пасмурное, никакой безмятежности прекрасного вечера. Но запад и юг сохраняли всё величие угасающего дня. К востоку цвет был голубой; то была голубизна утренней славы, цветок такой нежный, что тронуть его значило повредить нежные, прозрачные лепестки; он был интенсивно голубым, с невероятным отсветом бледно-зелёного, фиолетового и резкостью белого; он посылал с востока на запад лучи этой фантастической голубизны через всё небо. И юг был теперь прибежищем великих огней, которые никогда не погасить. Через густую зелень рисовых полей шла полоса цветущего сахарного тростника; она была пушистая, бледно-фиолетовая, с нежным светло-бежевым оттенком тоскующего голубя; пронизываемая вечерним светом, она тянулась через ароматные зелёные рисовые поля к холмам почти такого же цвета, как цветок сахарного тростника. Холмы были в союзе с цветком, красной землёй и темнеющим небом, и в этот вечер холмы пели от радости, ибо это был вечер их восхищения. Стали проступать звёзды, и вскоре не осталось ни облачка — и каждая звезда сияла с поразительной яркостью в промытом дождём небе. Рано утром, задолго до рассвета, Орион владел небом, и холмы были безмолвны. Только через долину на глухой, низкий крик совы на более высоких, лёгких тонах откликнулась другая сова; в чистом спокойном воздухе их голоса разносились далеко, и они подлетали всё ближе, пока не устроились, похоже, где-то в отдельно стоящей группе деревьев; потом они ритмично пере кликались друг с другом, одна на более низких тонах, чем другая, — пока не закричал человек и не залаяла собака.

Это была медитация в пустоте — в пустоте, не имеющей границ. Мысль не могла следовать за ней туда, и она осталась там, где начинается время; не было и чувства, которое искажало бы любовь. Это была пустота без пространства. Мозг никак не участвовал в этой медитации; он был совершенно спокоен, уходя в себя и выходя наружу в этом спокойствии, но никоим образом не становясь причастным этой безграничной пустоте. Весь ум воспринимал или ощущал или осознавал происходящее, и всё же он не выходил за свои собственные пределы, был чем-то посторонним, чуждым. Мысль — препятствие для медитации, но только медитация может устранить это препятствие. Мысль рассеивает энергию, и сущность энергии — свобода от мысли и чувства.

Стало очень облачно, все холмы были покрыты облаками, и облака громоздились во всех направлениях. Моросил дождь, и нигде не было голубых просветов; солнце село в темноте, и деревья выглядели уединённо и отстранённо. Здесь есть старая пальма, выступающая на фоне темнеющего неба, и весь свет, какой был, удерживался ею; речные русла были безмолвны, их красный песок намок, но песни не было; птицы умолкли, найдя убежище среди густой листвы. Ветер дул с северо-востока, и с ним пришло ещё больше тёмных облаков и морозящего дождя, но всерьёз дождь ещё не начался, он придёт позже, с накопившейся яростью. Дорога впереди была пуста; она была красная, неровная, песчаная, и тёмные холмы смотрели на неё сверху; это была приятная дорога, почти без автомобилей, и крестьяне со своими бычьими упряжками добирались по ней из одной деревни в другую; они были грязными, тощими, как скелеты, в тряпье, с втянутыми животами, но крепкими и выносливыми; они жили так веками, и никакое правительство не сможет изменить всё это враз. Но эти люди улыбались, хотя глаза у них были усталые. Они могли танцевать после тяжёлого дневного труда, и в них был огонь, они не были безнадежно придавлены. Земля не получала дождей уже много лет, и этот год может оказаться одним из тех благоприятных лет, которые приносят больше еды для них и корма для их тощего скота. Дорога шла дальше и у входа в долину выводила на большую дорогу с немногочисленными автобусами и автомобилями. На этой большой дороге, много дальше, были города с их грязью, с фабриками, богатыми домами, храмами и тупыми умами. А здесь, на этой открытой дороге, было уединение, было множество холмов, исполненных древности и равнодушия.

Медитация есть опустошение ума от всякой мысли, потому что мысль и чувство рассеивают энергию; они занимаются повторением, производя механические действия, которые являются необходимой частью существования. Но они — всего лишь часть; ни мысль, ни чувство не могут войти в безмерность жизни. Нужен совсем иной подход — не путь привычки, ассоциации идей и известного; нужна свобода от всего этого. Медитация означает опустошение ума от известного. Этого нельзя достигнуть ни мыслью, ни скрытыми побуждениями мысли, ни желанием в форме молитвы, ни гипнотизмом слов, образов, надежд, тщеславия. Всё это должно прийти к концу, легко, без усилия и выбора, в пламени осознания.

И здесь, когда прогуливался по той дороге, была полная пустота мозга, и ум был свободен от всякого опыта, знания вчерашнего дня, хотя были тысячи вчерашних дней. Время, входящее в сферу мысли, остановилось; и не было, совершенно буквально, никакого движения «до» или «после», не было таких действий, как «ходить», «приходить» или «стоять на месте». Пространства как расстояния не было; были холмы и кусты, но не как высокие и низкие. Не было отношений ни с чем, но было осознание моста и прохожего. Весь ум, в который входит интеллект с его мыслями и чувствами, был пуст, и поскольку он был пуст, была энергия, углубляющаяся и расширяющаяся энергия без меры. Всякое сравнение, измерение принадлежит мысли, то есть оно принадлежит времени. Иное было умом без времени; оно было дыханием невинности и необъятности. Слова — не реальность, они только средство сообщения, но они не невинность, не безмерное. Была одна только пустота.

День был пасмурный, облачный, тучи всё приходили и приходили, и неистово лил дождь. В красных речных руслах сколько-то воды набралось, но земле требовалось гораздо больше дождя, чтобы заполнились большие водохранилища, баки и колодцы; несколько месяцев дождя не будет, жаркое солнце будет жечь землю. Вода была совершенно необходима для этой части страны, и каждая капля была желанной. Весь день просидел дома, выйти было приятно. По дорогам бежала вода; здесь прошёл сильный ливень, и под каждым деревом стояла лужа; с деревьев капала вода. Темнело, но можно было разглядеть холмы; они выделялись лишь своей темнотой на фоне неба, цвет у них был тот же, что и у облаков; деревья, безмолвные и неподвижные, погрузились в свои размышления; они ушли в себя и отказывались общаться. Внезапно осознал это необыкновенное иное; это иное здесь, оно и было здесь, но были беседы и встречи с людьми, и многое другое, и тело не имело достаточно отдыха, чтобы осознать эту необычность, однако по выходе на улицу оно было здесь, и только тогда пришло осознание, что оно и до того было здесь. И всё же оно было неожиданным и внезапным, с интенсивностью, которая является сущностью красоты. Шёл с ним по дороге, не как с чем-то отдельным, не как с переживанием, с чем-то, что следует наблюдать, рассматривать и запоминать. Это пути мысли, а мысль прекратилась, и потому не было переживания. Всякое переживание разделяет и вводит порчу, оно является частью механизма мысли, а все механические процессы ведут к деградации. Оно каждый раз было чем-то совершенно новым, а новое вообще не имеет никаких отношений с известным, с прошлым. И была красота, запредельная всякой мысли и чувству.

Крик совы незвучал над безмолвной долиной; было очень рано; солнце ещё несколько часов не появится над холмами. Было облачно, звёзды не были видны; при ясном небе Орион стоял бы с той стороны дома, что выходит на запад, но повсюду царили и мрак и безмолвие. Привычка и медитация несовместимы; медитация не может стать привычкой; медитация не может следовать шаблону, предложенному мыслью, которая формирует привычку. Медитация есть разрушение мысли, — это не мысль, находящаяся во власти собственных хитросплетений, видений и своих тщетных устремлений. Мысль, разбивающаяся о собственное ничтожество, есть взрыв медитации. У этой медитации — собственное движение, ненаправленное и потому беспричинное. В этой комнате, и в этом особенном безмолвии, когда низкие облака почти касались верхушек деревьев, медитация была движением, в котором мозг опустошает себя и остаётся неподвижным. Это было движение всего ума в пустоте, и в нём была вневременность. Мысль есть материя, удерживаемая в оковах времени; мысль никогда не бывает свободной, новой; всякое переживание только укрепляет оковы — и потому появляется скорбь. Переживание не способно освободить мысль; оно делает мысль более хитрой, но утончённость не означает окончания скорби. Мысль, даже пронизательная, изоцрэнная, не может покончить со скорбью; мысль может убегать от скорби, но она никогда не может покончить с ней. Окончание скорби — это окончание мысли. Никто и ничто не может положить ей [мысли] конец, — ни её собственные кумиры и боги, ни её идеалы, верования и догмы. Каждая мысль, мудрая она или ничтожная, есть отклик на вызов безграничной жизни, и этот отклик времени порождает скорбь. Мысль механична, и потому она никогда не может быть свободной; только в свободе нет скорби. Окончание мысли означает окончание скорби.

Казалось, будет дождь, но он так и не начался; голубые холмы отяжелели от облаков; облака всё время менялись, перемещаясь от одного холма к другому, но было там беловато-серое облако, простирающееся на запад над множеством холмов до самого горизонта, которое исходило из одного из восточных холмов; оно, казалось, начиналось оттуда, из склона холма, и шло к западному горизонту, перекачываясь, оживлённое светом заходящего солнца; оно было белое и серое, но глубоко внутри фиолетовое, бледного оттенка; оно, казалось, несло своим путём холмы, которые покрывало. В просвете на западе солнце садилось в неистовстве облаков, и холмы становились более тёмными и более серыми, и деревья погружались в безмолвие. У края дороги там есть огромное неприкосновенное баньяновое дерево, очень старое; оно действительно величественное, высокое, живое и независимое, и этим вечером оно было властелином холмов, земли и ручьёв; оно обладало величием, и звёзды казались очень маленькими. По той дороге шли крестьянин и его жена, друг за другом, муж впереди, жена за ним; они выглядели несколько более обеспеченными, чем все остальные, встречавшиеся на этой дороге. Они проходили совсем близко, и она на нас даже не взглянула, а её муж смотрел на деревню вдали. Мы поравнялись с ней; это маленькая женщина, не отрывающая глаз от земли; она была не очень опрятна, зелёное сари её запачкано, оранжево-розовая блузка в пятнах пота. У неё был цветок в смазанных маслом волосах; шла она босиком. Лицо у неё было тёмное, и в женщине этой ощущалась большая печаль. В походке женщины была определённая твёрдость и некая весёлость, никак не затронутая её печалью; у того и другого была своя жизнь, независимая, активная, одно к другому не имело отношения. Но великая печаль была, и вы чувствовали её сразу же; это была неисцелимая печаль, не было выхода из неё, не было способа смягчить её, не было способа что-то изменить. Она была здесь и будет. Она была на той стороне дороги, в нескольких шагах, и ничто не могло коснуться её. Какое-то время мы шли рядом, но вскоре женщина повернула, пересекла красный песок речного русла и направилась к своей деревне; её муж шёл впереди, не оглядываясь, она же следовала за ним. Прежде чем она повернула, случилось нечто странное. Несколько футов дороги между нами исчезли, и с ними исчезли также и две отдельные сущности; была только эта женщина, идущая в своей непостижимой печали. Это не было отождествлением с ней или проявлением симпатии или сочувствия; они тоже были, но не они были причиной феномена. Отождествление с другим, и даже глубокое, всё ещё сохраняет отдельность и разделение, здесь всё ещё остаётся два существа, одно из которых отождествляет себя с другим в сознательном или бессознательном процессе через привязанность или ненависть; в этом есть какое-то усилие, или скрытое или явное. Но здесь ничего этого не было. Она была единственным человеческим существом, присутствующим на этой дороге. Она была, а другого не было. Это не было фантазией или иллюзией; это был простой факт, и никакая масса умных рассуждений и тонких объяснений изменить этого факта не могла. Даже когда она свернула с дороги и уходила, другого, того, кто всё ещё продолжал идти прямо, не было. И прошло некоторое время, прежде чем этот другой обнаружил себя идущим вдоль длинной кучи битого камня, приготовленного для починки дороги.

По этой дороге, через просвет в южных холмах пришло то иное, и с такой интенсивностью и силой, что лишь с величайшим трудом можно было держаться прямо и продолжать идти. Это было подобно неистовой буре, но без ветра, без шума, и её интенсивность ошеломляла. Удивительно, что каждый раз, когда появляется иное, всегда присутствует нечто новое; оно никогда не бывает тем же самым, и оно всегда неожиданно. Это иное не является чем-то необычным, некой таинственной энергией — но иное таинственно в том смысле, что

находится оно за пределами и времени и мысли. Ум, захваченный временем и мыслью, никогда не может охватить и постичь его. Его нельзя понять — не больше, чем можно проанализировать и понять любовь, но без этой беспредельности, этой силы и энергии жизнь и всё существование, на любом уровне, становятся тривиальными и исполненными скорби. В этом есть абсолютность, но не окончательность; это абсолютная энергия, это самосуществование без причины; это не высшая, конечная энергия, потому что это вся энергия. Всякая форма энергии и действия должна перестать существовать, чтобы была она. Но в ней заключено всё действие. Любите, и делайте что хотите. Нужны смерть и полное разрушение, чтобы была она; не революция, изменение внешнего, а полное разрушение известного, в котором культивируются всякое укрытие и существование. Должна быть полная пустота, и только тогда это иное, вневременное, приходит. Но эта пустота не культивируется, она не результат, причину которого можно купить и продать, и она не продукт времени и процесса эволюции; время может рождать только время. Разрушение времени — не процесс; все методы и процессы продлевают время. Окончание времени есть полное окончание мысли и чувства.

Красота никогда не бывает личной. Холмы были тёмно-синими и несли вечерний свет. Дождь прошёл, и теперь появились большие пространства голубого; голубизна сверкала в окружении белых облаков; это была голубизна, заставляющая глаза блеснуть забытыми слезами, голубизна детства и невинности. И эта голубизна становилась нежной желтоватой зеленью ранних листьев весны, а за ней был огненно-красный цвет облака, которое набирало скорость на своём пути через холмы. А над холмами висели дождевые облака, тёмные, тяжёлые, неподвижные; они скапливались у холмов на западе, и солнце было зажато между холмами и облаками. Земля была размокшая, красная и чистая; каждое деревом каждый куст получили достаточно влаги; уже появились новые листья; листья манго были длинные, нежные, красновато-коричневые, у тамаринда были ярко-жёлтые маленькие листочки, у дождевого дерева появились маленькие побеги свежей светлой зелени; после многомесячного ожидания под палящим солнцем эти дожди принесли утешение земле; долина улыбалась. Придавленная нуждой деревня была грязной и вонючей, но так много детей играло, шумело и смеялось; похоже, ничто их не заботило, кроме игр, в которые они играли. Родители этих детей выглядели очень усталыми, замученными и заброшенными, они никогда не знали ни дня отдыха, чистоты, комфорта: голод, труд и опять голод; они были печальны, и хотя улыбались они довольно охотно, но глаза их погрузнели безвозвратно. Повсюду была красота: трава, холмы и полное жизни и движения небо; перекликались птицы, и высоко в небе кружил орёл. На холмах паслись тощие козы, поедая всё, что растёт; у них неутолимый голод; их малыши прыгали от скалы к скале. Козлята были такие мягкие на ощупь, их шерсть сверкала, чистая и здоровая. Мальчик, присматривающий за ними, распевал, сидя на камне и время от времени их окликавая.

Личное культивирование наслаждения красотой является эгоцентрической деятельностью; это ведёт к бесчувственности.

Было прелестное утро, ясное, каждая звезда сияла, и долина была полна тишины. Холмы были тёмные, темнее, чем небо, и прохладный воздух нёс запах дождя, запах листьев и пахучий аромат цветущего жасмина. Всё спало, каждый лист был неподвижен, и красота утра завораживала своим волшебством; это была красота земли и небес, человека, спящих птиц и свежего потока в сухом русле реки; и казалось невероятным, что она — не личная. В ней была определённая строгость, не культивированная, которая является просто результатом страха и отрицания, но та строгость полноты, такой абсолютно полной, что ей была незнакома никакая порча. И здесь на веранде, с Орионом в западной стороне неба, неистовство красоты сметало все защиты времени. Когда же медитируешь здесь, за пределами времени, видя небо, блистающее звёздами, безмолвную землю, тогда ясно понимаешь, что красота — не личная погоня за удовольствием, за искусственными вещами, вещами известными или за неизвестными образами и видениями мозга, с его мыслями и с его чувствами. Красота не имеет ничего общего с мыслью, настроением или приятным чувством, вызванным концертом, картиной или зрелищем футбольной игры; удовольствие от концерта или стихов, может быть, и более утончённое, чем от футбола, но всё это остаётся в том же самом поле, что и месса или какая-нибудь пуджа в храме. Это красота за пределами времени и выше пепла и удовольствий мысли. Мысль и чувство рассеивают энергию, поэтому красоты никогда не видят. Энергия с её интенсивностью необходима, чтобы видеть красоту, красоту, которая недоступна глазу наблюдающего. Когда есть видящий, есть наблюдающий, тогда красоты нет.

Здесь на душистой веранде, когда рассвет ещё далеко и деревья ещё безмолвны, красота есть то, что является сущностью. Но сущность эта непереживаема; переживание должно прекратиться, потому что переживание только укрепляет известное. Известное никогда не является сущностью.

Медитация — не продолжение переживания, она не только окончание переживания, являющегося ответом на вызов, большой или малый, но она и раскрытие двери к сущности, раскрытие двери печи, чей огонь уничтожает полностью, не оставляя никакого пепла; остатков нет. Мы—остатки, соглашатели многих тысяч вчера, непрерывной серии бесконечных воспоминаний, выбора и отчаяния. Большое Эго и маленькое эго являются системой, структурой существования, существование — мыслью, а мысль — это существование с никогда не кончающейся скорбью. В пламени медитации мысль заканчивается, а вместе с ней и чувство, ибо ни то, ни другое не есть любовь. Без любви нет сущности; без неё только пепел, и на этом пепле строится наше существование. Из пустоты выходит любовь.

Совы сегодня начали перекликаться очень рано. Сначала они были в разных частях долины: одна на западе, другая на севере; их крики были очень ясны в тихом воздухе и разносились очень далеко. Вначале они находились на некотором расстоянии друг от друга, но постепенно сближались; по мере того как они сближались, их крики становились хриплыми, очень низкими, не такими протяжными, короче, настойчивее. По мере приближения, они перекликались всё чаще; похоже, птицы были крупными, было слишком темно и их было не видно, даже когда они оказались на одном и том же дереве, совсем близко, и тон и характер их криков изменились. Они говорили друг с другом такими низкими голосами, что их едва было слышно. Они находились там довольно долго, пока не начался рассвет. Затем постепенно появился ряд звуков: залаяла собака, кого-то окликнули, взлетел фейерверк, — последние два дня был какой-то праздник, — открылась дверь, и, по мере того как становилось светлее, начались все дневные шумы.

Отвергать чрезвычайно важно. Отвергать сегодня, не зная, что при несёт завтра, значит оставаться пробуждённым. Отвергнуть все социальные, экономические, религиозные стереотипы значит остаться одному, то есть стать чувствительным. Быть неспособным полностью отвергнуть означает быть посредственным, заурядным. Быть неспособным отвергнуть честолюбие и все его пути означает принять ту норму существования, которая порождает и конфликт, и смятение, и скорбь. Отвергнуть политика, соответственно политика и в нас, этот отклик на ближайшее, близорукую жизнь, значит быть свободным от страха. Полное отрицание — это отрицание позитивного, отрицание подражательного импульса и склонности подчиняться и соответствовать. Но само по себе это отрицание позитивно, потому что оно — не реакция. Отвергать принятый стандарт красоты, прошлого или настоящего, это открыть красоту, которая за пределами мысли и чувства; но чтобы открыть её, необходима энергия. Эта энергия приходит, когда нет конфликта, противоречия, и действие не является более частичным, неполным.

Смирение — сущность всей добродетели. Смирение невозможно культивировать, как и добродетель. Респектабельная мораль любого общества — просто приспособление к стереотипу, утверждённому социальным, экономическим, религиозным окружением, но такая мораль меняющегося приспособления — не добродетель. Склонность подчиняться, соответствовать, как и подражательная озабоченность собственной безопасностью, именуемые моралью, есть отрицание добродетели. Порядок никогда не бывает постоянным — его нужно поддерживать каждый день, как комнату приходится убирать каждый день. Порядок нужно поддерживать из момента в момент, каждый день. Этот порядок — не личное, индивидуальное приспособление к системе обусловленных откликов; нравится и не нравится, удовольствия и боли. Этот порядок — не способ бегства от скорби; понимание скорби и окончание скорби есть добродетель, которая приносит порядок. Порядок, сам по себе, — не цель; порядок в качестве цели ведёт в тупик респектабельности, которая означает деградацию и упадок. Учиться — сама суть смирения; учиться у всего и учиться у всех. Когда человек учится, в самом процессе учения нет иерархии. Авторитет отвергает этот процесс, и последователь никогда не будет учиться.

За восточными холмами было одинокое облако, пламенеющее светом заходящего солнца; никакая фантазия не может создать такое облако.

Это была форма всех форм; никакой архитектор не смог бы спроектировать такую конструкцию. Она была результатом воздействия и множества ветров, и множества солнечных дней и ночей, и множества различных давлений и напряжений. Другие облака были тёмными, без света, и в них не было глубины или высоты, но это — взрывало пространство. Холм, за которым находилось облако, казался лишённым жизни и силы; холм утратил своё обычное достоинство и чистоту линий. Это облако вобрало в себя все особенности холмов, их мощь и безмолвие. Ниже выходящего облака лежала долина, зелёная и умытая дождём; есть что-то очень красивое в этой древней долине, когда пройдёт дождь; долина становится захватывающе яркой и зелёной, зелёной всевозможных оттенков, а земля становится ещё более красной. Воздух прозрачен, и большие утёсы на холмах светятся и красным и голубым и серым и бледно-фиолетовым.

В комнате находилось несколько человек; некоторые сидели на полу, другие на стульях; была атмосфера спокойного одобрения и наслаждения. Человек играл на восьмиструнном инструменте. Он играл с закрытыми глазами, наслаждаясь, как и маленькая аудитория. Это был чистый звук, и этот звук уносил далеко и очень глубоко; каждый звук уносил ещё глубже. Качество звука, производимого этим инструментом, делало путешествие бесконечным; с того момента, как он коснулся инструмента, и пока он не остановится, только звук имел значение — а не инструмент, не этот человек и не аудитория. Он, казалось, заглушал все другие звуки, даже звуки фейерверков, которые запускали мальчики; вы слышали их шум и их треск, но они были частью этого звука, и этот звук был всем — поющими цикадами и смехом мальчиков, зовом маленькой девочки и звуком безмолвия. Он, должно быть, играл более получаса, и всё это время путешествие вдаль и вглубь продолжалось; это не было путешествие, предпринятое в воображении, на крыльях мысли или в неистовстве эмоции. Такие путешествия коротки, в них есть какой-то смысл или они доставляют удовольствие; это не имело ни смысла, ни удовольствия. Здесь был только звук, и ничего больше, ни мысли, ни чувства. Этот звук уносил за пределы времени и спокойно входил в великую безмерную пустоту, из которой нет возврата. То, что всегда возвращается, есть память, это то, что было; но здесь не было ни памяти, ни опыта. Факт не имеет тени, памяти.

На небе не было ни облачка, когда солнце садилось за холмы; воздух был тих, спокоен, ни один лист не шевелился. Всё, казалось, застыло в неподвижности, в свете безоблачного неба. Отражение вечернего света в маленькой полоске воды у дороги было исполнено экстатической энергии, и маленький полевой цветок у края дороги был полон жизни. Там есть холм, который выглядит как один из древних и не имеющих возраста храмов; холм тёмно-лилового цвета, темнее фиалки; он заряжен энергией и невероятно равнодушен, отстранён; его переполнял внутренний свет, без тени, и каждый камень и куст смеялся от радости. Упряжка с двумя волами, перевозящая сено, двигалась по дороге, на том сене сидел мальчик; мужчина правил повозкой, которая производила массу шума. Они чётко выделялись на фоне неба, особенно очертания лица мальчика; линии носа и лба у него были чётко очерченные, изящные; то было лицо, которое не было и видно никогда не будет затронуто воспитанием, образованием; это было неиспорченное лицо, не приученное ещё к тяжёлой работе или какой-то ответственности, улыбочное лицо. Чистое небо отражалось в нём. Во время прогулки по этой дороге медитация представлялась самой естественной вещью; были страсть и ясность, и обстоятельства соответствовали состоянию. Мысль — это растрата энергии, так же как и чувство. Мысль и чувство вызывают отвлечение и рассеяние внимания, и концентрация становится защитной самопоглощённостью, как у ребёнка, поглощённого игрушкой. Игрушка очаровывает его, и он полностью в неё уходит; отберите игрушку, он станет беспокойным. То же самое и с взрослыми людьми; их игрушки — многочисленные способы бегства. Здесь на дороге мысль с её чувством не обладала способностью поглощать; у неё не было самопроизводной энергии, поэтому она пришла к концу. Мозг успокоился, как успокаивается вода, когда нет ветра. Это было затишье перед творением. И здесь на этом холме, совсем рядом, начала тихо кричать сова, но вдруг перестала, а высоко в небе пересекал долину один из этих бурых орлов. Значение имеет именно качество тишины; тишина, которая чем-то вызвана, — это застой; тишина, которая куплена, есть сделка, едва ли имеющая какую-либо ценность; тишина, являющаяся результатом контроля, дисциплины, подавления, кричит от отчаяния. Ни в долине, ни в уме не было ни звука, но ум ушёл за пределы долины и времени. И не было возвращения, потому что он не ушёл. Безмолвие — это глубина пустоты.

За поворотом дорога мягко спускается вниз через пару мостов над сухими красными речными руслами к другой стороне долины. Запряжённая в волов повозка съезжала вниз по этой дороге; какие-то крестьяне поднимались по ней вверх, робкие и тихие; в речном русле играли дети, и птица продолжала кричать. Как раз когда дорога повернула к востоку, пришло иное. Оно пришло, изливаясь великими волнами благословения, ослепительное и безмерное. Казалось, что небеса раскрылись, и из этой беспредельности вышло безымянное; оно было здесь весь день — осознал этот факт внезапно и только теперь, идя в одиночестве, — все остальные были немного в стороне, — и необычайным это сделало именно то, что в тот момент происходило; это была кульминация того, что происходило, а не отдельное событие. Был свет, но не от заходящего солнца или от мощного источника искусственного освещения; такой свет производит тени, а это был свет без тени, и это был свет.

Басовитая сова ухала в холмах; её низкий голос проникал в комнату и обострял слух. Не считая этого уханья, всё было тихо; не было даже кваканья лягушек, не слышно было ни шороха от какого-нибудь проходящего или пробегающего мимо зверя. Тишина усиливалась между криками совы, что доносились с южных холмов; они наполняли и долину и холмы, и воздух трепетал и пульсировал от этого призыва. Ответа на него не было очень долгое время, а когда он пришёл, он слышался из глубины долины с запада; но в промежутках между криками сов были тишина и красота ночи. Рассвет вскоре должен был наступить, но сейчас было ещё темно; можно было видеть очертания холма и это огромное баньяновое дерево. Плеяды и Орион заходили в ясном, безоблачном небе; короткий ливень освежил воздух, в нём были запахи, исходящие от старых деревьев, дождя, цветов и очень древних холмов. Это было действительно чудесное утро. Что было снаружи, то происходило и внутри, и медитация действительно есть движение того и другого, без разделения. Множество систем медитации просто замыкает ум в пределах какого-то шаблона, предлагая замечательные способы бегства и сильные ощущения; только незрелость играет с ними, получая от них большое удовлетворение. Без самопознания вся медитация ведёт к заблуждению и разным формам самообмана, фактическим или выдуманым. Это было движение интенсивной энергии, той энергии, которую конфликт никогда не познает. Конфликт извращает и рассеивает энергию, так же, как это делают идеалы и конформизм. Мысль ушла, и с мыслью чувство, но мозг был живым и полностью чувствительным. Всякое движение, действие с мотивом есть бездействие — и именно это бездействие разъедает и портит энергию. Любовь с мотивом перестаёт быть любовью; существует любовь без мотива. Тело было полностью неподвижно, а мозг был совершенно спокоен, и оба они действительно осознавали всё, но не было ни мысли, ни движения. Это не было формой гипноза, специально вызванным состоянием, поскольку нечего было этим достигать, никаких видений, сильных ощущений, всех этих глупостей. Это был факт, а в факте нет ни удовольствия, ни страдания. И это движение было недоступно для любого узнавания, для известного.

Наступил рассвет, и с ним пришло то иное, что составляет существенную часть медитации. Залаяла собака, и день начался.

Есть только факты, а не большие или меньшие факты. Понять факт, то, что есть, нельзя, если подходить к нему с мнениями или суждениями; тогда мнения и суждения становятся фактом, а не тот факт, который вы хотите понять. В процессе выяснения факта, наблюдения его, того, что есть, факт учит, и учение факта никогда не механично, а для того, чтобы следить за тем, как и чему он учит, необходимо слушать, наблюдать с острым вниманием; это внимание исключается, если есть мотив для слушания. Мотив рассеивает энергию, искажает её; действие с мотивом — это бездействие, ведущее к смятению и скорби. Скорбь сформирована мыслью, и мысль, питающая сама себя, формирует «я» и «мне». Как обладает жизнью машина, так обладает ею «я» и «мне» — жизнью, которая питается мыслью и чувством. Факт разрушает эту механику.

Вера является такой же ненужной, как и идеалы. И то и другое рассеивает энергию, необходимую, чтобы следовать развёртыванию факта, того, что есть. Верования, как и идеалы, — это бегство от факта, а в бегстве нет конца скорби. Окончание скорби — это понимание факта из момента в момент. Нет системы или метода, которые дадут понимание, его может дать только осознание факта, без выбора. Медитация, следующая системе, есть бегство от факта, от истины о том, что вы такое; и гораздо важнее понимать себя, постоянные изменения фактов относительно самого себя, чем медитировать, чтобы найти бога, иметь видения, иметь сильные ощущения и прочие виды развлечений.

Ворона каркала, как безумная; она сидела на ветке с густой листвой, и её не было видно. Другие вороны прилетали и улетали, но эта, почти не переставая, продолжала резко и пронзительно каркать — она была сердита или жаловалась на что-то. Листья качались вокруг неё, и даже редкие капли дождя её не остановили. Она была полностью поглощена тем, что её беспокоило, чем бы это ни было. Она вышла, встряхнулась и улетела на другое место только для того, чтобы возобновить свои резкие, язвительные жалобы; вскоре ворона устала, успокоилась. Потом та же самая ворона, и из того же самого места, издала другое карканье, приглушённое и какое-то дружелюбное, призывное. Были на дереве и другие птицы: индийская кукушка, ярко-жёлтая птица с чёрными крыльями, серебристо-серая толстая птица, одна из множества тех, что копошились под деревом. Маленькая полосатая белка прибежала и забралась на дерево. Все они были там, на том дереве, но крик вороны был самым громким и настойчивым. Солнце вышло из-за облаков, и дерево отбросило густую тень, и тогда с другой стороны небольшой, узкой ложбины донеслись звуки флейты, необыкновенно трогательные и волнующие.

Весь день облачно; облака тёмные, тяжёлые, но они не принесли никакого дождя, — и если не будет сильного и многочасового дождя, людям придётся страдать, земля опустеет, и не подаст голоса русло реки; солнце будет печь землю, зелень этих немногих недель исчезнет, земля станет бесплодной. Это было бы бедствием, и все деревни вокруг пострадали бы; они привыкли к страданию, лишениям и недостатку еды. Дождь был благословением; если он не пойдёт сейчас, его не будет в следующие шесть месяцев, почва здесь бедная, песчаная, каменистая. Рисовые поля придётся поливать из колодцев, и есть опасность, что и они тоже могут высохнуть. Существование здесь тяжёлое, грубое, в нём мало удовольствия. Холмы равнодушны; они видели скорбь из поколения в поколение, видели все виды несчастий, приход и уход, ведь это одни из самых древних холмов в мире, — они знали, но не могли многого сделать. Люди вырубали их леса, их деревья на дрова, козы уничтожали их кусты, — людям нужно жить. Холмы были безразличны, скорбь никогда не коснётся их; холмы отстранились и, находясь столь близко, были очень далеки. Они были синими этим утром, а некоторые фиолетовыми и серыми в своей зелени. Они не могли предложить никакой помощи, хотя были сильны, прекрасны, с тем ощущением мира, которое приходит так легко и естественно, без глубокой внутренней напряжённости, полное и лишённое корней. Но не будет здесь мира, изобилия, если дождь не придёт. Это ужасно, когда счастье ваше зависит от дождя, а реки и ирригационные каналы далеко, и правительство занято своей политикой, проектами и интригами. Вода, которая так полна света и так неустанно танцует, — она была нужна, а не слова и надежды.

Шёл мелкий дождик, и внизу на холме была радуга, такая нежная и причудливая; она изгибалась как раз над деревьями и северными холмами. Радуга сохранялась недолго, ибо дождик был мимолётен, но она оставила очень много капель на мимозоподобных листьях развесистого дерева поблизости. На листьях дерева три вороны принимали ванну, растопыривая свои черно-серые крылья, чтобы капли попадали на нижнюю часть крыльев и на туловище; они перекликались между собой, и в их карканьи звучало удовольствие; когда капель больше не оставалось, они передвигались в другую часть дерева. Их живые, блестящие глаза смотрели на вас, и их по-настоящему чёрные клювы были остры; в одном из речных русел поблизости бежала вода, небольшой ручеёк, и ещё там был протекающий кран, который образовал лужу, достаточную для птиц; бывали они здесь часто, но этим трём воронам, должно быть, пришла фантазия поприимать утреннюю ванну среди прохладных, освежающих листьев. Это было широко раскинувшееся дерево, очень красивое по своей форме, множество птиц прилетало искать на нём убежища в полдень. На его ветвях всегда есть какая-нибудь птица, выкликающая свои призывы, беззаботно щебечущая или сварливо бранящаяся. Деревья прекрасны и в жизни и в смерти; они живут, они никогда не думают о смерти; они всё время обновляют себя.

Как легко деградировать во всех отношениях, позволить телу потерять энергию, стать дряблым, жирным; позволить чувствам увядать; как легко уму разрешить себе стать узким, мелочным, вялым. Сообразительный, ловкий ум — это поверхностный ум, он не может обновлять себя и потому увядает в собственной горечи; он приходит в упадок вследствие проявления и применения своей собственной хрупкой остроты, своей собственной мысли. Всякая мысль формирует ум в соответствии с шаблоном известного; всякое чувство, всякая эмоция, пусть даже утончённая, становится расточительной и пустой, и тело, питаемое мыслью и чувством, теряет свою чувствительность. Не физическая энергия — хотя она и необходима — может прорваться сквозь усталую вялость, и не энтузиазм и не сентиментальность делают всё существо человека чутким и чувствительным; энтузиазм и сентиментальность развращают.

Именно мысль является разрушительным фактором, ибо корни мысли в известном. Жизнь, которая основывается на мысли и её деятельности, становится механической; как бы гладко ни шла она, это всё равно механическое действие. Действие с мотивом рассеивает энергию, из-за этого начинается разрушение. Все мотивы — и сознательные и бессознательные — исходят из известного. Жизнь известного, даже спроецированного в будущее в качестве неизвестного, есть упадок; в такой жизни нет обновления. Мысль никогда не даёт чистоты и смирения, но именно эти чистота и смирение сохраняют ум юным, чувствительным, не подверженным порче и разложению. Свобода от известного означает окончание мысли, и умирать для мысли из момента в момент значит быть свободным от известного. Это та смерть, которая положит конец упадку.

Здесь есть огромный валун, выступающий из череды южных холмов; он меняет свой цвет от часа к часу — красный, гладко отполированный мрамор темно-розового цвета, тусклый кирпично-красный, омытая дождём, обожжённая солнцем терракота, серый со мшисто-зелёным — цветок множества оттенков, но иногда кажется просто безжизненным куском камня. Он является всем этим, а сегодня утром, как раз когда рассвет окрашивал облака в серый цвет, этот камень был огнём, пламенем среди зелёных кустов; он подвержен настроениям, как избалованный человек, и его настроения никогда не бывают мрачными и угрожающими; у него всегда есть цвет, яркий или спокойный, кричащий или улыбающийся, приветливый или отстранённый. Он мог бы быть одним из богов, которым поклоняются, но он всё же камень с цветом и достоинством. Во всех этих холмах, казалось, было что-то и присущее каждому из них, все они не слишком высокие, они суровые в суровом климате, они выглядели вышедшими из-под рук ваятеля и будоражащими. Казалось, они находятся в полной гармонии с долиной, не очень большой, далёкой от городов и уличного движения, зелёной, когда идёт дождь, и засушливой; красота долины — это её деревья в зелёных рисовых полях. Некоторые из них крупные, с толстым стволом и с большими ветвями, и они великолепны по форме; другие ждут с надеждой дождя, он и чахлы, низкорослы, но всё же понемногу растут; у третьих обильная листва, и они дают много тени. Их здесь не слишком много, но те, что выживают, действительно довольно красивы. Земля имеет красный цвет, и деревья зеленые, а кусты очень близки к красной земле. И все они выдерживают многомесячные периоды сухих и жарких солнечных дней, когда же идёт дождь, радость их потрясает спокойствие долины; и каждое дерево, и каждый куст излучают жизнь, и каждый зелёный листок совершенно удивителен; холмы также присоединяются, и вся земля становится тем великолепием, каким она является сейчас.

В долине не было слышно ни звука, и было темно, и ни один листок не шевелился; рассвет должен был наступить через час или около того. Медитация — не состояние самогипноза, вызываемое словами или мыслью, повторением или образом; всякое воображение должно быть отброшено, ибо оно ведёт к заблуждению. Понимание фактов, а вовсе не теории, не составление умозаключений, не поправки или уточнения к ним, не стремление к видениям. Всё это должно быть отброшено — и медитация означает понимание этих фактов и тем самым выход за их пределы. Самопознание — начало медитации; без него так называемая медитация поведёт к всевозможным формам незрелости или глупости. Было рано, и долина спала. При пробуждении медитация была продолжением того, что происходило; тело было неподвижно; оно не было принуждено к спокойствию, оно было спокойно; мысли не было, но мозг был бдителен, без каких бы то ни было ощущений; ни мысль, ни чувство не существовали. И началось вневременное движение. Слово есть время, означающее пространство; слово принадлежит прошлому или будущему, действительное настоящее не имеет слова. Мёртвое может быть выражено в словах; живое — нет. Каждое слово, использованное для сообщения чего-то о живом, является отрицанием живого. Это было движение, проходившее через границы мозга и внутри этих границ, но мозг не имел контакта с ним; за ним невозможно было следовать, оно не подлежало опознанию. Это движение родилось не из известного; мозг смог бы следовать известному, поскольку смог бы опознать его, но здесь никакое опознание любого рода не было возможно. Движение имеет направление, но у этого направления не было; оно не было статичным. Поскольку оно было без направления, оно было сущностью действия. Всякое направление представляет собой влияние или реакцию. Но действие, которое не является результатом реакции, давления, влияния, есть полная и целостная энергия. Энергия эта, любовь,

обладает собственным движением. Но слово «любовь» — известное — не есть любовь. Существует только факт, свобода от известного. Медитация была вспышкой факта.

Наши проблемы умножаются и сохраняются; сохранение проблемы извращает и развращает ум. Проблема — конфликт, вопрос, который не был понят; такие проблемы становятся шрамами, и чистота, невинность оказывается разрушенной.

Каждый конфликт следует понять и тем самым с ним покончить. Один из факторов деградации — продление жизни проблемы; каждая проблема порождает другую проблему, и ум, сжигаемый проблемами — личными или коллективными, — находится в состоянии деградации.

Чувствительность и чувство, ощущение, — две вещи разные. Ощущения, эмоции, чувства всегда оставляют остаток, и накопления этих остатков отупляют и искажают. Чувства всегда противоречивы и поэтому конфликтны; конфликт всегда отупляет ум и искажает восприятие. Оценивать красоту с позиции чувства, с позиции нравится и не нравится, значит не воспринимать красоту; чувство может только разделять на прекрасное и безобразное, однако разделение не есть красота. Поскольку ощущения, чувства порождают конфликт, то, чтобы избежать конфликта, поощряются дисциплина, контроль, подавление, но это только создаёт сопротивление и, следовательно, увеличивает конфликт и приводит к ещё большей тупости и бесчувственности. Благочестивый контроль и подавление означают благочестивую бесчувственность и жестокую тупость, которые так высоко почитаются. Чтобы делать ум более тупым и глупым, изобретаются и широко распространяются разные идеалы и умозаключения. Все виды чувств и ощущений, будь они утончённые или грубые, стимулируют и усиливают сопротивление и увядание. Чувствительность — умирание для всякого остатка от чувства; быть чувствительным, полностью и интенсивно, к цветку, человеку, улыбке — значит не иметь шрамов памяти, ибо каждый шрам разрушает чувствительность. Осознавать каждое ощущение, чувство и мысль, когда они возникают, из момента в момент, без выбора, это значит быть свободным от шрамов и никогда не позволять шраму сформироваться. Ощущения и чувства и мысли всегда частичны, фрагментарны и деструктивны. Чувствительность есть целостность тела, ума и сердца.

Знание механично и функционально; знание, способность, используемые для обретения статуса, порождают конфликт, антагонизм и зависть. Повар и правитель—функции, и когда ими присваивается статус, начинаются ссоры и снобизм и поклонение положению — функции и власти. Власть всегда зло, и именно это зло развращает общество. Психологическая важность функции порождает иерархию статуса. Отвергать иерархию означает отвергать статус; существует иерархия функции, но не статуса. Слова не очень важны, а вот значение факта огромно. Факт никогда не приносит скорби, но слова, маскирующие факт и различные формы бегства от него, порождают несказанный конфликт и несчастье.

Целое стадо коров паслось на зелёном лугу; все они были коричневые, но разных оттенков, и когда они двигались все вместе, казалось, что движется земля. Они были довольно большие, ленивы, и им докучали мухи; за ними заботливо ухаживали и их хорошо кормили, в отличие от деревенских коров, которые исхудали до костей; мелкие, малопродуктивные, довольно вонючие, они, похоже, всегда голодны. С коровами всегда кто-нибудь бывает, или мальчик, или маленькая девочка; они покрикивают на коров, подзывают, разговаривают с ними. Жизнь повсюду трудна, существуют болезни и смерть. Там есть одна старая женщина, она проходит мимо каждый день, неся маленький горшочек молока или какую-то еду; она беззубая и выглядит робкой; одежда у неё грязная, на лице её горе; иногда она улыбается, но несколько вымученно. Она из соседней деревни, всегда ходит босиком; ноги у неё удивительно маленькие, сильные, и в ней есть огонь; она крепкая старушка. Её лёгкая походка вовсе не является лёгкой. Повсюду несчастье и вымученная улыбка. Боги остались только в храмах, и сильные мира сего никогда не обращают свой взор на эту женщину. Но пошёл дождь, долгий и сильный ливень, и облака овладели холмами. Деревья следовали за облаками, за ними устремлялись и холмы, человек же оставался позади.

Наступил рассвет; холмы были в облаках; птицы пели и призывно кричали или издавали клёкот; мычала корова, выла собака. Это было приятное утро, и свет был мягким, солнце же скрывалось за облаками и холмами. Под большим старым баньяном играла флейта, и ей аккомпанировал маленький барабан. Флейта преобладала над барабаном, её мелодия наполняла воздух; своими мягкими, нежными звуками она, казалось, пронизывала всё ваше существо; вы слушали её, хотя до вас доходили и иные звуки; меняющийся ритм ударов маленького барабана приходил к вам на волнах флейты, резкий же крик вороны сопутствовал барабану. Каждый звук входит внутрь, и некоторым звукам вы сопротивляетесь, другие встречаете радушно; приятный и неприятный — так вы что-то упускаете, теряете. Голос вороны сопутствовал барабану, а удары барабана приносила нежная мелодия флейты, и потому весь звук мог проникнуть глубоко, за пределы всякого сопротивления и удовольствия. И в этом была великая красота, не та красота, которую знают мысль и чувство. И на этом звуке плыла взрывающаяся медитация; в этой медитации соединились флейта, дробь барабана, пронзительное карканье вороны и всё земное, сообщая тем самым глубину и широту взрыву. Взрыв разрушителен, как разрушительны земля и жизнь, как разрушительна любовь. Звук флейты взрывает, если вы ему это позволите, но вы не хотите, ибо хотите спокойной, безопасной жизни, вот жизнь и становится таким скучным делом; и сделав её скучной, вы потом пытаетесь придавать значение или смысл уродству с его тривиальной красотой. И потому музыка есть нечто доставляющее удовольствие, возбуждающее массу чувств, — как футбол или какой-нибудь религиозный ритуал. Чувство, эмоция расходует энергию и так легко обращается в ненависть. Но любовь — не яркое ощущение, не что-то такое, что находится в плену у чувства.

Слушать полностью, без сопротивления, без какого-либо барьера есть чудо взрыва, разрушение известного, и слушать такой взрыв, без всякого мотива, без направления, это значит войти туда, куда не могут войти мысль и время.

Долина, по-видимому, имеет около мили в ширину в самом узком месте, где холмы сходятся и разбегаются к востоку и западу, хотя один-два холма мешают им разбежаться свободно; они находятся на западе, где солнце появляется открыто. Эти холмы постепенно исчезают, сливаясь с горизонтом с удивительной точностью; холмы обладают тем необыкновенным сине-фиолетовым цветом, который даётся почтенным возрастом и жарким солнцем. По вечерам холмы улавливают свет заходящего солнца, и тогда они становятся совершенно нереальными и удивительными по цвету; тогда небо на востоке расцветает всеми красками заходящего солнца, и можно подумать, что солнце село там. Это был вечер светлорозовых и тёмных облаков. В момент, когда выходил из дома, разговаривая с другим о самых разных вещах, то иное, непознаваемое, появилось здесь. Оно было таким неожиданным, потому что появилось посреди серьёзного разговора и с такой настойчивостью. Все разговоры пришли к концу, очень легко и естественно. Другой не заметил перемены в качестве атмосферы, он продолжал говорить что-то, не требующее ответа. Мы прошли всю эту милю почти без слова; мы шли с этим иным, с ним и под ним и в нём. Оно есть абсолютно неизвестное, хотя приходит и уходит; всякое узнавание прекратилось, ведь узнавание есть всё же путь известного. С каждым разом всё «больше» красоты, интенсивности и непостижимой силы. Это также и природа любви.

Был очень тихий, спокойный вечер, облака ушли и собирались вокруг заходящего солнца. Деревья, потревоженные ветерком, устраивались на ночь; они тоже успокоились; птицы слетались, находя убежище на ночь среди тех деревьев, у которых густая листва. Здесь были две маленькие совы; совы сидели высоко на проводах, глядя своими немигающими глазами. Холмы же, как обычно, стояли одиноко и отстранённо, далёкие от всех тревог; в течение дня им приходилось мириться с шумами долины, а теперь холмы устранились от всякого общения, и темнота сгушалась над ними несмотря на слабый свет луны. Луна была окружена ореолом туманных облаков, и всё готовилось уснуть, кроме холмов. Они никогда не спали, они всегда наблюдали, ждали, смотрели, они без конца переговаривались друг с другом. Те две маленькие совы на проводе издавали дребезжащий звук, вроде камней в металлической коробке; их трескотня была гораздо громче, чем можно было бы предположить по их маленьким телам, размером с большой кулак; вы слышали ночью, как они перелетают с дерева на дерево, хотя их полёт так же бесшумен, как и больших сов. Совы слетели с проволоки, и, опустившись пониже, почти к самым кустам, снова поднялись к нижним ветвям дерева и с безопасного расстояния настороженно наблюдали окружающее, но вскоре утратили ко всему интерес. А на кривом шесте, подальше вниз, сидела большая сова; она была коричневая, с огромными глазами и острым клювом; клюв совы, казалось, старался вылезти наружу между её вытаращенными глазами. Затем эта сова полетела, резко взмахивая крыльями, с таким спокойствием и такой неторопливостью, что вам оставалось лишь удивляться строению и силе этих великолепных крыльев; она улетела в холмы и там затерялась в темноте. Это, должно быть, та сова, у которой низкий голос и которая зовёт свою подругу ночью; прошлой ночью они, видимо, улетали в другие долины, за холмы; они должны были вернуться, поскольку постоянное место их обитания один из тех северных холмов, где вы могли слышать их зов ранним вечером, если вам случалось тихо пройти мимо. За этими холмами были более плодородные земли с заманчивыми зелёными рисовыми полями.

Сомнение и стремление оспорить стали просто бунтом, реакцией на то, что есть, но во всех реакциях так мало смысла. Коммунисты бунтуют против капиталистов, сын против отца; отказ принимать социальную норму, чтобы разорвать экономические и классовые узы. Возможно, эти бунты необходимы, но всё же они не очень глубоки; вместо старого стереотипа начинает повторяться новый стереотип, и в самом разрушении старого уже заключается новый, замыкающий, закупоривающий ум и разрушающий его этим.

Бесконечный бунт внутри тюрьмы есть реакция, ставящая под вопрос и оспаривающая ближайшее; перестроенные и по-другому украшенные тюремные стены, по-видимому, дают нам такое глубокое удовлетворение, что мы никогда не прорываемся сквозь эти стены наружу. Сомневающееся, оспаривающее недовольство внутри стен ведёт нас не слишком далеко; оно может привести вас на луну или к нейтронным бомбам, но всё это остаётся в пределах скорби. Но усомниться в структуре скорби, исследовать её и выйти за её пределы — это не означает находить убежище в реагировании. Такое сомнение — гораздо более настоятельная необходимость, чем полёт на луну или посещение храма; это то сомнение, которое разрушает структуру и не создаёт новую и более дорогую тюрьму с её богами, с её спасителями, с её экономистами и лидерами. Такое сомнение разрушает механизм мысли, оно не производит замену мысли или вывода или теории другими, новыми. Такое сомнение сокрушает авторитет, авторитет опыта, слова и наиболее почитаемого зла — власти. Это сомнение, которое не порождено реакцией, выбором или мотивом, взрывает моральную и респектабельную

эгоцентрическую активность, ту самую активность, которую постоянно видоизменяют и совершенствуют, но никогда не ликвидируют радикально и полностью. Это бесконечное усовершенствование означает бесконечную скорбь. То, что имеет причину или имеет мотив, неизбежно порождает страдание и отчаяние.

Мы боимся полного разрушения известного, основы эго, «я», «моё»; известное лучше неизвестного, известное с его смятением, конфликтом и несчастьем; свобода от известного может разрушить то, что мы называем любовью, отношениями, радостью и прочее. Свобода от известного, взрывающее сомнение, — не реакция, — кладёт конец печали, так что любовь есть нечто такое, чего ни мысль, ни чувство не могут измерить.

Наша жизнь так поверхностна и пуста, мелкие мысли и мелочные действия, вплетённые в конфликт и несчастье, постоянные переходы от известного к известному и психологическая потребность в безопасности. В известном нет безопасности, — как бы того ни хотелось человеку. Безопасность — это время, а психологического времени не существует, оно — миф и иллюзия, порождающие страх. Нет ничего постоянного ни сейчас, ни потом, в будущем. Если мы правильно сомневаемся, исследуем и слушаем, то этим полностью разрушается формируемая мыслью и чувством система — система известного. Самопознание, познание путей мысли и чувства, внимание к каждому движению мысли и чувства, кладёт конец известному. Известное порождает скорбь, и любовь — это свобода от известного.

Земля была цвета неба; холмы, зелень созревающих рисовых полей, деревья и сухое песчаное русло реки имели цвет неба; каждая скала на холмах, большие валуны, были облаками, и в то же время они были скалами. Небо было землёй, а земля небом; заходящее солнце преобразило всё. Небо пылало огнём, вспыхивающим в каждой полоске облаков, каждом камне, каждой травинке и песчинке. Небо полыхало зелёным, пурпурным, фиолетовым, тёмно-синим; оно полыхало с неистовством пламени. Над этим холмом оно было широким мазком пурпурного и золотого; а над южными холмами оно горело мягкой зеленью и увядающей синевой; на востоке столь же великолепен был противозакат — в ярко-красном и жжёной охре, красном цвета фуксина и бледно-фиолетовом. Противозакат взрывался таким же великолепием, как и закат на западе; редкие облака собрались вокруг заходящего солнца, они были чистым, бездымным огнём, который никогда не угаснет. Необъятность этого огня и его интенсивность пронизывали всё — и уходили в землю. Земля была небом, и небо было землёй. И всё было живым, искрилось и вспыхивало цветом, и цвет был богом, не человеческим богом. Холмы стали прозрачными; каждая скала и камень потеряли свой вес, плавая в цвете, и отдалённые холмы были голубыми голубизной всех морей и неба всех стран. Созревающие рисовые поля были ярко-розовые и зелёные, они сразу привлекали внимание. И дорога, пересекавшая долину, была фиолетовой и белой, такой живой, что казалась одним из лучей, стремительно пересекавших небо. Вы были из этого света, пылающего, яростного, взрывающегося, — без тени, без корня, без слова. И по мере того как солнце опускалось всё ниже, каждый цвет становился всё более сильным, более интенсивным, вы же полностью исчезали, без всяких воспоминаний. Это был вечер, у которого не было памяти.

Каждая мысль и чувство должны цвести, чтобы жить и умирать; цвести должно всё в вас — честолюбивое стремление, жадность, ненависть, радость, страсть; в цветении их смерть и свобода. Только в свободе может что-то процветать и развиваться, не в подавлении, контроле и дисциплине, они только извращают и развращают. Цветение и свобода есть благо и вся добродетель. Позволить зависти цвести нелегко; её осуждают или её лелеют, но никогда не дают ей свободы. Только в свободе факт зависти раскрывает свой цвет, свою форму, свою глубину, свои особенности; а если её подавлять, она никогда не раскроется полностью и свободно. Когда она проявила себя полностью, ей приходит конец: только для того, чтобы раскрыть другой факт, факт пустоты, факт одиночества, факт страха; по мере того как каждому факту позволяется цвести свободно, во всей полноте, конфликт между наблюдающим и наблюдаемым прекращается; цензора больше нет — есть только наблюдение, есть только видение. Свобода возможна только в завершении, а не в повторении, не в подавлении, не в подчинении шаблонам мысли. Завершение присутствует лишь в цветении и умирании; нет цветения, если нет окончания. Имеющее продолжение — это мысль во времени. Цветение мысли — это окончание мысли, потому что только в смерти есть новое.

Нового не может быть, если нет свободы от известного. Мысль — старое — не может принести нового, она должна умереть, чтобы было новое. Что цветёт, то должно прийти к концу.

Было очень темно; в безоблачном небе блистали звёзды, и горный воздух был свеж и прохладен. Фары выхватывали высокие кактусы, и они казались полированным серебром; утренняя роса лежала на них, и они светились; мелкие растения блестели от росы, и фары заставляли растительность вокруг искриться и вспыхивать зелёным цветом, и цвет этот не был зелёным цветом дня. Каждое дерево молчало, таинственное, дремлющее и неприступное. Орион и Плеяды заходили среди тёмных холмов; даже совы были далеко и молчали; не считая шума автомобиля, вся земля спала; только сидевшие у дороги козодои с красными, сверкающими глазами, будучи выхвачены из темноты светом фар, уставились на нас и, беспокойно затрепыхавшись, улетели. Так рано утром крестьяне спали, и лишь редкие люди на дороге, закутавшись так, что видны были только лица, устало брели из одной деревни в другую, и выглядели они так, будто брели всю ночь; несколько человек сгрудилось вокруг огня, отбрасывая на дорогу длинные тени. Собака чесалась посреди дороги; она не пожелала сдвинуться, и автомобилю пришлось объехать её. Затем вдруг показалась утренняя звезда, чуть ли не величиной с блюдце; звезда была поразительно яркая и, казалось, завладела всем востоком. Пока она поднималась, показался Меркурий, как раз под ней, бледный и могущественный. Лёгкое зарево вдали было началом рассвета. Дорога извивалась туда-сюда; почти нигде дорога не шла прямо, и деревья по сторонам мешали ей убежать в поля. Попадались большие водоёмы, которыми воспользуются для полива летом, когда воды будет не хватать. Птицы всё ещё спали, кроме одной или двух, но по мере приближения рассвета они начали просыпаться — вороны и стервятники, голуби и бесчисленные мелкие пташки. Мы поднимались и пересекали длинный лесистый кряж; ни одно дикое животное не перебежало дорогу. Теперь на дороге появились обезьяны; огромный самец сидел под толстым стволом тамаринда и даже не пошевелился, когда мы проезжали мимо, хотя все остальные разбежались во все стороны. Маленькая обезьянка, должно быть, всего лишь нескольких дней от роду, прицепилась к животу своей матери, которая, похоже, была весьма недовольна происходящим. Рассвет уступал место дню; грузовики, с грохотом проносящиеся мимо, выключили фары. Теперь проснулись и деревни; люди подметали входные ступени, выбрасывая мусор на середину дороги; грязные, запаршивевшие собаки всё ещё крепко спали прямо посреди дороги; они, похоже, предпочитают именно самую середину дороги; грузовики объезжали их, автомобили и людей. Женщины, сопровождаемые маленькими детьми, несли воду из колодца. Солнце становилось жарче и ярче, холмы были суровы, и деревьев здесь стало меньше; мы покидали горы и направлялись к морю по плоской, открытой местности; воздух был горячим и влажным; мы приближались к большому густонаселённому и грязному городу (*Мадрас. Здесь он остановился в доме на северном берегу реки Адьяр. Эта река впадает в Бенгальский залив южнее Мадраса*), и холмы остались далеко позади.

Автомобиль ехал довольно быстро, и это было хорошее место для медитации. Быть свободным от слова и не придавать ему слишком большого значения; видеть, что слово не реальность и что вещь, реальность никогда не бывает словом; не попадать во власть намёков и подтекстов слова и всё же использовать слова, с осторожностью и пониманием; быть чутким к словам и не быть ими придавленным или отягощённым, прорываться сквозь барьер слов и рассматривать факт, реальность; избегать яда слов и чувствовать их красоту; отбрасывать всякое отождествление со словами и исследовать их, потому что слова — ловушка, западня. Они символы, а не реальность. Завеса слов служит укрытием для ленивого, бездумного и лживого ума. Подчинение словам есть начало бездействия, которое может казаться действием, и ум, захваченный символами, не может далеко продвинуться. И каждое слово, и каждая мысль

формируют ум, и без понимания каждой мысли ум становится рабом слов и начинается скорбь. Ни умозаключения, ни объяснения не могут положить конец скорби.

Медитация — не средство достижения цели; нет никакой цели и нет достижения; это движение во времени и вне времени. Любая система, любой метод привязывают мысль к времени, но осознание без выбора каждой мысли и чувства, понимание их мотивов, их механизма, предоставление им возможности расцвести есть начало медитации. Когда мысль и чувство цветут и умирают, медитация есть движение вне времени. В этом движении —экстаз; в полной пустоте—любовь, а с любовью — разрушение и творение.

Всякое существование есть выбор; только в одиночестве нет выбора. Выбор — в любой форме — означает конфликт. В выборе неизбежно присутствует противоречие; это противоречие, внутреннее и внешнее, порождает смятение и несчастье. Чтобы убежать от этого несчастья, настоятельно необходимыми становятся боги, верования, национализм, приверженность различным формам деятельности. И в случае бегства они становятся сверхценными, но бегство — это путь иллюзии; тогда и приходят страх и тревога. Скорбь и отчаяние — это путь выбора, и здесь нет конца страданию. Выбор, отбор всегда неизбежен, пока есть выбирающий, накопленная память о страдании и удовольствии, и каждый опыт выбора только усиливает память, чей отклик становится мыслью и чувством. Память имеет лишь частное назначение — откликаться механически, этот отклик и есть выбор. В выборе нет свободы. Вы выбираете согласно окружению, в котором были воспитаны, согласно вашей социальной, экономической, религиозной обусловленности. Выбор неизбежно усиливает эту обусловленность; нет способа убежать от этой обусловленности — это только порождает ещё большее страдание.

Вокруг солнца образовалось скопление из нескольких облаков, и они пылали далеко внизу, у горизонта. Пальмы темнели на фоне пылающего неба; они стояли среди золотисто-зелёных рисовых полей, тянувшихся далеко к горизонту. Одна из пальм стояла совершенно отдельно в желтеющей зелени риса; она не была одинокой, хотя и выглядела довольно заброшенной и далёкой. С моря дул ласковый ветерок, и редкие облачка гонялись друг за другом быстрее ветра. Пламя угасало, и луна сгущала тени. Повсюду здесь были тени, тихо шепчущиеся друг с другом. Луна стояла прямо над головой, и тени на дороге были глубокими и обманчивыми. Должно быть, водяная змея пересекала дорогу, спокойно скользя и преследуя лягушку; на рисовых полях была вода, и лягушки квакали с почти правильной ритмичностью; в длинной полосе воды близ дороги они, высунув из воды головы, гонялись друг за другом; они ныряли и снова высывались, чтобы исчезнуть опять. Вода была ярко-серебристая и сверкающая, и тёплая на ощупь, и полная таинственных шумов. Мимо проезжали запряжённые в волов повозки, везущие в город дрова; звонил звонок велосипеда, а грузовик с ярко горящими фарами пронзительно гудел и требовал проезда; но тени оставались неподвижными. Это был красивый вечер, и здесь, на этой дороге, так близко к городу, пребывало глубокое безмолвие; ничто не нарушало его, даже луна и грузовик. Это было безмолвие, которого ни мысль, ни слово коснуться не могли, безмолвие, которое гармонировало с лягушками, с велосипедами, безмолвие, которое следовало за вами; вы шли в нём, вы дышали им, вы видели его. Оно не было робким, оно было и настойчивым и приветливым. Оно выходило за ваши пределы в необъятные просторы, и вы могли следовать за ним, если ваша мысль и чувство были полностью спокойны, забывали и теряли себя подобно лягушкам в воде; те были лишены всякой важности и так легко могли потеряться и найтись снова, когда это понадобится. Это был очаровательный вечер, полный ясности и мимолётной улыбки.

Выбор всегда порождает несчастье. Понаблюдайте за ним и увидите, как он таится, требует, настаивает и умоляет, и прежде чем вы поймёте, где вы, вы уже пойманы в его сети неизбежных обязанностей, ответственностей и отчаяний. Наблюдайте его, и вы осознаете факт. Осознавайте факт, вы не можете прикрывать, прятать его; вы можете маскировать его, убегать от него, но вы не можете изменить его. Он есть. Если вы оставите факт в покое, не вмешиваясь в него и не мешая ему своими мнениями и надеждами, страхами и отчаянием, своими продуманными, хитроумными суждениями, он расцветёт и покажет все свои хитрости, все свои тонкие пути, а

их много, всю свою кажущуюся важность и этику, свои скрытые мотивы и причуды. Если вы оставите факт в покое, он покажет вам всё это и ещё больше. Но вы должны осознавать факт без выбора, будучи и мягким и тихим. Тогда вы увидите, что выбор, достигнув расцвета, у мрёт, и тогда будет свобода, не то, чтобы вы стали свободны, а просто будет свобода. Творец выбора — вы сами; вы прекратили делать выбор. Нечего выбирать. И из этого состояния отсутствия выбора расцветает одиночество. И присущее ему умирание не кончается никогда. Оно всегда цветёт, и оно всегда новое. Умирать для известного значит остаться одному. Всякий выбор существует в поле известного, и действие в этом поле всегда порождает скорбь. Окончание скорби — в том, чтобы быть одному.

(Этим утром он провёл первую из восьми бесед в Мадрасе, продолжавшихся до 17 декабря).

В просвете массы листьев виден розовый цветок из трёх лепестков; он был погружён в зелень и тоже, должно быть, удивлялся собственной красоте. Он рос на высоком кусте, старающемся выжить среди всей этой зелени; над ним возвышалось огромное дерево, и там было ещё несколько кустов, тоже борющихся за жизнь. На этом кусте было множество и других цветов, но этот не имел соседей среди листвы, он был сам по себе и тем поражал ещё больше. Лёгкий ветер гулял среди листьев, но никогда не доходил до этого цветка, неподвижного и одинокого; и поскольку он был одинок, в нём была необыкновенная красота, как в единственной звезде, когда небо пусто. За зелёной листвой виднелся чёрный ствол пальмы; в действительности чёрным он не был, но выглядел как хобот слона; пока вы смотрели на него, чёрное превратилось в цветущее розовое; вечернее солнце освещало пальму, и верхушки деревьев пылали, замерев в неподвижности. Ветерок утих; отсветы заходящего солнца играли на листьях. Маленькая птичка сидела на ветке, прихорашиваясь. Она остановилась, чтобы оглядеться, но вскоре улетела в сторону солнца. Мы сидели лицом к музыкантам, а они — лицом к заходящему солнцу; нас было совсем не много, и барабанщик с удовольствием и удивительным мастерством бил в маленький барабан; было действительно поразительно, что выделяли эти пальцы. Барабанщик вовсе не смотрел на свои руки, они, как казалось, обладали собственной жизнью, двигаясь с огромной быстротой и чёткостью, ударяя по натянутой коже с точностью, без малейшего колебания. Левая рука не знала, что делала правая, так как она выбивала другой ритм, но обе всегда были в гармонии друг с другом. Тот, кто бил в барабан, был совсем молод, серьёзен, с блестящими глазами; у него был талант, и ему доставляло удовольствие играть для этой небольшой, восприимчивой и благодарной аудитории. Потом вступил струнный инструмент — и маленький барабан сопровождал его игру. Он больше не был одинок.

Солнце зашло, и редкие блуждающие облака становились бледно-розовыми; на этой широте не бывает сумерек, и луна, почти полная, сияла в безоблачном небе. Прогулка по этой дороге с лунным светом на воде и кваканьем множества лягушек стала благословением. Удивительно, как далеко остался мир и в какие глубины привела эта прогулка. Телеграфные столбы, автобусы, повозки с волами и измождённые крестьяне были здесь, рядом, но вы были далеко и так глубоко, что никакая мысль не могла последовать за вами и все чувства остались вдали. Вы шли, осознавая всё происходящее вокруг вас, затягивание луны массами облаков, предупреждающий звонок велосипеда, но вы были далеко, не вы, а огромная беспредельная глубина. Эта глубина всё больше разворачивалась вглубь самой себя, вне времени и за пределами пространства. И память не могла следовать за ней; память ограничена, а она нет. То была полная, абсолютная свобода, свобода без корня и направления. И глубоко, вдали от мысли взрывалась энергия, которая была экстазом. Для мысли это слово имеет приятное значение, оно доставляет ей удовольствие, но мысль не могла овладеть этим экстазом или последовать за ним в ту даль, где нет пространства. Мысль — нечто бесплодное и не может следовать или сообщаться с тем, что вне времени. Грохочущий автомобиль со спящими фарами чуть было не столкнул вас с дороги в плещущуюся, как в танце, воду.

Сущность контроля — подавление. Чистое видение кладёт конец всем формам подавления; видение бесконечно тоньше простого контроля. Контроль сравнительно лёгок, большого понимания он не требует; соответствие шаблону, подчинение утверждённому авторитету, страх

поступить неправильно и страх нарушить традицию, стремление к успеху — именно это приводит к подавлению того, что есть, или облагораживающему искажению того, что есть. Чистое действие видения факта, каким бы он ни был, несёт своё собственное понимание — и из него возникает перемена.

Солнце было скрыто облаками, и плоская земля тянулась далеко в горизонт, который становился золотисто-коричневым и красным; там был маленький канал, дорога проходила над ним среди рисовых полей. Золотисто-жёлтые и зелёные, они тянулись по обеим сторонам дороги, с востока и запада, к морю и заходящему солнцу. Есть что-то необычайно волнующее и прекрасное в зрелище пальм, чернеющих на фоне пылающего неба среди рисовых полей. И дело не в том, что эта сцена была романтической или сентиментальной или напоминала изображение на почтовых открытках; возможно, всё это было, но здесь присутствовали интенсивность, огромное достоинство и блаженство в самой земле и в обычных вещах, мимо которых проходишь каждый день. Канал, длинная, узкая полоса воды расплавленного огня, тянулся на юг и север среди рисовых полей, безмолвный и одинокий; движения по нему было не много; баржи, грубо сделанные, с квадратными или треугольными парусами, перевозили дрова и песок, и людей, которые сидели кучками и выглядели очень странными, очень серьёзными. Над этими обширными зелёными пространствами возвышались пальмы; пальмы были всевозможных форм и размеров, независимые и беззаботные, овеваемые ветрами и обожжённые солнцем. Рисовые поля созревали, становясь золотисто-жёлтыми, на них были большие белые птицы; сейчас они улетали в солнечный закат, вытягивая длинные ноги назад; их крылья лениво рассекали воздух. Запряжённые в волов повозки, везущие казуариновые дрова в город, со скрипом проезжали мимо длинной вереницей, а люди шли пешком, потому что груз был тяжёлый. Это были привычные картины, но не одна из них не была тем, что делало вечер очаровательным, — они были частью угасающего вечера вместе с шумными автобусами, тихими велосипедами, кваканьем лягушек, запахом этого вечера. Это была глубокая, расширяющаяся интенсивность, нависшая ясность того иного с его непостижимой силой и чистотой. То, что было красивым, теперь было прославлено и возвеличено в блеске; всё было облачено в него; экстаз и смех были не только глубоко внутри, но и среди пальм и рисовых полей. Любовь есть что-то необычное — но здесь, в хижине с масляным светильником, она присутствовала; любовь была с той старой женщиной, которая несла на голове что-то тяжёлое, с этим обнажённым мальчиком, вертящим на верёвочке кусочек дерева, который выбрасывал множество искр, так как это был его фейерверк. Любовь была повсюду, так просто, что вы могли найти её под мёртвым листом или в этом жасмине около старого полуразвалившегося дома. Но каждый был занят чем-то; занят и потерян. Она была здесь, наполняя ваше сердце, ваш ум и всё небо; она осталась бы, чтобы никогда не покинуть вас. Вам нужно было только умирать для всего, без корней и без слез. Тогда она пришла бы к вам, если бы вам повезло и вы навсегда перестали бы гоняться за ней, умоляя, надеясь и плача. Бесстрастные по отношению к ней, но и без скорби, и с мыслью, оставленной далеко позади. Тогда она была бы здесь, на этой грязной, тёмной дороге.

Цветение медитации — благо. Медитация не добродетель, собираемая по кусочкам, постепенно, в течение времени; это не мораль, сделанная обществом уважаемой, и не санкция авторитета. Сама красота медитации придаёт аромат её цветению. Какая может быть радость в медитации, если она является заговариванием желания и боли; как может она расцвести, если вы идёте к ней через контроль, подавление и жертвы; как может она цвести во мраке страха или в разлагающем честолюбивом устремлении, в атмосфере успеха; как может она расцветать в тени надежды или отчаяния? Вам придётся оставить всё это далеко позади, без сожаления, легко и естественно. Понимаете, медитации незачем строить защитные укрепления, сопротивляться и увядать, она не исходит из практики какой-либо системы.

Все системы неизбежно формируют мысль в соответствии с шаблоном, а соответствие,

подчинение уничтожают цветение медитации. И цветёт она только в свободе и увядании того, что есть. Без свободы нет самопознания, а без самопознания нет медитации. Мысль всегда мелка и поверхностна, как бы далеко она ни забрела в поисках знания; приобретение всё большего знания — не медитация. Медитация цветёт только в свободе от известного и увядает в известном.

Здесь есть пальмовое дерево, совершенно обособленное, посреди рисового поля; оно уже не молодое; здесь лишь несколько пальм. Оно очень высокое, очень прямое; в нём ощущается праведность с налётом респектабельности. Оно здесь, и оно одно. Оно никогда не знало ничего другого и таким и останется, пока не умрёт или не будет уничтожено. Вы наталкивались на него внезапно за поворотом дороги, и вас поражал его вид среди густых рисовых полей и текущей воды; вода и зелёные поля шептались друг с другом, что они всегда делают, с древнейших времён, и их тихое бормотанье никогда не доходило до пальмы; она была наедине с этим высоким небом и пробегающими облаками. Она была самой собой, завершённая и отстранённая, и не могла быть ничем иным. Вода поблёскивала в вечернем свете, и на некотором удалении от дороги, к западу от неё, стояла эта пальма, за ней опять густые рисовые поля; прежде чем наткнуться на неё, вы должны проехать несколько шумных, грязных, пыльных улиц, полных детей, коз и коров; автобусы поднимали клубы пыли, на что, похоже, никто не обращал внимания, и на той дороге было полно собак, облезлых и запаршивевших. Автомобиль свернул с главного шоссе, идущего мимо множества маленьких домиков и садов, мимо рисовых полей, повернул налево, проехал через какие-то претенциозно великолепные ворота и немного дальше, где на открытом месте паслись олени. Их было, должно быть, две или три дюжины; у некоторых были тяжёлые высокие рога, по иным же оленям было уже ясно видно, какими они будут; многие были пятнистыми, с белым; они нервничали, дёргали своими большими ушами, но продолжали пастись. Многие перешли через красную дорогу на открытое место, ещё несколько оленей ожидало в кустах, чтобы посмотреть, что будет; маленький автомобиль остановился, и вскоре все олени перешли дорогу и присоединились к остальным. Вечер был ясный, и звёзды выходили яркие и чёткие; деревья устраивались на ночь, и неутомное щебетанье птиц утихло. Вечерний свет отражался в воде.

В этом вечернем свете, на этой узкой дороге интенсивность восторга нарастала — и никакой причины для этого не было. Он начался, когда следил за маленьким скачущим пауком, который бросался на муху с поразительной быстротой и крепко хватал её; он начался, когда смотрел на единственный трепещущий лист, тогда как прочие листья оставались неподвижны; он начался, когда наблюдал за маленькой полосатой белкой, как она на что-то бранилась, и её длинный хвост подскакивал вверх и вниз. Этот восторг не имел причины; радость, которая есть просто результат чего-либо, так или иначе весьма ничтожна и обыденна, она портится и прокисает с переменами. Этот странный, неожиданный восторг возрастал в своей интенсивности, но что интенсивно, никогда не бывает грубым; он обладает качеством мягкости и уступчивости, но всё же он остаётся интенсивным. Это не интенсивность сконцентрированной энергии; она не вызвана и мыслью, преследующей идею, и мыслью, занятой самой собой; это не усилившееся чувство, так как всё это имеет мотивы и цели. Эта интенсивность не имела ни цели, ни причины, не была вызвана к жизни концентрацией, которая в действительности препятствует пробуждению всей энергии в её полноте. Она нарастала, хотя для этого ничего не делалось; она была как бы чем-то вне вас, над чем вы не имели власти; вы не могли участвовать в этом. В самом нарастании интенсивности была мягкость. Это слово скомпрометировано, им обозначают слабость, сентиментальность, нерешительность, неуверенность, робкую склонность к отступлению, уходу, некоторый страх и прочее. Но ничего этого не было; его наполняла жизненная энергия, и он был сильным, свободным от защиты и потому интенсивным. Вы не могли бы возбуждать, возвращать его в себе, даже если бы вы и пожелали; он не принадлежал к категории сильного и слабого. Он был уязвим, как любовь.

Интенсивность восторга с его мягкостью возросла. Не было ничего другого, кроме него. Приход и уход людей, поездка в автомобиле и разговор, олень, пальма, звёзды, рисовые поля были здесь в своей красоте и свежести, но все они были внутри и снаружи этой интенсивности. Пламя имеет форму, линию, но внутри пламени есть только интенсивный жар без линии и формы.

Облака громоздились на юго-западе, подгоняемые сильным ветром; это были великолепные, огромные кучевые облака, полные неистовства и размаха; они были белыми и тёмно-серыми и несли дождь, заполняя небо. Старые деревья сердились на них и на ветер. Они хотели, чтобы их оставили в покое, хотя и нуждались в дожде; он снова отмыл бы их дочиста, смыл всю пыль, их листья заблестели бы опять, но им, как старым людям, не хотелось, чтобы их беспокоили. В саду было так много цветов, красок, каждый цветок исполнял танец, прыг-скок, каждый листок был в движении, и раскачивались даже травинки на небольшом газоне. Две старые худые женщины пропалывали его; две старушки, состарившиеся до времени, тощие и оборванные; они сидели на газоне на корточках, болтали и неторопливо пололи траву; и они были не целиком здесь, они были также и где-то в другом месте, унесённые своими мыслями, хотя пололи и разговаривали. Они выглядели понятливыми, смыслёнными, и у них были живые глаза, — но, по-видимому, слишком большое количество детей и отсутствие хорошей пищи сделали их старыми и измученными. Вы стали ими, а они были вами, травой, облаками; это не было словесным мостом, который вы переходили из жалости или из какого-то смутного, неведомого чувства; вы вообще не думали, и ваши эмоции молчали. Они были вами, а вы ими; расстояние и время исчезли. Подъехал автомобиль, и шофёр тоже вошёл в этот мир. Его застенчивая улыбка и приветствие были вашими, и вы недоумевали, кому он улыбается и кого приветствует; он ощущал лёгкую неловкость, так как это чувство — быть вместе — было для него не совсем привычным. Женщины и шофёр были вами, а вы были ими; барьер, который был выстроен, исчез, и с плывущими над головой облаками всё это казалось частью расширяющегося круга, который включал в себя так много всего, грязную дорогу, ослепительное небо и прохожего. Это не имело никакого отношения к мысли, мысль в любом случае весьма ничтожная вещь; и чувство никак в этом не участвовало. Это было как пламя, прожигающее себе дорогу через всё, не оставляя следов, пепла; и это не было переживанием с его памятью и повторением. Они были вами, вы были ими, и это умерло вместе с умом.

Какое странное желание — показать себя или кем-то быть. Зависть означает ненависть, а тщеславие развращает. Кажется, что так невозможно трудно быть простым, быть тем, что вы есть, и не притворяться. Очень трудно быть тем, что вы есть, и не пытаться чем-то стать — что, как раз, не слишком трудно. Вы всегда можете притворяться, носить маску, но быть тем, что вы есть, чрезвычайно сложное дело, так как вы всё время меняетесь; вы никогда не бываете тем же самым, и каждый момент открывает новую грань, новую глубину, новую поверхность. Вы не можете быть всем этим в каждый момент, так как каждый момент несёт с собой свою собственную перемену. Поэтому, если вы вообще разумны, вы откажетесь от того, чтобы быть чем-то. Вы думаете, что вы очень чувствительны, и вот какой-то случай, промелькнувшая мысль, показывает, что это не так; вы думаете, что вы умны, начитаны, артистичны, моральны, но миновав какой-то жизненный поворот или кризис, вы обнаруживаете, что ничего этого нет, что вы глубоко честолюбивы, вы завистливы и неумелы, грубы и беспокойны. Вы — всё это, раскрывающееся шаг за шагом и поворот жизни за поворотом, — вам же хочется чего-то длительного, постоянного, но, конечно, только того, что выгодно и приятно. И поэтому вы гонитесь за этим — а всё множество других ваших «я» устраивает шум и отстаивает каждый своё право идти своим путём и реализовать себя. Поэтому вы становитесь полем битвы — полем честолюбивых и вообще всяких устремлений со всеми их удовольствиями и страданиями, достижениями, завистью и страхом. Слово «любовь» включается во всё это ради респектабельности и чтобы удержать семью вместе, но вы находитесь в плену своих целей,

пристрастных идей и видов деятельности, изолированы, и громко требуете признания и славы, вы и ваша страна, вы и ваша партия, вы и ваш утешительный бог.

Так что быть тем, что вы есть, чрезвычайно трудное дело; и если вы не совсем спите и хоть сколько-то чутки и бдительны, вы знаете всё это и скорбь всего этого. Поэтому вы топите себя в своей работе, в своей вере, в своих фантастических идеалах и медитациях. Тем временем вы стали старым и подошли к краю могилы, если уже не мертвы внутренне. Отбросить все эти вещи с их противоречиями и всё возрастающей скорбью и быть ничем — самое естественное и разумное, что можно сделать. Но прежде чем вы сможете быть ничем, вы должны откопать всё это, откопать всё, что скрыто, вытащить это на свет и тем самым понять. Чтобы понять эти скрытые потребности и побуждения, вы должны осознавать их, без выбора, как это происходит со смертью; тогда, в акте чистого видения, они захиреют и отомрут, у вас не будет скорби, и вы будете как ничто. Быть как ничто не означает негативного состояния; само отрицание всего, чем вы были, есть с высшей степени позитивное действие — позитивное не в смысле реакции, которая представляет собой бездействие; именно это бездействие является причиной скорби. Такое отрицание и есть свобода. Это позитивное действие даёт энергию, а только лишь идеи энергию рассеивают. Идея — время, а жизнь во времени означает распад, скорбь.

В густой, плотно засаженной казуариновой роще рядом с тихой и спокойной дорогой была большая вырубка; к вечеру роща была тёмной, пустынной, и эта вырубка приветливо принимала небеса. Дальше по дороге стояла тонкостенная хижина с крышей из переплетённых пальмовых листьев; в хижине горел тусклый свет, фитиль, зажжённый в блюдечке с маслом, и два человека, мужчина и женщина, сидели на полу за ужином, громко переговариваясь и иногда смеясь. Двое мужчин переходили рисовое поле по узкой тропинке, которая разделяла поля и сдерживала воду. Они несли что-то на головах и беседовали, речисто и многословно. Была здесь также группа крестьян, которые с резким смехом и усиленно жестикулируя что-то объясняли друг другу. Женщина вела телёнка нескольких дней от роду, за ними шла его мать, нежно подбадривая малыша. Стая белых птиц с длинными ногами летела на север, они летели, медленно и ритмично взмахивая в воздухе своими крыльями. Солнце село при ясном небе, и окрашенный розовым луч пересекал небо почти от горизонта до горизонта. Это был очень спокойный вечер, и огни города были далеко. Именно этот небольшой открытый участок в казуариновой роще вмещал в себя вечер; проходя мимо него, осознавал его необычайное спокойствие; забыт был весь свет и блеск дня и суета приходящих и уходящих людей. Сейчас он был спокоен, окружённый тёмными деревьями в быстро угасающем свете дня. Он был не только спокоен, но в нём была радость, радость безмерного одиночества, — и когда проходил мимо него, пришло, подобно волне, то всегда незнакомое иное, заливая и затопляя сердце и ум своей красотой и своей ясностью. Всякое время прекратилось, следующий момент не имел начала. Только из пустоты появляется любовь.

Медитация — не игра воображения. Любые образы, слова, символы должны прийти к концу для расцвета медитации. Ум должен освободиться от своего рабства у слова и его реакций. Мысль — время, и символ, пусть даже древний, значительный, должен потерять свою власть над мыслью. Тогда мысль не имеет продолжения, она существует только от момента к моменту и поэтому теряет свою механическую устойчивость; мысль тогда не формирует ум, не замыкает его в рамках идей, не обуславливает его культурой и обществом, в котором он живёт. Свобода — это свобода не от общества, а свобода от идеи; при свободе отношения и общество не обуславливают ум. Всё сознание остаточное, оно изменяется, модифицируется и приспособляется, а его перемена возможна лишь тогда, когда время и идея пришли к концу. Конец — это не умозаключение, не слово, которое можно истребить, не идея, которую можно отвергнуть или принять. Его надлежит понять через самопознание; знать или приобретать знание не означает учиться, познавать; ибо знание и его приобретение есть опознание и накопление, которое препятствует тому, чтобы учиться, познавать. Учиться, познавать, можно только от момента к моменту, ибо «я», «эго» постоянно меняется, никогда не бывая постоянным. Накопление, знание искажает и прекращает познание, тот процесс, в котором человек учится. Накопление знания, даже расширяющее его границы, становится механическим, но механический ум — это не свободный ум. Самопознание освобождает ум от известного; постоянная жизнь в условиях активности известного порождает бесконечный конфликт и несчастье. Медитация не является личным достижением, личным поиском реальности; она становится такой, когда ограничена методами, системами; тогда рождаются и иллюзии, и обманы. Медитация освобождает ум от узкого, ограниченного существования для вечно расширяющейся, вневременной жизни.

Без чувствительности, чуткости, не может быть сердечности; личная реакция вовсе не означает чувствительности; вы можете быть чувствительным относительно своей семьи, своих достижений, своего статуса, своих способностей. Этот вид чувствительности — реакция, узкая и ограниченная, и это деградация. Чувствительность не есть хороший вкус, потому что хороший вкус имеет личный характер, а свобода от личной реакции есть осознание красоты. Без понимания красоты и без чувствительного, чутко-восприимчивого её осознания нет любви. Это чувствительное, чуткое осознание природы, реки, неба, людей и грязной дороги означает сердечность. Сущность сердечности — чувствительность, чуткая восприимчивость. Но большинство людей боится быть чувствительными; для них быть чувствительными означает быть уязвимыми, и потому они делаются бесчувственными и черствеют, сохраняя тем самым свою скорбь. Или они укрываются во всякого рода развлечениях, в церкви, в храме, в болтовне, кино, социальных реформах. Но быть чувствительным — это не нечто личное, если же это имеет личный характер, то ведёт к несчастью. Прорываться через эту личную реакцию значит любить, а любовь — и для одного и для многих; любовь не ограничивается одним или многими. Чтобы быть чувствительными, нужно, чтобы все чувства были вполне живыми, активными, страх же стать рабом чувств — это просто стремление уйти от естественного факта. Осознание факта не ведёт к рабству, это страх перед фактом ведёт к зависимости. Мысль исходит из чувств, и мысль ведёт к ограничению — но вы всё же не бойтесь мысли. Наоборот, её почитают респектабельной и тщеславно лелеют. Чувствительно осознавать мысль и чувство, мир вокруг себя, свой офис и природу — значит каждое мгновение вспыхивать сердечностью. Без сердечности всякое действие становится тягостным и механичным — и ведёт к упадку.

Было дождливое утро, и небо было плотно закрыто облаками, тёмными и беспокойными; дождь начался очень рано, и вы могли слышать его шум среди листьев. И было так много птиц на маленьком газончике, больших и маленьких, светло-серых и коричневых с жёлтыми глазами, больших чёрных ворон и маленьких, меньше воробья; они скреблись, толкались, трещали, щебетали неутомно, жалуясь или выражая удовольствие. Дождь моросил, и они, похоже, ничего не имели против этого, но когда полило сильнее, они все улетели, громко сетуя. Но кусты и большие старые деревья радовались; их листья были дочиста отмыты от многодневной пыли. Капли воды висели на кончиках листьев; и одна капля падала на землю, а уже появлялась другая, готовая упасть; каждая капля была дождём, рекой и морем. И каждая капля была яркой, блестящей; она была роскошнее всех алмазов и прекраснее их; капля формировалась, пребывала некоторое время в своей красоте и исчезала в земле, не оставляя следа. Это была бесконечная процессия, исчезающая в земле. Это была бесконечная процессия за пределами времени. Шёл дождь, и земля наполнялась на все жаркие дни многих месяцев. Солнце было скрыто за массой облаков, и земля отдыхала от жары. Дорога была очень скверная, с множеством глубоких рытвин, заполненных бурой водой; небольшой автомобиль то переезжал их, то объезжал, но продвигался вперёд. Там были розовые цветы на ползучих растениях, вившихся вокруг деревьев и по заборам из колючей проволоки, буйно разрастаясь над кустами, и дождь делал их окраску более мягкой и более нежной; такие цветы были повсюду, и их нельзя было не принять. Дорога прошла мимо грязного посёлка с грязными лавчонками и грязными закусочными, но когда она повернула, появилось рисовое поле, окружённое пальмами. Они окружали его, как бы присваивая его себе, чтобы люди его не испортили. Рисовое поле следовало изгибающейся линии пальм, а за ними были рощи бананов, большие блестящие листья которых были видны сквозь пальмы. Это рисовое поле было как бы заколдованным; оно было таким изумительно

зелёным, таким роскошным и восхитительным; оно было невероятным, оно захватывало ваш ум и сердце. Вы смотрели на него и исчезали, чтобы уже никогда не быть прежним. Этот цвет был богом, был музыкой, был любовью земли; небеса приближались к пальмам и покрывали землю. Это рисовое поле было блаженством вечности. Дорога шла к морю; море было бледно-зелёное, с огромными катящимися валами, они обрушивались на песчаный пляж; волны были грозные, насыщенные яростью множества штормов; море выглядело угрожающе спокойным, а волны демонстрировали его опасность. Лодок на море не было, этих непрочных катамаранов, очень грубо связанных куском верёвки; все рыбаки находились в тёмных и крытых пальмовыми листьями хижинах на песке, очень близко к воде. И облака продолжали накатываться, гонимые ветрами, ощутить которых вы не могли. И снова придёт дождь, с приятной улыбкой.

Для так называемых религиозных людей быть чувствительным — грех, зло, присущее мирскому; для религиозного человека прекрасное есть искушение, которому надлежит сопротивляться, пагубное отвлечение и помеха, которую следует отвергнуть. Добрые дела не заменят любовь, без любви же любая деятельность ведёт к страданию, или возвышенному или низменному. Сущность сердечности — чувствительность, и без неё всякое поклонение есть бегство от реальности. Для монаха, для саньсяси, чувства — путь страдания; исключение делается для мысли, которая должна быть посвящена богу их воспитания, их обусловленности. Но мысль происходит от чувств. Это мысль создаёт время, и это мысль делает чувствительность грешной. Выйти за пределы мысли — добродетель, эта добродетель — повышенная чувствительность, которая есть любовь. Любите — и греха нет; любите — и делайте, что хотите, и тогда нет скорби.

Местность без реки пустынна. Это маленькая река, если её вообще можно назвать рекой, но на ней довольно большой мост (*Эльфистоун-бридж через реку Адьяр. Дом, где он остановился, находился на северо-западной стороне моста*) из кирпича и камня, не слишком широкий, автобусам и автомобилям приходится здесь ехать медленно; на нём всегда есть пешеходы и неизбежные велосипеды. Она и претендует на то, чтобы быть рекой, и во время дождей выглядит и глубокой и полноводной, но теперь, когда дожди почти закончились, она выглядит широкой полосой воды с большим островом и множеством кустов посреди него. Она течёт к морю прямо на восток, с большим воодушевлением, радостно. Но теперь здесь широкая песчаная отмель, и она ждёт следующего сезона дождей. Коровы вброд переходили на остров; немногочисленные рыбаки пытались поймать хоть какую-нибудь рыбу, и рыба всегда была мелкая, примерно с большой палец; когда её продавали под деревьями, от неё шёл ужасный запах. Этим вечером в спокойной воде стояла большая цапля, застывшая в полной неподвижности. Это была единственная птица на реке; по вечерам вороны и прочие птицы обычно летали через реку, но в этот вечер не было ни одной, кроме этой одинокой цапли. Вы не могли не увидеть её; она была такая белая, неподвижная под солнечным небом. Жёлтое солнце и бледно-зелёное море виднелись на некотором удалении, а на простиравшемся в их направлении участке суши лицом к лицу с рекой и морем стояли три пальмы. Вечернее солнце освещало их и море за ними, беспокойное, опасное, отливавшее приятной голубизной. С моста небо выглядело таким огромным, таким близким и чистым; аэропорт отсюда был далеко. Этим вечером та единственная цапля и три пальмовых дерева были всей землёй, временем прошлым и настоящим, и жизнью, у которой не было прошлого. Медитация стала цветением без корней и потому умиранием. Отрицание есть чудесное движение жизни, а позитивное есть реакция на жизнь, это сопротивление. При сопротивлении нет смерти, а только страх; страх порождает новый страх и деградацию. Смерть — это расцвет нового; медитация — это умирание известного.

Удивительно, что человек никогда не может сказать: «Я не знаю». Чтобы действительно это и сказать и почувствовать, необходимо смирение. Однако человек никогда не признаёт факт своего постоянного незнания; это тщеславие питает ум знанием. Тщеславие — это удивительная болезнь, вечно возбуждающая надежды и вечно ввергающая в угнетённое состояние. Но признать, что не знаешь, — это остановить механический процесс приобретения знания. Есть несколько способов сказать: «Я не знаю», — притворство со всеми его тайными и хитрыми методами, желание произвести впечатление, приобрести какую-то значительность и так далее; есть «Я не знаю», которое по сути указывает на время, необходимое для того, чтобы узнать, и есть «Я не знаю», которое не ищет способа узнать; в одном состоянии никогда не учатся, только накапливают и потому никогда не учатся, а другое — всегда состояние человека, который учится без всякого накопления. Нужна свобода учиться, и тогда ум может оставаться молодым и невинным; а накопление заставляет ум деградировать, стареть и увядать. Невинность — не недостаток опыта, но свобода от опыта; это свобода умирать для всякого переживания и не позволять ему пускать корни в почве скапливающего богатства мозга. Жизнь не бывает без переживаний и опыта, но жизни не может быть и тогда, когда почва полна корней.

Однако смирение не является сознательным очищением от известного — это тщеславие достижения; смирение — та полнота незнания, которая и есть умирание. Страх смерти присутствует лишь в том, чтобы знать, но не в том, чтобы не знать. Страх неизвестного нет, страх есть лишь к изменению известного, к окончанию известного.

Но привычка к слову, эмоциональное содержание слова, его скрытые значения, подтексты, препятствуют свободе от слова. Без этой свободы вы — раб слов, выводов и идей. Если вы живёте словами, как многие, внутренний голод оказывается ненасытным; это значит всё время пахать и никогда не сеять. В этом случае вы живёте в мире нереальности, лицемерия и скорби, что не имеет смысла. Верование, убеждение — это слово или мысленный вывод, состоящий из слов, и это то самое, что извращает и портит красоту ума. Разрушить слово — разрушить внутреннюю структуру безопасности, которая всё равно не обладает никакой реальностью. Небезопасность, происходящая от насильственного лишения безопасности, ведёт к разнообразным недугам, но небезопасность, исходящая из цветения медитации, — смирение и невинность, и её силы человек самонадеянный и гордый никогда не сможет узнать.

Дорога была очень грязная, с глубокими колеями, многолюдная; дорога эта проходила за городом, где постепенно строился пригород, но сейчас она была невероятно грязна, с множеством рытвин, собак, коз, бродячих коров, автобусов, велосипедов, автомобилей, но больше всего было людей; магазины, торгующие разноцветными напитками в бутылках, магазины, продающие ткани, еду и дрова, банк, мастерская по ремонту велосипедов, опять еда, козы, но больше всего людей. По обе стороны дороги здесь тихая сельская местность, пальмы и рисовые поля и огромные лужи воды. Солнце выглядывало из облаков за пальмовыми деревьями, которые взрывались красками и отбрасывали огромные тени; пруды блестели, и каждый куст, каждое дерево изумлялись небесному простору. Козы занимались обглаживанием их корней, женщины стирали одежду у крана, дети продолжали свои игры; повсюду какая-то деятельность, и никто не давал себе труда посмотреть на небо или на эти облака с их красками; это был вечер, которому предстояло вскоре исчезнуть и никогда больше не появиться снова, но, похоже, никого это не заботило. Безотлагательное было важнее всего, то безотлагательное, которое можно распространить в будущее, за пределы видимости. Дальнее видение — видение безотлагательного. Загрохотал мчавшийся автобус, никому не уступая ни дюйма, уверенный в себе; и все уступали ему дорогу, но огромный буйвол остановил его: он шёл прямо посередине, он передвигался своей тяжёлой поступью, не обращая никакого внимания на его сигнал, и сигнал раздражённо умолк. В глубине души каждый человек — политик, озабоченный безотлагательным и пытающийся всю жизнь превратить в безотлагательное. И позднее, там, за поворотом, будет скорбь, — но её можно будет избежать, так как существуют таблетки и выпивка, храм и целое семейство разных видов безотлагательного. Вы могли бы покончить со всем этим, если бы горячо верили во что-то или ушли с головой в работу или стали ревностным приверженцем какого-нибудь образа мысли. Но вы всё это уже испробовали, и ваш ум оставался таким же бесплодным, как и ваше сердце, и вы перешли на другую сторону дороги и затерялись в безотлагательном. Облака в небе теперь сгустились, пятно света осталось только там, где было солнце. Дорога шла дальше, мимо пальм, мимо казуарин, рисовых полей, всё дальше и дальше, и вдруг, как всегда неожиданно, пришло то иное с той чистотой и силой, которую ни мысль, ни безумие не могли бы выразить, и оно было здесь, и ваше сердце, казалось, взрывалось в экстазе в пустые небеса. Мозг был совершенно спокоен и неподвижен, но чутко-чувствителен и бдителен. Он не мог войти в пустоту, он связан с временем, но время остановилось, и он не мог переживать; переживание есть опознание, а то, что опознано, оказалось бы временем. Поэтому мозг был неподвижен, просто спокоен, он не спрашивал и не искал. И эта полнота любви — или чего хотите, слово не является самой реальностью, — вошла во всё и пропала. Всё имеет своё пространство, своё место, но у этого не было ничего такого, и поэтому его нельзя найти; что бы вы ни делали, вы этого не найдёте. Этого нет ни на рынке, ни в каком-либо храме; всё должно быть разрушено, ни один камень не оставлен неперевернутым, ни один фундамент не сохранён, но даже и в таком случае эта пустота останется неповреждённой, и тогда, возможно, непознаваемое сможет пройти. Оно было здесь, и с ним красота.

Любой продуманный, сознательно разработанный способ изменения — это не-изменение; такое изменение имеет мотив, цель и направление, и потому это просто продолжение — видоизменённое — того, что было. Такое изменение бесполезно; это всё равно что менять одежду на кукле, которая остаётся механической, безжизненной и непрочной и которая, после поломки, будет выброшена. Смерть — неизбежный конец изменения; экономическая, социальная революция есть смерть в форме перемены. Это вообще не революция, просто

видоизменённое продолжение того, что было. Перемена, всеобъемлющая и полная революция, имеет место только тогда, когда изменение как структура времени осознаётся как ложное, и в самом этом полном отказе происходит перемена.

Море было бурным, громко ревели приходившие издалека валы; поблизости находилась деревня, построенная вокруг большого глубокого пруда, водоёма, как они его называли, и разрушенный храм. Вода в водоёме была бледно-зелёная, и со всех сторон к ней спускались ступени. Деревня была запущенная, грязная, без каких бы то улиц, дома же стояли вокруг этого водоёма, и с одной стороны от него находился древний храм в руинах и другой храм, сравительно новый, с красными полосами на стенах; дома обветшали, но деревня эта вызывала ощущение чего-то знакомого, дружественного. У дороги, ведущей к морю, группа женщин громко торговалась, обсуждая какую-то рыбу; казалось, что их всех всё это очень волнует; это было и их вечерним развлечением, поскольку они также ещё и смеялись. Сметённый с дороги мусор кучей лежал в углу, и грязные деревенские собаки совали в него свои носы; расположенная поблизости лавочка продавала напитки и еду, и бедная женщина с ребёнком, одетая в лохмотья, просила милостыню у её дверей. Суровое и безжалостное море грохотало совсем близко, но за деревней простирались восхитительные зелёные рисовые поля, полные мира и надежды в вечернем свете. Облака неторопливо шли над морем, освещённые солнцем, но повсюду была суета, и никто не смотрел на небо. Мёртвая рыба, шумная группа, зелёная вода в этом глубоком пруду и полосатые стены храма, казалось, скрывали и прятали от вас заходящее солнце. Когда вы идёте этой дорогой через канал, вдоль рисового поля и казуариновых рощ, все прохожие, которых вы знаете, очень дружелюбны; они останавливаются и говорят вам, что вам следует приехать и пожить здесь среди них, что они будут заботиться о вас, а небо темнеет, зелень рисовых полей исчезает, и звёзды очень яркие.

Во время прогулки по этой дороге, в темноте, при свете города, отражающемся в облаках, эта несокрушимая сила приходит в таком изобилии и с такой ясностью, что у вас буквально перехватывает дыхание. Вся жизнь была этой силой. Это не была сила тщательно воспитанной, укреплённой воли, сила защиты и сопротивления; это не была сила смелости, сила ревности, смерти. У неё не было никаких качеств, никакое описание не могло вместить её, но всё же она была здесь, как те тёмные отдалённые холмы и те деревья у дороги. Она была слишком огромна, чтобы мысль могла вызвать её или рассуждать о ней. Это была сила, у которой нет причины, и потому ничего нельзя было добавить к ней или отнять от неё. Эту силу знать нельзя; она не имеет очертаний, формы, и к ней нет подхода. Знание и его приобретение есть опознание, она же всегда новая, нечто, что не может быть измерено во времени. Она была здесь весь день, неопределённо, ненавязчиво, как шёпот, а сейчас она присутствовала с такой настойчивостью, в таком изобилии — не было ничего, кроме неё. Слова затасканы, и они сделались обыденными — слово «любовь» есть и на рынке, но во время прогулки по этой пустынной дороге это слово имело совсем другой смысл. Она пришла вместе с той непостижимой силой, они были нераздельны, как лепесток и его цвет. Мозг, сердце и ум были полностью поглощены этим, не осталось ничего, кроме этого. И всё же автобусы тарахтели, проезжая мимо, крестьяне громко разговаривали, и Плеяды стояли прямо над горизонтом. Это продолжалось, шёл ли один или же с другими, и это продолжалось всю ночь, пока среди пальмовых деревьев не началось утро. Но и сейчас оно присутствует здесь, как шорох среди листвы.

Что за необычайная вещь медитация. Если есть какое-то принуждение, попытка заставить мысль соответствовать, подражать, она становится скучной, утомительной нагрузкой. Безмолвие, которого желают, перестаёт бы просветляющим; если это погоня за видениями и переживаниями, то она ведёт к иллюзиям и к самогипнозу. Только в цветении мысли и поэтому лишь в окончании мысли медитация имеет смысл; цвести мысль может лишь в свободе, а не в

постоянно расширяющихся шаблонах знания. Знание может давать дополнительные возможности переживания более сильных ощущений, — но ум, который ищет переживаний, всё равно каких, — незрелый ум. Зрелость есть свобода от любого переживания, любого опыта; на неё уже никак не влияет быть или не быть чем-то. Зрелость в медитации означает освобождение ума от знания, так как именно он формирует и контролирует все переживания, всякий опыт. Ум, который сам себе свет, не нуждается в переживании и опыте. Незрелость — это стремление ко всё более значительному и более широкому переживанию и опыту. Медитация — это странствие через мир знания и освобождение от него, чтобы войти в неизвестное.

Они ссорились в этой маленькой хижине, с масляной лампой, на этой славной дороге; она пронзительно, визгливо кричала что-то о деньгах, их осталось недостаточно для покупки риса, он же тихим, испуганным голосом что-то мямлил. Вы могли слышать её голос, находясь очень далеко, и только переполненный автобус заглушил его. Пальмовые деревья были безмолвными, тихими, и даже пушистые верхушки казуарин прекратили своё мягкое движение. Луны не было, и было темно, солнце уже село среди собиравшихся на небе облаков некоторое время назад. Проехали автобусы и автомобили, великое их множество, все они ездили посмотреть древний храм у моря, и теперь дорога снова стала тихой, уединённой и заброшенной. Редкие крестьяне, проходившие мимо, разговаривали тихо, усталые после трудового дня. Это удивительное беспредельное приходило и было здесь с невероятной мягкостью и ласковой любовью; подобно нежному молодому листку весной, который так легко разрушается, оно было абсолютно уязвимым и потому вечно несокрушимым. Все мысли и чувства исчезли, и всякое опознание прекратилось.

Удивительно, насколько важными стали деньги, — и для дающего и для получающего, и для человека у власти и для бедняка. Они постоянно говорят о деньгах, или избегают говорить о них, ибо это дурной тон, но постоянное них думают. Деньги для добрых дел, деньги для партии, деньги для храма и деньги для покупки риса. Если у вас есть деньги, вы несчастны, и если у вас их нет, вы также несчастны. Вам говорят, чего человек стоит, когда рассказывают о его положении, о степенях, им полученных, о его уме, его способностях, о том, сколько он зарабатывает. Зависть богатого и зависть бедного, борьба за то, чтобы выделиться знаниями, одеждой, блестящим разговором. Каждому хочется произвести на кого-либо впечатление, и чем больше компания, тем лучше. Но деньги важнее, чем что-либо другое, за исключением власти. Эти две вещи образуют замечательную пару; у святого есть власть, хотя нет денег; он влияет и на богатого и на бедного. Политик будет использовать страну и святого и богов и что угодно, чтобы забраться на вершину и говорить вам об абсурдности честолюбия и безжалостности власти. Деньгам и власти нет конца; чем больше у вас есть, тем больше вам хочется, и конца этому нет. Но за всеми деньгами и властью стоит скорбь, от которой невозможно избавиться; вы можете отодвигать её в сторону, пытаться забыть о ней, но она всегда здесь; вы не можете переспорить её, она всегда здесь, глубокая рана, которую, похоже, ничто не вылечит.

Никто не хочет быть свободным от скорби, слишком уж сложно понять её; она по-всякому объяснена в книгах, и книги, и слова, и выводы стали самым важным, но скорбь всё равно здесь, хотя и прикрытая идеями. И важным становится бегство; бегство — самая суть поверхностности, хотя степень его глубины и может различаться.

Но от скорби не так-то легко жульнически увернуться. Чтобы покончить с ней, вы должны войти в самую её сердцевину и исследовать её; вы должны провести очень глубокие раскопки и исследования в самом себе, ни одного угла не оставляя незамеченным. Вы должны видеть каждый изгиб и поворот хитрой мысли, каждое чувство, чего бы оно ни касалось, каждое движение каждой реакции, без ограничения и без отбора. Это всё равно что проследить реку до её истока, сама река и приведёт вас к нему. Вы должны проследить каждую линию и каждую путеводную нить к сердцу печали. Вам нужно только следить, видеть, слушать; всё это здесь, ясно и открыто. Вам нужно совершить путешествие, не на луну, не к богам, а в себя самого. Вы можете шагнуть в себя быстро, так же быстро покончив со скорбью, или продолжать путешествие, лениво, праздно и без горячего интереса. Чтобы покончить со скорбью, вам нужна страсть, но страсть не приобретается бегством. Она есть, когда вы перестаёте убегать.

Под деревьями было очень спокойно; здесь было так много птиц, зовущих, поющих и щебечущих бесконечно и неутомно. Ветви были огромные, красивые, гладкие, вид их совершенно потрясал, в них были такой размах и такое изящество, что слезы навёртывались на глазах и вы изумлялись чудесам плодов земли. На земле не было ничего прекраснее этого дерева, и когда оно умрёт, оно всё равно будет прекрасным, с голыми ветвями, открытое небу и выбеленное солнцем, и птицы будут отдыхать на его безлиственной обнажённости. Здесь будет убежище для сов, в этом глубоком дупле, и яркие, крикливые попугаи станут гнездиться наверху, в дупле той ветви; прилетят дятлы с красными хохолками перьев, торчащими прямо из головы, чтобы занять некоторые дупла, и конечно, здесь будут эти полосатые белки, бегающие по веткам, вечно жалующиеся на что-то, но всегда любопытные; и прямо наверху, на самой верхней ветке усядется белый с красным орёл, обзирающий землю с достоинством и в одиночестве. Здесь будет и множество муравьев, красных и чёрных, взбирающихся вверх по дереву, и других, что спешат вниз, и их укусы будут весьма болезненны. Но сейчас это дерево было живым и чудесным — оно давало много тени, и палящее солнце совсем не могло коснуться вас; вы могли просидеть здесь час, видеть и слышать всё, что есть живого и мёртвого, внутри и снаружи. Вы не можете видеть и слышать внешнее без обращения к внутреннему. На самом деле внешнее есть внутреннее, а внутреннее есть внешнее, и очень трудно, почти невозможно разделить их. Вы смотрите на это величественное дерево; вам трудно понять, кто кого наблюдает, а вскоре наблюдающего и вообще нет. Всё такое интенсивно живое, и есть только жизнь, а наблюдающий мёртв, как этот лист. Нет разделяющей границы между деревом и птицами и тем человеком, что сидит в тени, и самой землёй, такой обильной. Добродетель присутствует здесь без мысли, так же как и порядок; порядок не существует постоянно и прочно, он здесь только от мгновения к мгновению, и это беспредельное приходит с заходом солнца так непреднамеренно, с таким свободным радушием. Птицы умолкли, так как становилось темнее; всё постепенно успокаивалось, подготавливалось к ночи. Мозг, этот чудесный, чувствительный, живой инструмент, полностью спокоен, только наблюдает, слушает без малейшей реакции, без регистрации, без переживания, он только видит и слушает. С этой беспредельностью приходит любовь и разрушение, и разрушение это — неприступная сила. Всё это слова, как то мёртвое дерево, символ того, что было и чего больше нет. Оно ушло, устранилось из слова; слово мертво, безжизненно, оно никогда не охватит этого всеобъемлющего ничто. Только из этой беспредельной пустоты и выходит любовь, с её невинностью. Как может мозг осознать эту любовь, мозг, который так активен, переполнен, отягощён знанием и опытом? Всё должно быть отвергнуто, чтобы это имело место.

Привычка, даже удобная, разрушительна для чувствительности; привычка даёт ощущение безопасности, и какая же может быть чуткость, чувствительность, когда культивируется привычка; это не означает, что небезопасность приводит к чуткому осознанию. Как быстро всё становится привычкой, скорбь, так же как и удовольствие, и тогда появляется скука и то особое состояние, которое называется праздностью. После следования привычке, которая работала сорок лет, у вас есть свободное время или досуг в конце дня. Есть очередь привычки, теперь же наступает очередь праздности, которая в свою очередь превращается в привычку. Без чувствительности нет сердечности и той искренности, которая не является принуждённой, управляемой реакцией противоречивого существования. Механизм привычки — сама мысль, которая всегда ищет безопасности, какого-либо комфортабельного состояния, которое никогда не будет нарушено. Но именно этот поиск постоянства исключает чувствительность.

Чувствительность никогда не ранит, не наносит вреда; только то, в чём вы нашли убежище, причиняет боль. Быть полностью чувствительным означает быть полностью живым — а это и есть любовь. Но мысль очень хитра; она будет ускользать от преследователя, которым является другая мысль; мысль не может проследить другую мысль. Только цветение мысли может быть увидено и услышано, и то, что цветёт в свободе, приходит к концу, умирает, не оставляя следа.

Та кукушка, что куковала с рассвета, была меньше вороны и более серая, с длинным хвостом и с живыми красными глазами; она сидела на маленьком пальмовом дереве, наполовину скрытая, издавая отчётливые, тихие звуки; её хвост и голова были видны, а на маленьком дереве сидела её подруга. Она была поменьше, более робкая, она лучше спряталась в листве; потом самец перелетел к самке, которая вышла на открытую ветку; они оставались там, самец куковал, а потом они улетели. В небе были облака, и лёгкий ветерок играл среди листвы; толстые пальмовые ветви были неподвижны; их время исполнять свой тяжеловатый танец ещё придёт, позже днём, ближе к вечеру, но сейчас они были неподвижные, сонные и безразличные. Ночью, должно быть, прошёл дождь, земля была мокрая, а песок рассыпчат; сад был исполнен мира, поскольку день ещё не начался; большие деревья дремали, а маленькие полностью проснулись, и две белки игриво гонялись друг за другом туда и сюда по веткам. Облака раннего утра уступали место дневным облакам, и казуарины раскачивались.

Акт медитации никогда не бывает прежним, в нём всегда есть какое-то новое дыхание, новое потрясение; нет системы, которую следует разрушать, ибо нет строительства другой, новой привычки, скрывающей старое. Все привычки, даже недавно приобретённые, стары; они формируются из старого, но медитация — не уничтожение старого ради новой системы, нового шаблона. Она была новой и разрушительной; она была новой, не в поле старого; она никогда не ступала на эту почву; она была новой, поскольку никогда не знала старого; она была разрушительна сама по себе; она не была разрушением чего-то, она сама была разрушением. Она разрушала, и потому она была новой, и это было творением.

В медитации нет игрушки, которая поглощает вас или поглощается вами. Именно разрушение всех игрушек, всех видений, идей, переживаний входит в медитацию. Вы должны заложить фундамент для истинной медитации, иначе попадёте во власть различных форм иллюзии. Медитация — чистейшее отрицание, отрицание, которое не является результатом реакции. Отрицать и оставаться с этим отрицанием в полном отсутствии положительного является действием без мотива, которое и есть любовь.

Там была серая птица в пятнышках, величиной почти с ворону; она совершенно не боялась, и можно было наблюдать за ней, сколько угодно; тщательно выбирая, она ела ягоды, которые свешивались тяжёлыми зелёными и серебристыми гроздьями. Вскоре ещё две птицы, почти такие же большие, как пятнистая, прилетели, чтобы приняться за другие грозди; это были вчерашние кукушки; на этот раз не было мягкоголосых призывов, обе они сосредоточенно ели. Обычно они осторожные птицы, эти кукушки, но, похоже, они не обращали внимания, что кто-то стоит так близко, наблюдая за ними, всего в нескольких футах. Позже появилась полосатая белка, чтобы присоединиться к ним, но все трое улетели; белка пристроилась и с жадностью ела, пока с карканьем не прилетела ворона; это было для неё слишком, и она убежала. Ворона не ела никаких ягод, но, видимо, ей не нравилось, когда другие получали удовольствие. Было прохладное утро, солнце медленно поднималось за густыми деревьями; тени были длинные, и нежная роса всё ещё оставалась на траве, а в маленьком пруду были видны две голубые лилии с золотой сердцевинкой; золото было светлое по цвету, голубизна была голубизной весенних небес, листья на воде были круглые, очень зелёные, и на одном из них сидел лягушонок, неподвижно, с выпученными глазами. Две лилии были источником наслаждения для всего сада, даже большие деревья смотрели на них сверху, не отбрасывая тени; они были изящны, нежны и спокойны в своём пруду. Когда вы смотрели на них, всякая реакция прекращалась, ваши мысли и чувства угасали, оставались только они в своей красоте и своём спокойствии; они были интенсивны, как интенсивно всё живое, кроме человека, который вечно занят собой. Когда вы наблюдали за ними, мир изменялся, — не в сторону какого-то лучшего социального порядка, с меньшей тиранией и большей свободой или же с устранением бедности, но не было больше боли, скорби, приходящих и уходящих тревог, не было утомительной скуки; он изменялся потому, что здесь были эти двое, голубые с золотой сердцевинкой. Это было чудо красоты.

Эта дорога была теперь знакома со всеми нами: с крестьянином, с длинной полосой запряжённых в волов повозок, и рядом с каждой повозкой шёл человек, — их было пятнадцать или двадцать в этой длинной веренице, с собаками, с козами и с созревающими рисовыми полями; в тот вечер дорога была приветливо открытой, и небеса были очень близки. Было темно, а дорога светилась светом неба, и ночь окружала её.

Медитация — не путь усилий; каждое усилие противодействует, сопротивляется; усилие и выбор всегда порождают конфликт, и медитация тогда становится всего лишь бегством от факта, того, что есть. Но на этой дороге медитация уступила тому иному, погрузив в полное безмолвие уже спокойный мозг; мозг был просто коридором к тому неизмеримому; как глубокая, широкая река меж двумя крутыми берегами, двигалось это удивительное иное, без направления, без времени.

Из окна вы могли видеть молодую пальму и дерево с множеством больших цветов с розовыми лепестками среди зелёной листвы. Листья пальмы раскачивались во всех направлениях тяжело и неуклюже, а цветы были бездвижны. Вдалеке было море, вы слышали его всю ночь, глубокое и проникновенное; оно никогда не прекращало и не ослабляло своего громкого гула накатывающихся валов; в нём были угроза, вечное беспокойство и грубая сила. С рассветом рёв моря ослабел и возобладали другие звуки — птицы и автомобили и барабан. Медитация была огнём, выжигавшим всякое время и расстояние, достижение и переживание. Была только огромная безграничная пустота — но в ней было движение, творение. Мысль не может быть творческой, она может только комбинировать, соединять что-то на холсте, в словах, в камне или в изумительной ракете; мысль, даже утончённая, даже изощёренная, пребывает в границах времени; она может только покрывать пространство; она не может выйти за пределы самой себя. Мысль не может очистить себя, мысль не может проследить себя; мысль может только цвести и умирать, если она не препятствует самой себя. Всякое чувство есть ощущение, переживание тоже от него; чувство вместе с мыслью создаёт границы времени.

Уже издалека вы могли слышать море, грохочущее бесконечно, волна за волной; эти волны не были безобидными, они были опасны, яростны, безжалостны. Море выглядело так, как будто оно было спокойным, сонным, терпеливым, волны же на нём были огромные, высокие и устрашающие. Людей уносило, и они тонули, а течение здесь было сильное. Волны здесь никогда не были смиренными, их высокие изгибы величественны, великолепны, когда смотришь на них на расстоянии, однако в них — грубая сила и жестокость. Катамараны, такие непрочные, с худыми тёмными людьми на них, проходят сквозь эти волны бесстрастно и беззаботно — без всякой мысли о страхе; они уплывают так далеко к горизонту и, наверное, возвратятся к вечеру со своей тяжёлой добычей. В этот вечер волны были особенно неистовы; высоко вздымаясь в своём нетерпении, они с оглушительным грохотом обрушивались на берег; берег этот протянулся с севера на юг, чисто промытый песок, желтоватый, обожжённый солнцем. И солнце тоже не было нежным и ласковым; всегда горячее, жгучее, лишь ранним утром, только-только выходя из моря, или когда садилось среди собирающихся облаков, оно было мягким и приятным. Яростное море и палящее солнце терзали землю, люди здесь были бедные, худые, вечно голодные; здесь жила нищета, она была здесь постоянно, а смерть, которую очень легко было тут встретить, легче, чем рождение, порождала безразличие и упадок. Состоятельные люди тоже были вялы и безразличны ко всему, кроме делания денег и стремления к власти или строительства моста; вот в такого рода делах они очень ловки, получая всё больше и больше, всё больше знания, больше возможностей, — но всё время теряя, и смерть всегда тут как тут. Она так окончательна, её нельзя обмануть, никакой аргумент, пусть самый тонкий и хитрый, не может отвратить её, — она всегда здесь. Вы не можете построить стены, которые защитили бы от неё, но можете отгородиться ими от жизни, можете обманывать её, убегать от неё, ходить в храм, верить в спасителей, полететь на луну; вы можете делать с жизнью что угодно — но скорбь всегда здесь и смерть тоже. Вы можете прятаться от скорби, но не от смерти. Даже на таком расстоянии вы могли слышать, как грохочут волны, и пальмы выделялись на фоне красного вечернего неба. Пруды и каналы полыхали в заходящем солнце.

Нами правят разнообразные мотивы, у каждого действия имеется мотив, поэтому у нас нет любви. И мы не любим то, что делаем. Мы считаем, что не можем действовать, существовать, жить без мотива, и этим делаем существование своё скучным и заурядным. Функцию — то есть обязанность или дело — мы используем, чтобы обрести статус; дело, служебная обязанность, — только средство достижения чего-то другого. Нет любви к самому делу, поэтому всё превращается в подделку, а отношения становятся чем-то ужасным. Привязанность — всего лишь способ скрыть свою ограниченность, недостаточность, одиночество; зависть лишь порождает ненависть. Любовь не имеет мотива, и раз любви нет, в сердце прокрадываются самые разные мотивы. Жить без них не трудно — для этого требуется честность, а не приверженность идеям и верованиям. Обладать честностью — самокритично осознавать, осознавать, чем ты являешься от момента к моменту.

Совсем юный месяц казался подвешенным между пальмами; вчера его не было; он, должно быть, скрывался за облаками, застенчиво прячась, так как был просто узкой полосочкой, чем-то вроде изящной золотой чёрточки, и между пальмами, тёмными и торжественными, он был восхитителен, чудом. Облака собирались на небе, чтобы скрыть его, но пока он был открытым, нежным, таким близким. Пальмы были безмолвны, строги, суровы, а рисовые поля, созревая, начинали желтеть. В этот вечер листья постоянно беседовали между собой, и море грохотало в нескольких милях отсюда. Крестьяне не осознавали красоты вечера; они привыкли к ней; они принимали всё: свою бедность, свой голод, эту грязь, убожество и собирающиеся облака. Человек привыкает ко всему, к скорби, к счастью; не привыкнув к положению вещей, вы были бы более несчастны, у вас было бы больше неприятностей, больше беспокойства. Лучше быть бесчувственным, вялым и оупевшим, чем навлечь новые неприятности; умирайте постепенно — так легче. Вы сможете подыскать и экономические и психологические причины всему этому, но остаётся фактом для богатого и для бедного, что проще привыкнуть к положению вещей, к хождению в контору или на фабрику в течение следующих тридцати лет, к скуке и тщетности всего этого, ведь человеку нужно жить, у него есть обязанности, и поэтому безопаснее ко всему привыкнуть. Мы привыкли к любви и к страху и к смерти. Привычка становится благом и добродетелью, как бегство и боги. Задавленный привычкой ум является мелким и тупым умом.

Рассвет медлил с приходом; ещё ярко блистали звёзды, и деревья всё ещё оставались погружёнными в себя; ни одна птица не подавала голоса, даже маленькие совы, которые всю ночь перекликались и с шумом перелетали с дерева на дерево. Стоял запах множества цветов, гниющих листьев и сырой земли; воздух был совершенно неподвижен, и этот запах стоял повсюду. Земля ожидала рассвета и наступающего дня; и было ожидание, терпение и удивительное спокойствие. Медитация шла в этом спокойствии, и это спокойствие было любовью. То была не любовь к кому-то или чему-то, образу и символу, слову и картине, это была просто любовь, без настроения, без чувства. Она была чем-то завершённым в себе, обнажённым, интенсивным, без корня, без направления. Голос той далёкой птицы был этой любовью; она была направлением и расстоянием, она была вне времени и слова. Она не была эмоцией, которая увядает, которая жестока; заменить можно символ, слово — но не реальность. Обнажённая, она была полностью уязвима и тем несокрушима. Она обладала недоступной силой того иного, непознаваемого, которое приходило сквозь деревья и распространялось дальше моря. Медитация была голосом этой птицы, зовущим из той пустоты, и грохотом моря, бьющегося о берег. Любовь же может быть только в полной пустоте. Сероватый рассвет был там, на далёком горизонте, деревья же стали ещё более интенсивными и тёмными. В медитации нет повторения, постоянства привычки — это смерть всего известного и расцвет неизвестного. Звёзды угасли, и облака пробудились с приходом солнца.

Переживание разрушает ясность и понимание. Переживание — это ощущение, отклик на разного рода стимулы, и каждое переживание укрепляет стены, что окружают нас, каким бы широким и растущим в своей широте ни было это широкое переживание. Накапливаемое знание механично, как все накопительные процессы, и они необходимы для механического существования, но всякое знание сковано временем.

Жажда переживания бесконечна, как любое ощущение. Жестокость честолюбивого устремления есть укрепление переживания ощущения власти и ожесточение в приобретаемых возможностях. Переживание не может дать смирения, но именно смирение есть сущность добродетели. Только в смирении можно учиться; учиться не означает приобретать знания.

Ворона положила начало утру, а все птицы в саду присоединились, и вдруг всё пробудилось; ветерок был среди листвы, и было великолепно.

Длинная полоса чёрных, несущих дождь туч протянулась от горизонта до горизонта, к северу и к югу, белые облака были исключением. Дождь лил на севере, постепенно смещаясь на юг, и с моста над рекой была видна длинная белая линия волн на фоне чёрного горизонта. Автобусы, автомобили, велосипеды и босые ноги свершали свой путь через мост, а дождь в неистовстве подходил всё ближе. Река была пуста, как обычно в это время, и вода была такая же тёмная, как и небо; не было даже той симпатичной цапли, всё опустело. За мостом находилась часть большого города, перенаселённого, шумного, грязного, претенциозного, процветающего, а немного дальше налево были грязные хижины, ветхие строения, мелкие грязные лавочки, маленькая фабрика и весьма оживлённая дорога, а посреди неё лежала корова, автобусы и автомобили объезжали её. На западе виднелись полосы ярко-красного, но вскоре и они также накрывались наступающим дождём. За полицейским участком и узким мостом есть среди рисовых полей дорога, ведущая на юг от шумного и грязного города. Потом начался дождь, сильнейший ливень, он в секунду образовал на дороге лужи и потоки воды там, где была сухая земля; это был яростный дождь, взрыв дождя, он умыл, очистил землю. Крестьяне промокли насквозь, но, похоже, не обращали на это внимания; смеясь и болтая, шагали они своими босыми ногами по лужам. Маленькая хижина с масляной лампой протекала, автобусы рычали, обливая каждого, велосипеды с их слабыми фонарями, позванивая, уезжали в сильный дождь.

Всё было начисто смыто, прошлое и настоящее, не было ни времени, ни будущего. Каждый шаг был вне времени, и мысль, продукт времени, прекратилась; она не могла идти ни вперёд, ни назад, она не существовала. И каждая капля этого яростного дождя была рекой, морем и нарастающим снегом. Здесь была всеобъемлющая, полная пустота, а в ней — творение, любовь и смерть, которые были нераздельны. Вам приходилось следить за тем, как вы идёте, автобусы, проезжая, почти касались вас.

Вечер был прекрасный; несколько облаков собралось вокруг заходящего солнца; и было ещё несколько блуждающих облаков, окрашенных в ярко-огненные цвета, а между ними, будто ими пойманный, молодой месяц. Рёв моря, проходя через казуарины и пальмы, умерял свою ярость. Высокие, стройные пальмы казались чёрными на фоне яркого, пылающего розовым цветом неба, и целая стая белых водяных птиц направлялась на север, группа за группой; они летели, вытянув назад свои тонкие ноги и медленно двигая крыльями. Длинная череда скрипучих, запряжённых волами повозок с грузом дров, срубленных казуарин, держала свой путь к городу. Какое-то время дорога была забита, но при дальнейшем продвижении, когда стало темнее, она сделалась почти пустынной. Как раз когда садится солнце, на землю тихо спускается удивительное ощущение мира, нежной доброты, очищения. Ощущение это — не реакция; оно есть в городе со всем его шумом, убожеством, суетой и коловращением людей; оно есть и на этом маленьком клочке заброшенной земли; оно есть там, где стоит это дерево с застрявшим в нём цветным змеем; оно есть на этой пустой улице напротив храма; оно везде, только нужно быть пустым, свободным от дня. И этим вечером оно было на этой дороге, мягко уводя вас от всего и всех, и по мере того как темнело, оно становилось всё более интенсивным и прекрасным. Между пальм виднелись звёзды и среди них Орион, выходящий из моря, а Плеяды, проделавшие уже три четверти пути, были для них недосыгаемы. Крестьяне знакомились с нами, хотели поговорить, продать какую-нибудь землю нам, чтобы мы жили среди них. И по мере приближения ночи спускалось то иное, со своим взрывным блаженством, — и мозг был неподвижен, как эти деревья, на которых ни один листок не шелохнулся. Всё стало более интенсивным, каждый цвет, каждая форма, и в этом бледном лунном свете все придорожные лужи были водами жизни. Всё должно уйти, быть смыто, — не то, чтобы иное должно быть принято, но мозг должен быть совершенно спокоен, чувствителен, наблюдать и видеть. Как наводнение, затапливающее сухую, обожжённую землю, иное пришло, полное блаженства и ясности, и оно осталось.

(день его последней беседы)

Было ещё далеко до рассвета, когда резкий крик птицы на мгновение разбудил ночь, и свет этого крика угасал. Деревья оставались тёмными, неподвижными, сливаясь с воздухом. Это была мягкая, спокойная ночь, бесконечно живая; она пробудилась, в ней было движение, глубинное шевеление, вместе с полным безмолвием. Даже в деревне поблизости, где много вечно лающих собак, было тихо. Это была странная тишина — ужасно могущественная, разрушительно живая. Она была такой живой и тихой, что вы боялись пошевелиться; ваше тело застыло в неподвижности, а мозг, пробуждённый этим резким криком птицы, стал тихим, безмолвным при высочайшей чувствительности. Ночь сияла звёздами в безоблачном небе; они казались такими близкими, и Южный Крест висел прямо над деревьями, сверкая в тёплом воздухе. Всё было очень спокойно.

Медитация никогда не происходит во времени; время не может привести к радикальной перемене — оно может привести только к изменению, которое опять нуждается в изменениях, подобно всем улучшениям или реформам; медитация, являющаяся результатом времени, всегда связывает, в ней нет свободы — а без свободы всегда присутствуют выбор и конфликт.

Высоко в горах, среди голых скал, где ни дерева ни куста, был маленький ручей, изливавшийся из массивной, неприступной скалы; едва ли даже это был ручей, просто струйка. Спускаясь ниже, он образовывал водопад, всего лишь журчание, затем он спускался всё ниже и ниже в долину и уже ревел во всю мочь; ему предстоял длинный путь через города, долины, леса и открытые пространства. Ручью предстояло стать неудержимой рекой, в стремительном беге заливающей берега свои, очищающей себя в своём течении, с грохотом обрушивающейся на скалы, текущей в дальние земли, безостановочно устремляясь к морю (*Он был тогда в Бенаресе и вспоминает здесь исток Ганга, который однажды посетил. Он остановился в Раджсхате, к северу от Бенареса, на берегу Ганга, где находится школа Кришиамурти. Индийцы называют Бенарсс Банарасом или Варанеси*). Важно было не достижение моря, а то, что она была рекой, такой широкой и такой глубокой и полноводной и великолепной; она впадёт в море и исчезнет в его необъятных бездонных водах — это море было далеко, за много тысяч миль, но отсюда и до моря она была жизнью, красотой и непрекращающимся весельем; ничто не могло помешать этому, даже фабрики и дамбы. Это была действительно чудесная река, широкая, глубокая, с таким множеством городов по берегам, такая беззаботно свободная и никогда не перестающая быть собой, не пытающаяся в чём-нибудь забыться. Вся жизнь была здесь, на её берегах, зелёные поля, леса, одинокие дома, смерть, любовь и разрушение; над ней проходили длинные широкие мосты, изящные и очень хорошо используемые. Другие ручьи и реки впадали в неё, но она была матерью всех рек, больших и малых. Она всегда была полноводной, всегда сама очищала себя, и было блаженством наблюдать её вечером, когда краски облаков сгущались и вода в ней становилась золотой. Но маленькая струйка так далеко отсюда, среди тех гигантских скал, которые казались такими сосредоточенными на том, чтобы произвести её, была началом жизни, а её окончание — за пределами её берегов и морей.

Медитация была подобна той реке, только у неё не было ни начала, ни конца; она началась, и её конец был её началом. У неё не было никакой причины, и её движение было её обновлением. Медитация всегда была новой и никогда не накапливала, чтобы стать старой; и она никогда не загрязнялась, поскольку не имела корней во времени. Хорошо медитировать без принуждения, без приложения усилия, начиная с ручейка и продвигаясь за пределы времени и пространства, куда не могут войти мысль и чувство, где нет переживания.

Было прекрасное утро, довольно прохладное, и до рассвета было ещё далеко; несколько деревьев и кусты вокруг дома, казалось, за ночь стали лесом, скрывая множество змей, диких животных; лунный свет с тысячью теней усиливал это впечатление; это были огромные деревья, намного выше дома, и все они были безмолвны и ждали рассвета. И вдруг сквозь деревья и из-за них донеслась песня, религиозная песня преданности и почитания; голос был звучный, и певец вкладывал в песню душу, и песня уносилась далеко в залитую лунным светом ночь. Слушая песню, вы уносились на волне звука — и вы были ею и за её пределами, за пределами мысли и чувства. Потом прозвучал ещё другой звук, звук инструмента, очень слабый, но отчётливый.

Река здесь широкая и величественная; она глубокая и гладкая, как озеро, без ряби. На ней несколько лодок, в основном, рыбачьих; есть судно и побольше, с рваным парусом, везущее песок в город за мостом. Что действительно прекрасно, так это водное пространство, простирающееся на восток, и берег на другой стороне; выглядит река как громадное озеро, полное несказанной красоты и простора, под стать небу; местность здесь равнинная, небо наполняет землю, и горизонт за деревьями очень и очень далёк. Деревья растут на другом берегу, за недавно засеянным полем: там простираются зелёные поля, за ними деревья и среди них деревни. Река очень высоко поднимается во время дождей, принося с собой плодородный ил, и озимая пшеница высевается, когда вода спадает; она имеет изумительный зелёный цвет, очень густая и обильная, и длинный, широкий берег представляет собой очаровательный зелёный ковёр. Деревья этой стороны реки выглядят как непроходимый лес, но среди них прячутся деревни. И здесь есть одно дерево, огромное, с выступающими корнями, составляющее славу берега; под ним — маленький белый храм, но его боги — как вода, которая утекает, а дерево остаётся; у него густая листва, листья с длинными хвостиками, и птицы прилетают сюда из-за реки на ночь; оно высится над другими деревьями, и вы можете видеть его, как бы далеко вы ни ушли вниз по реке. В нём присутствует красота, достоинство того, что одиноко. А деревни перенаселённые, маленькие, грязные, и люди засоряют землю вокруг них. С этой стороны белые стены деревень среди деревьев выглядят свежими, изящными и необычайно красивыми. Красота не создана человеком; созданное человеком вызывает чувства, настроение, но это не имеет ничего общего с красотой. Красота никогда не может быть собрана, составлена или создана, она не может находиться в музее. Нужно выйти за пределы всего этого, всякого личного вкуса и выбора, очиститься от всех эмоций, ибо любовь и есть красота. Река величественно изгибается в своём течении на восток (*хотя Раджгхат севернее Бенареса, он ниже по течению, потому что река в этом месте поворачивает на северо-восток, прежде чем снова потечёт на юг*) мимо деревень, городов, дремучих лесов, но здесь, сразу за городом и за этим мостом, река и её противоположный берег являли собой сущность всех рек и берегов; у каждой реки своя песня, своя прелесть и своё озорство, но здесь в самом своём безмолвии она содержит в себе землю и небеса. Это священная река, как все реки, но всё же здесь, в этом длинном изгибе реки присутствует нежность огромной глубины и разрушения. Глядя на неё сейчас, вы были бы очарованы её возрастом зрелости и расцвета, её спокойствием. И вы забыли бы всю землю и небо. В этом спокойном безмолвии пришло то неведомое иное — и медитация утратила своё значение. Это было как волна, пришедшая издалека, набирающая мощь по мере движения и обрушивающаяся на берег, сметая перед собой всё. Только здесь не было времени и расстояния; оно было здесь — с непостижимой силой, с разрушительной жизненностью, а также с той сущностью красоты, которая есть любовь. Никакое воображение не могло наколдовать всего этого, никакой скрытый глубинный импульс не может спроецировать эту безмерность. Всякая мысль и всякое чувство, всякое желание и принуждение полностью отсутствовали. Это не было переживанием; переживание подразумевает узнавание, накапливающий центр, память и непрерывную преемственность. Это не было переживанием; только незрелый жаждет переживания и потому захвачен иллюзией; это было просто событие, происшествие, факт, как солнечный закат, как смерть и изгиб реки. Память не могла уловить этого в свою сеть и удержать, а потому не могла и разрушить. Время и память не могли удержать, а мысль — проследить это. Это была вспышка, в которой и время и вечность сгорели, не оставив никакого пепла — памяти. Медитация означает совершенное и полное опустошение ума, но не с целью

получить, добыть, достигнуть, а опустошение без мотива; медитация действительно есть опустошение ума от известного, осознанного и не осознанного, от всякого переживания, мысли и чувства. Отрицание — сама суть свободы, а утверждение, позитивное следование по какому-либо пути — это рабство.

Две вороны дрались; они ужасно злились друг на друга, в их голосах была ярость; обе находились на земле, но одна брала верх, вонзая свой крепкий чёрный клюв в другую. Окрики из окна не приносили пользы, и одной из них предстояло быть убитой. Пролетающая ворона вдруг нырнула вниз, прервав свой полёт, взывая и крича громче, чем те две, на земле; она приземлилась рядом с ними, колотя их своими чёрными блестящими крыльями. В секунду появилось ещё полдюжины ворон, все они яростно кричали, и несколько из них своими крыльями и клювами разъединили тех двух, которые намеревались убить друг друга. Они могли убивать других птиц, другие существа, но среди их собственного рода не должно было быть убийств — это стало бы концом для всех них. Те две всё ещё хотели драться, но другие отговаривали их, и вскоре все они улетели, и на маленьком открытом пространстве среди деревьев у реки наступило спокойствие. Дело шло к вечеру, солнце скрылось за деревьями, действительно резкий холод прошёл, и все птицы весь день пели, перекликались, производя всё те приятные звуки, которые они обычно производят. Попугаи, как помешанные, слетались на ночлег; было ещё немного рано, но они уже прилетали; большое тамариндовое дерево могло приютить великое множество попугаев; цвет попугаев был почти цветом листьев, но их зелёная окраска была более интенсивная, более живая; если бы вы посмотрели внимательно, вы увидели бы разницу и увидели бы их блестящие и изогнутые клювы, которыми они пользуются, чтобы клевать, карабкаться; переходя с ветки на ветку, они выглядели довольно неуклюжими, но в полёте они были светом небес; голоса у них резкие и пронзительные, и они никогда не летают по прямой, но их цвет был весной земли. Раньше утром на ветке этого дерева грелись две маленькие совы, обратившись к восходящему солнцу; они были такими тихими и неподвижными, что вы бы их даже и не заметили бы (они были того же цвета, что и ветка, крапчато-серые), если бы случайно вы не увидели их вылезавшими из своего дупла в том тамариндовом дереве. Был жестокий холод, совсем необычный, и две золотисто-зелёные мухоловки упали сегодня мёртвыми от холода; одна была самцом, другая самкой; должно быть, они составляли пару; и они погибли в одно и то же мгновение и были ещё мягкими на ощупь. Они были действительно золотисто-зелёные, с длинными изогнутыми клювами, такие нежные, такие изящные, такие всё ещё необыкновенно живые. Цвет — нечто очень странное, цвет — бог, и эти две птички были славой света; цвет останется, хотя механизму жизни пришёл конец. Цвет был более стойким, чем сердце; он был за пределами времени и скорби.

Но мысль никогда не может избавить от мучений скорби. Вы можете рассуждать так и сяк, но она всё равно останется здесь, даже после долгого, сложного движения мысли. Мысль никогда не может разрешить человеческие проблемы; мысль механична, а скорбь — нет. Скорбь столь же непостижима, как любовь, но скорбь препятствует любви. Вы можете полностью избавиться от скорби, но вы не можете призвать любовь. Скорбь — это жалость к самому себе, со всеми её тревогами, с её страхами, чувством вины, — но всё это невозможно смыть мыслью. Мысль порождает мыслящего, и между ними зарождается скорбь. Окончание скорби — в свободе от известного.

Когда солнце уже приближалось к горизонту на западе, на реке оказалось множество рыбацких лодок, и она была внезапно разбужена смехом и громкими разговорами; их было двадцать три, и в каждой лодке находилось по два-три человека. Река здесь широкая, и эти лодки, казалось, получили её воды в своё распоряжение; они состязались в скорости, люди на лодках кричали, звали друг друга возбуждёнными голосами, как и грающие дети; эти люди были очень бедны, в грязном тряпье, но как раз сейчас у них не было никаких забот, и их громкие разговоры и смех наполнили воздух. Река искрилась и сверкала, и лёгкий ветерок чертил на воде различные узоры. Вороны уже начинали перелетать обратно через реку на свои излюбленные деревья; ласточки летали низко, почти касаясь воды.

(В этот день он провёл первую из семи бесед в Раджсхате.)

Извилистый ручей прокладывает себе дорогу к широкой реке; он проходит через грязную часть города, замусоренную всем, что только можно вообразить, и выходит к реке почти обессиленный; поблизости оттого места, где ручей впадает в большую реку, над ним есть шаткий мостик, сделанный из бамбука, кусков верёвки и соломы; когда он почти рушится, в мягкое дно ручья втыкают шест, добавляют ещё и соломы, и ила, и связывают всё это не очень толстой верёвкой с множеством узлов. Всё это сооружение весьма ненадёжно; должно быть, когда-то этот мост был вполне прямым, но сейчас провис, почти касаясь лениво текущей воды, и когда проходите по нему, слышите, как ил и солома падают в воду. Но всё же он, наверное, достаточно прочен; это узкий мостик, и довольно трудно не задеть того, кто идёт вам навстречу. Велосипеды, гружённые молочными бидонами, успешно перебираются через него, ничуть не беспокоясь ни о себе, ни о других; мост постоянно в работе из-за крестьян, идущих в город со своими продуктами и устало возвращающихся вечером обратно к себе в деревню, неся что-нибудь — клещи, воздушного змея, масло, кусок дерева, каменную плитку и прочее, чего они не могут найти в собственной деревне. Они, одетые в лохмотья, грязные, больные, бесконечно терпеливые, проходят босиком бессчётные мили; у них нет энергии, чтобы взбунтоваться и изгнать всех политиков из страны, но тогда они и сами вскоре стали бы политиками, хитрыми эксплуататорами, изобретающими способы и средства удержать власть, это зло, которое губит людей. Мы переходили мост вместе с огромным буйволом, несколькими велосипедами, крестьянами; он был близок к тому, чтобы обрушиться, но мы все каким-то образом перебрались, а это большое, нескладное животное, похоже, вообще не обратило на это внимания. Поднявшись на берег и пройдя исхоженной песчаной тропой мимо деревни и древнего колодца, вы выходили на открытую, ровную местность. Здесь были манго, тамаринды и поля озимой пшеницы; эта равнина тянется миля за милей, пока не упирается вдаль в подножия холмов и вечных гор. Эта тропа древняя, ей много тысяч лет и бессчётные пилигримы прошли по ней с её разрушенными храмами. (*«Тропа пилигримов», проходящая через Раджсхат, связывает Каши с Сарнатхом, где Будда произнёс свою первую проповедь после Просветления.*) Когда тропа поворачивает, вашим глазам открывается река, вдаль между деревьями.

Это был чудный вечер, прохладный, тихий, небо же было огромное, ни дерево, ни земля не могли вместить его; горизонта почему-то не было, деревья и бесконечная ровная земля сливались с расширившимся небом. Оно было бледное, нежно-голубое, и солнечный закат оставил золотую дымку, там, где должен был бы быть горизонт. Птицы зывали из своих укрытий на деревьях, блеяла коза, и вдалеке свистел поезд; некоторые жители деревни, все женщины, собрались вокруг огня; странным образом, они тоже примолкли. Цвела горчица, усиливая всё своей желтизной, и из деревни за полями прямо вверх поднимался в воздух столб дыма. Безмолвие было удивительно пронзительным; оно шло через вас и помимо вас; это происходило без движения, без волны; а вы входили в него, вы чувствовали его, вы дышали им, вы были им. И это не вы вызвали это безмолвие обычными трюками мозга. Оно было здесь, и вы принадлежали ему; вы не переживали его, не было никакой мысли, которая могла бы переживать, могла бы вспоминать, накапливать. Вы были неотделимы от него, и потому вы не могли наблюдать, анализировать. Было только оно и ничего больше. По часам уже становилось поздно; по часам это чудо безмолвия длилось около получаса, но здесь не было никакой длительности, никакого времени. В нём вы возвращались обратно мимо древнего колодца,

деревни, через узкий мост, в комнату, где было темно. Оно было здесь, и с ним было иное, ошеломляющее и приветливое. Любовь — не слово и не чувство; она была здесь со своей несокрушимой силой и нежностью молодого листа, так легко разрушимого. Плеяды стояли прямо над головой, а Орион — над вершинами деревьев, и самая яркая звезда отражалась в воде.

Деревенские мальчишки запускали воздушных змеев на берегу вдоль реки; они кричали во всю мочь, смеялись, гонялись друг за другом и заходили в реку, чтобы достать упавших змеев; их возбуждение было заразительным, потому что и люди постарше, выше на берегу, наблюдали за ними, крича и подбадривая их. Похоже, это было вечерним развлечением для всей деревни, даже голодные, облезлые собаки лаяли; каждый принимал участие в этом веселье. Все они были истощены, среди них не было ни одного упитанного человека, даже среди пожилых; чем старше, тем тоньше они были; даже дети все были такие худенькие, но, похоже, в них была масса энергии. Они были все одеты в рваные, грязные лохмотья, залатанные разнообразными и разноцветными кусками материи. Но все они были полны веселья, и даже старые, больные; казалось, они и не осознавали своей нищеты и своей физической слабости, так как многие из них несли тяжёлые свёртки и узлы; они обладали поразительным терпением, и оно было им необходимо, так как смерть была здесь, и очень близко, так же как и жизненные страдания; всё это было здесь одновременно — смерть, рождение, секс, бедность, голод, веселье, слезы. Под деревьями, выше на берегу, недалеко от разрушенного старого храма у них было место, где они хоронили своих покойников. *(Эти крестьяне были мусульмане.)* Много было маленьких детей, которым предстояло узнать голод, запах немых тел и запах смерти. Но река была здесь всегда, иногда угрожающая деревне, но сейчас спокойная, гладкая, и ласточки летал и очень низко, почти касаясь глади воды, имевшей какой-то нежно-огненный оттенок. Река была для них всем; иногда они купались в ней, мыли в ней свою одежду и свои худые тела, поклонялись ей, бросали в неё цветы, когда могли достать их, чтобы показать ей своё уважение; они ловили в ней рыбу и умирали рядом с ней. Река была так безразлична к их радости и скорби, она была такой глубокой, такая мощь и сила стояли за ней, и она была ужасно живой и потому опасной. Но сейчас она была спокойна, совсем без ряби, на ней была видна тень каждой ласточки; они далеко не залетали, обычно они пролетали на низкой высоте около ста футов, немного поднимались, поворачивали, снова снижались, пролетали ещё сотню футов, и так до темноты. Там были и маленькие водяные птички, быстрые в полёте, с хвостами,двигающимися вверх и вниз, были и большие, цвета почти как сырая земля, серовато-бурые, бродившие у самой кромки воды, то заходя в реку, то выбираясь на берег. Но чудом всего этого было небо, такое просторное, безбрежное, без горизонта. Предвечерний свет был мягким, ясным, очень нежным; он не оставлял тени, и каждый куст, дерево или птица были сами по себе, пребывая в некотором уединении. Искрившаяся и сверкавшая днём река стала теперь светом неба, зачарованная, дремлющая, погружённая в свою красоту и любовь. В свете том всё перестаёт существовать — и сердце, которое плакало, и мозг, который был хитёр; удовольствие и боль ушли, оставив только свет, прозрачный, мягкий и ласкающий. Это был свет; мысль и чувство не имели к нему отношения, никогда они не могли дать света; их не было здесь, только этот свет, когда солнце уже за стенами города и в небе ни облачка. Вы не можете видеть этот свет, если не знаете вневременного движения медитации; окончание мысли и есть это движение. Любовь — не путь мысли или чувства.

Было очень тихо, ни один лист не шевелился, и было темно; и все звёзды, какие только могли заполнить реку, были в ней, и они выплёскивались в небо. Мозг был абсолютно спокойным, но очень живым и внимательным, наблюдая без наблюдающего, без центра, из которого он наблюдает, и не было никаких ощущений. Иное было здесь, глубоко внутри, на неизмеримой глубине; оно было действием, смывающим всё, не оставляя следов того, что было, или того, что есть. Не было пространства, чтобы иметь границы, и не было времени, в котором

могла бы сформироваться мысль.

Есть что-то необычайно приятное в том, чтобы гулять одному далеко от города по тропе, которую тысячелетиями использовали пилигримы; около неё есть очень старые деревья, тамаринд и манго, и она проходит через несколько деревень. Она идёт между зелёными полями пшеницы; под ногами она мягкая, тонкая, сухая пыль, в сырую же погоду должна стать вязкой глиной; мягкая, тонкая земля въедается в ваши ноги, проникает вам в нос и глаза, но не слишком сильно. Здесь есть древние колодцы, храмы и слабеющие, увядающие боги. Местность плоская — плоская, как ладонь руки, — и простирается до горизонта, если здесь есть горизонт. На тропе очень много поворотов, за несколько минут она поворачивает во все стороны света. Кажется, что и небо следует этой тропой, открытой и дружелюбной. Мало в мире троп, подобных этой, хотя у каждой своё очарование, своя красота. Есть тропа [в Гитааде], идущая через долину, мягко поднимаясь между обильными пастбищами, на которых собирают корм для коров на зиму; эта долина становится белой от снега, но тогда [когда он был там] был конец лета, богатый цветами, вокруг высились заснеженные горы, а через долину бежал шумный поток; на этой тропе почти никого не бывало, и вы гуляли по ней в безмолвии. Есть ещё другая тропа [в Охайе], круто взбирающаяся по склону сухой, пыльной и осыпающейся горы; она была каменистая, неровная и скользкая; нигде поблизости не было ни одного дерева или даже куста; куропатка с новым выводком малышей, их было больше дюжины, была там, а ещё дальше вверх вы наткнулись на смертоносную гремучую змею, которая совсем свернулась, готовая ударить, но давала вам честное предупреждение. Но сейчас тропа эта была не похожа ни на какую другую; она была пыльная, замусоренная тут и там людьми, и здесь же стояли разрушенные старые храмы с их идолами; большой бык вволю кормился среди растущих хлебов, никем не тревожимый; были ещё обезьяны и попугаи и этот свет небес. Это была тропа тысяч людей в течение многих тысяч лет. Идя по ней, вы исчезали; вы шли без единой мысли, вокруг же было это невероятное небо и деревья с густой листвой и с птицами. На той тропе есть манговое дерево, оно великолепно; у него так много листьев, что ветвей нельзя увидеть, и оно очень старое. Когда вы идёте, никакого чувства нет вообще; мысль тоже ушла, но есть красота. Она наполняет землю и небо, каждый листок и стебелёк увядающей травы. Красота покрывает здесь всё, и вы принадлежите ей, вы входите в неё. Ничто не заставляет вас чувствовать это, но она здесь, и именно благодаря тому, что вас нет, она здесь, без слова, без движения. Вы возвращаетесь в тишине и угасающем свете.

Каждое переживание оставляет след, каждый след искажает переживание; так что нет такого переживания, которого уже не было бы раньше. Всё старо — и нет ничего нового. Но это не так. Все следы всех переживаний смываются — мозг, эта кладовая прошлого, становится абсолютно спокойным и бездвижным, без реакции, но живым и чувствительным; тогда он теряет прошлое и опять становится новым.

Оно было здесь, то беспредельное, не имеющее ни прошлого, ни будущего; оно было здесь, не зная даже настоящего. Оно наполнило комнату, выходя за пределы всех измерений.

Солнце выходит из деревьев и заходит над городом, и между деревьями и городом — вся жизнь, всё время. Между ними протекает река, глубокая, живая и спокойная; множество маленьких лодок движутся по ней вверх и вниз; некоторые, с большими квадратными парусами, везут дрова, песок и тёсаный камень, а иногда мужчин и женщин, возвращающихся в свои деревни, но в большинстве своём это маленькие рыбачьи лодки с худыми смуглыми людьми. Они выглядят счастливыми, говорливыми, они перекликаются и что-то кричат друг другу, и хотя все они одеты в лохмотья и у них нет возможности много есть, но обязательно — множество детей. Они не умеют читать и писать, у них нет никаких внешних развлечений, никакого кино и прочего, но они развлекают себя сами, исполняя хором благочестивые песни и гимны и рассказывая религиозные истории. Все они очень бедны, и жизнь их очень трудна; болезнь и смерть всегда здесь, как земля и река. Этим вечером было больше, чем всегда, ласточек, летающих низко, почти касаясь воды, вода же была цвета угасающего огня. Всё было таким живым, таким интенсивным; четыре или пять толстых щенков играли вокруг своей тощей, голодной матери; вороны, множество их групп, перелетали обратно на другой берег; попугаи возвращались к своим деревьям, в своей обычной манере, молниеносно и крикливо; поезд переезжал мост, его шум далеко разносился по реке, и женщина совершала омовение в холодной реке. Всё старалось выжить; битва за саму жизнь — и всегда смерть; бороться каждое мгновение жизни, а потом умереть. Но между восходом солнца и его заходом за стенами города время вбирало в себя всю жизнь — время прошлое и настоящее выедало сердце человека; человек существовал во времени и потому знал скорбь.

Но крестьяне, идущие позади, по узкой тропе у реки, вытянувшись в цепочку друг за другом, каким-то образом были частью человека, который шёл впереди; их было восемь, и старик, шедший сзади первым, всё время кашлял и плевал, другие же шли более или менее молча. Идущий впереди осознавал их, их молчание, их кашель, их усталость после долгого дня; все они были не возбуждены, спокойны, скорее даже веселы. Он осознавал их, как он осознавал мерцающую реку и мягкий огонь небес и птиц, возвращающихся в свои убежища; не было центра, из которого он видел, чувствовал, наблюдал; всё это подразумевает слово, мысль. Мысли не было, лишь всё это. Все они шли быстро — и время перестало существовать; эти крестьяне возвращались домой, к своим хижинам, и человек шёл с ними; они были частью его, не в том смысле, что он осознавал их частью себя. Они текли с рекой, летели с птицами и были такими же открытыми и широкими, как небо. Это было фактом, не воображением; воображение — это подделка, факт же — жгучая реальность. Все девять шли бесконечно, идя и никуда и ниоткуда; это была бесконечная процессия жизни. Время и всякая индивидуальная обособленность удивительным образом прекратились. Когда человек впереди повернул, чтобы идти назад, все крестьяне, особенно старик, кто был так близко, сразу за ним, приветствовали его так, будто они были старинными друзьями. Темнело, и ласточки улетели; на длинном мосту загорелись огни, и деревья погружались в себя. Вдали в храме звонил колокол.

Здесь есть узенький канал, около фута шириной, который идёт между зелёными полями пшеницы. Вдоль него есть тропа, и вы можете идти по ней достаточно долго, не встретив ни души. Этим вечером на ней было особенно тихо и спокойно; и толстая сойка с поразительно яркими синими крыльями пила воду в этом канале; сойка была жёлто-коричневая с этими своими потрясающими синими крыльями; она не относилась к числу скандальных соек, и вы могли подойти к ней почти вплотную, без того, чтобы вас обругали. Она глядела на вас в удивлении, вы смотрели на неё со вспышкой симпатии; она была толстая, довольная и очень красивая. Сойка выжидающе смотрела, что вы будете делать, и поскольку вы ничего не делали, она успокоилась и вскоре улетела, не издав ни единого звука. Вы встретили в этой птице всех птиц, когда-либо появлявшихся на свет, — это сделала та вспышка. Это не была хорошо спланированная, продуманная вспышка; она просто произошла, с интенсивностью и неистовством, само потрясение от которых остановило всякое время. Но вы шли по этой узкой тропе дальше, мимо дерева, которое стало символом храма, так как там были цветы и грубо размалёванный образ, идол, а храм был символом чего-то другого, и это что-то другое в свою очередь было гигантским символом. Слова, символы, подобные флагу, стали ужасающе важными. Символы были пеплом, который питает ум, а ум был бесплоден, и мысль рождалась в этой пустыне. Она была умной, изобретательной, как всё, что выходит из бесплодного, иссушающего небытия. Но дерево было великолепным, на нём было полно листьев, оно давало приют множеству птиц; земля вокруг него была подметена и содержалась в чистоте; люди построили вокруг дерева платформу из глины, и на ней стоял идол, прислонённый к толстому стволу. Листок погибает быстро, но каменный идол — нет; он будет стоять, разрушая умы.

Ранним утром солнце стояло на воде, и в лучах его вода ярко поблёскивала, почти слепя глаза; лодка рыбака пересекала блистающую дорожку, и лёгкий туман ещё оставался среди деревьев на противоположном берегу. Река никогда не бывает неподвижной, всегда есть движение, танец из бесчисленных па, и в это утро она была очень живой, делая деревья и кусты тяжёлыми, вялыми, что вовсе не относилось к птицам, которые перекликались и пели, и попугаям, издававшим поблизости пронзительные крики. Эти попугаи жили в тамариндовом дереве рядом с домом, и они и прилетали и улетали весь день, неутомимые в своих перелётах. Их лёгкие зелёные тела светились на солнце, и красные кривые клювы казались ярче, когда они мелькали мимо. Полёт у них быстрый и резкий, и вы могли увидеть их среди зелёных листьев, если смотрели внимательно, там они становились неуклюжими и не такими шумными, как при полёте. Было рано, но все птицы вылетели задолго до того, как солнечные лучи упали на воду. Даже в этот час река проснулась со светом небес, и медитация была обострением безмерности ума; ум никогда не спит, никогда не бывает полностью бессознательным; проявления его были и тут, и там, обостряемые конфликтом, болью, притупляемые привычкой и скоропреходящим удовлетворением, и каждое удовольствие оставляло за собой след страстного желания. Но все эти затемнённые коридоры и галереи не оставляли места для полноты ума. Они стали невероятно важными, им всегда придаётся наседающее значение актуальности, безмерное же отодвигается в сторону ради малого, безотлагательного. Безотлагательное — время мысли, а мысль не может разрешить никакой проблемы, кроме механической. Но медитация — не путь машины; её нельзя смонтировать с целью куда-то добраться; это не лодка для переправы на другой берег. Нет никакого берега, никакого прибытия, и подобно любви, она не имеет мотива. Она есть бесконечное движение, действие которого проявляется во времени, но не является действием времени. Всякое действие безотлагательного, времени, — почва скорби; ничто не может вырасти на ней, кроме конфликта и боли. Медитация — осознание этой почвы; не проводя различия, она никогда не позволяет семени пустить корни, будь они приятны или болезненны. Медитация есть исчезновение, смерть переживания. И только тогда есть ясность, свобода которой — в видении. Медитация — это необыкновенное блаженство, которого не купить на рынке; ни гуру, ни ученик не могут иметь к нему отношения; всякое следование чему-то или за кем-то и лидерство должны прекратиться так же легко и естественно, как лист падает на землю.

Неизмеримое было здесь, наполняя и малое пространство, и всё пространство; оно пришло так же мягко, как ветерок проходит над водой, но мысль не могла удержать его, и прошлое — время — было неспособно измерить его.

За рекой дым поднимался прямо вверх, как колонна; это было простое движение, стремительный бросок в небо. В воздухе ни дуновения, и на реке никакой ряби, и каждый лист неподвижен; и единственное шумное движение производили попугаи, пронесившиеся мимо. Даже маленькая рыбацья лодка не тревожила воду; всё, казалось, замерло в неподвижности, кроме дыма. Хотя он так прямо поднимался в небо, было в нём определённое веселье и свобода полного действия. А за деревней и дымом было пылающее вечернее небо. День был прохладный, небо днём чистое, и свет был светом тысячи зим; он был резким и пронзительным и распространяющимся; он сопровождал вас повсюду, он никогда не покидал вас. Подобно аромату, свет оказывался в самых неожиданных местах; казалось, свет проникал в самые тайные уголки вашего существа. Это был свет, который не оставлял тени, и каждая тень теряла свою глубину; из-за этого всякая субстанция теряла свою плотность, и вы видели как бы сквозь всё, сквозь деревья по ту сторону стены, сквозь самого себя. Вы и сами были прозрачны, как небо, и так же открыты. Он был интенсивным, и быть с ним значило быть страстным, — не страстью чувства или желания, но страстью, которая никогда не увянет и никогда не умрёт. Это был удивительный, необыкновенный свет; он всё выявлял и делал уязвимым, и то, что не имело защиты, было любовью. Вы не могли быть таким, каким вы были — вы были сожжены, не оставив никакого пепла, и внезапно не осталось ничего, кроме этого света.

Маленькая девочка, лет десяти или двенадцати, стояла в саду, прислонившись к столбу; она была грязная, её волосы, не мытые много недель, были в пыли и нечёсаны; одежда у неё была рваная и нестираная, грязная, как она сама. Вокруг шеи у неё был длинный лоскут, и она смотрела на людей, которые пили чай на веранде; она смотрела с полным безразличием, без всякого чувства, без всякой мысли о том, что происходит; её глаза были направлены на группу на первом этаже, и ни попугаи, издававшие иногда поблизости пронзительные «крики, ни голуби мягко-землистого цвета, которые были совсем рядом с ней, не оказывали на неё никакого действия и не вызывали ни малейшего отклика. Она была не голодна и, по-видимому, была дочерью одного из слуг, поскольку выглядела знакомой с этим местом и вполне упитанной. Она держала себя так, будто была взрослой молодой леди, полной уверенности, и в ней ощущалась странная отчуждённость. Наблюдая за ней на фоне реки и деревьев, вдруг чувствовали вы, что смотрите за чаепитием без всякой эмоции, без всякой мысли, с полным безразличием ко всему, к тому, что может случиться. И когда девочка ушла к тому дереву над рекой, это вы ушли, это вы сели на землю, пыльную и неровную, это вы подняли обломок палки и бросили его на берег, вы, одинокий, неулыбчивый, лишённый заботливого ухода, внимания. Вскоре вы поднялись, побрели прочь, огибая дом. И, странным образом, вы были голубями, белкой, мчащейся вверх по дереву, тем неумытым чумазым шофёром и рекой, что текла так спокойно. Любовь не является скорбью, любовь также не состоит из ревности, но она опасна, потому что она разрушает. Она разрушает всё, что человек выстроил вокруг себя, кроме кирпичей. Она не может строить храмы или реформировать загнивающее общество; она ничего не может делать, но без неё нельзя сделать ничего, как бы вы ни старались. Любой компьютер или автомат может изменить положение дел и дать человеку досуг, который становится ещё одной проблемой, когда есть уже так много проблем. Любовь не имеет проблем, именно потому она так разрушительна и опасна. Человек живёт проблемами, этими нерешёнными, вечно продолжающимися делами; без них он не знал бы, что ему делать; он потерялся бы, а потерявшись, ничего бы не достиг. Поэтому проблемы бесконечно умножаются; в разрешении одной заключена следующая, но смерть — конечно, разрушение, это не любовь. Смерть — это старость, болезнь и проблемы, которых никакой компьютер не может разрешить. Это не то разрушение, которое приносит любовь; это не та смерть, которую приносит любовь. Это пепел от костра, который был старательно сооружён, это шум автоматических машин, продолжающих работать без перерыва. Любовь, смерть, творение нераздельны; вы не можете иметь одно и отвергнуть прочее; вы не можете купить это на базаре или в церкви; базар, церковь—последние места, где это можно найти. Но если вы не ищете, если у вас нет проблем, ни одной, это может прийти к вам, когда вы смотрите иначе, по-другому.

Это неизвестное, и всё, что вы знаете, должно выжечь себя, не оставив и пепла; прошлое — будь оно богатое или убогое — следует оставить, так же беспечно и небрежно, без всякого мотива, как эта девочка выбросила палку на дорогу. Сжигание известного есть действие неизвестного. Вдали играет флейта, но не слишком хорошо, и солнце, гигантский красный шар, садится за стены города, и река приобретает мягко-огненную окраску, и все птицы возвращаются на ночлег.

Рассвет только наступал, а все птицы, казалось, уже проснулись; они перекликались, распевая и бесконечно повторяя одну-две ноты; громче всех кричали вороны. Их было великое множество, и они каркали друг на друга; вам приходилось внимательно прислушиваться, чтобы уловить голоса других птиц. Попугаи уже пронзительно кричали в полёте, быстро проносясь мимо, и в этом бледном свете их чудесная зелёная окраска уже была великолепна. Ни один листок не шевелился, и текла река серебристая, широкая и необъятная, насыщенная ночью; ночь что-то сделала с ней, она стала богаче, более единой и нераздельной с землёй; река была полна интенсивности, разрушительной в своей чистоте. Другой берег ещё спал, деревья и широкие зелёные просторы пшеницы всё ещё были таинственные и спокойные, и вдали звонил храмовый колокол, без музыки. Теперь всё начинало просыпаться, громко, во весь голос, приветствуя приход солнца. Каждое карканье, каждый пронзительный птичий крик стал громче, а краски каждого листка и цветка стали кричащими; сильным был запах земли. Солнце взошло над листвой деревьев и положило золотую тропу через реку. Это было прекрасное утро, и его красота останется, не в памяти; память — дело пустое; это нечто мёртвое, и она не может удержать красоту или любовь. Она их разрушает. Она механична, в ней есть своя польза, но красота не принадлежит памяти. Красота — всегда новое, а новое не имеет отношения к старому, которое всегда принадлежит времени.

(В это утро он провёл последнюю из семи бесед).

Луна была ещё совсем молодая, и всё же давала достаточно света для теней; теней было множество, и они были очень спокойны. На этой узкой тропе все тени казались живыми, шепчущимися друг с другом; каждая тень листа что-то говорила своей соседке. Формы листа и тяжёлого ствола были чётко видны на земле, и река внизу была из серебра; она была широкая, безмолвная, и было в ней глубинное течение, не оставляющее следа на поверхности. Даже вечерний ветерок замер, и не было облаков, которые могли бы собраться во круг заходящего солнца; высоко в небе виднелось одинокое, окрашенное розовым подобие облака, которое оставалось неподвижным, пока не исчезло в ночи. Все тамаринды, манго отходили к ночному сну, и все птицы молчали, устраиваясь на ночлег глубоко среди листьев. Маленькая сова сидела на телеграфном проводе, и как раз, когда вы проходили под нею, она улетела на этих своих удивительно бесшумных крыльях. Доставив молоко, возвращались обратно велосипедисты, гремя пустой посудой; их было так много, одиночных или группами, но несмотря на всю их болтовню и шум, сохранялось это особенное безмолвие открытых земных пространств и необъятного неба. В этот вечер ничто не могло нарушить его, даже товарный поезд, пересекавший стальной мост. Здесь есть узкая тропинка, ведущая направо и вьющаяся среди зелёных полей, и, идя по ней вдали от всего, от лиц, от слез, вы осознавали внезапно, что происходит нечто. Вы знаете, что это не воображение, желание, обращающие вас к какой-нибудь фантазии или какому-то забытому переживанию, не воскрешение какого-то удовольствия, надежды; вы прекрасно знаете, что происходящее не является ничем из всего этого, вы всё это уже рассмотрели прежде и отметили прочь, одним движением, и вы осознаёте, что нечто происходит, имеет место. Оно столь же неожиданное, как этот большой бык, появившийся из вечерней темноты; оно здесь с настойчивостью и безмерностью, это иное, которое не может быть уловлено словом или символом; оно наполняет здесь небо и землю и каждую малость на ней. Вы и этот маленький крестьянин, без слов проходящий мимо вас, принадлежите ему. В это вневременное время здесь есть только эта беспредельность, нет мысли, чувства, и мозг абсолютно спокоен. Вся медитативная чувствительность закончилась — только эта невероятная чистота. Это чистота силы, непроницаемой и неприступной, но она была здесь. Всё было неподвижно, не было никакого движения, никакого шевеления, даже звук свистка паровоза был заключён в это безмолвие. Оно сопровождало вас, когда вы возвращались в комнату, и там оно тоже было, ибо оно никогда не покидает вас.

Вместе с тяжело нагруженным верблюдом все мы переправились по новому мосту через маленькую реку — велосипедисты, женщины из деревни, возвращающиеся из города, облезлая собака и старик с длинной седой бородой и надменный. Старый расшатанный мост снесли, и теперь здесь был этот новый мост, построенный из тяжёлых столбов, бамбука, соломы, глины; этот мост был построен прочно, и верблюд ступил на него, не задумываясь; он был ещё надменнее старика, с высоко поднятой вверх головой, презрительный, довольно дурно пахнувший. Мы все перешли мост, большинство крестьян пошло вниз по течению вдоль реки, а верблюд пошёл в другую сторону. Это была пыльная тропа, с мелкими частицами сухой глины под ногами, следы верблюд оставлял большие и широкие; его невозможно было уговорить идти побыстрее, чем ему хотелось; он перевозил мешки с зерном и выглядел абсолютно безразличным ко всему; он проходил мимо древнего колодца и разрушенных храмов, погонщик его делал всё, что мог, чтобы заставить его идти быстрее, шлёпая его своими голыми руками. Там есть и другая тропа, которая поворачивает направо, мимо цветущей жёлтой горчицы, цветущего гороха и густых зелёных полей пшеницы; тропой той не часто пользуются и гулять здесь приятно. Горчица пахла слабо, горох сильнее, пшеница, которая начинала колоситься, тоже имела свой запах, а соединение всех трёх запахов наполняло вечерний воздух ароматом не слишком сильным, но приятным и ненавязчивым. Это был прекрасный вечер, с солнцем, заходящим за деревьями; на этой тропе вы были далеки от всего; хотя вокруг был и разбросаны деревни, вы были далеко, и ничто не могло приблизиться к вам. Дело было не в пространстве, времени или расстоянии, — вы были далеко, и этому не было никакой меры. Глубина не измерялась в метрах, то была глубина, у которой нет ни высшей степени, ни периферии. Случайный крестьянин прошёл мимо вас со своей убогой поклажей, — то немного, что он купил в городе, — и хотя, проходя, он почти коснулся вас, он не приблизился к вам. Вы были далеко, в каком-то неведомом мире, в котором нет измерений; и даже если бы вы захотели, вы не могли бы узнать его. Он был слишком далёк от известного, связи с известным у него не было. Он не был объектом переживания — там нечего переживать, и, кроме того, всякое переживание всегда пребывает в сфере известного, опознаваемого тем, что было. Вы были далеко, безмерно далеко, но деревья, жёлтые цветы, колосья пшеницы были удивительно близко, ближе, чем ваша мысль; они были удивительно живые, с той интенсивностью и красотой, что никогда не может увянуть. Смерть, творение и любовь были здесь, и вы не знали, что из них что, и вы были частью их; они не были отдельными, чем-то, что можно разделить и обсудить. Они были нераздельны и тесно взаимосвязаны, не связью слова и действия или выражения. Мысль не могла сформулировать это, чувство не могло охватить это; мысль и чувство слишком механичны, слишком медлительны, их корни в известном. Воображение основывается на них и не может подойти ближе. Любовь, смерть, творение были фактом, подлинной, фактической реальностью, как тело горели они на речном берегу под деревом. Дерево, огонь и слезы были реальны, были неопровержимыми фактами, но они были реальностью известного и свободой от известного, и в этой свободе эти трое есть нечто нераздельное. Но вам нужно уйти очень далеко и всё же быть очень близко.

Человек на велосипеде пел весьма хриплым и усталым голосом, возвращаясь с позвякивающими пустыми молочными бидонами из города; он жаждал поговорить с кем-нибудь и, проезжая, что-то сказал, помедлил в смущении, потом успокоился и поехал дальше. Луна уже отбрасывала тени, тёмные и почти прозрачные, и всё сильнее становился аромат ночи. За поворотом тропы — река; она казалась освещённой изнутри тысячью свечей; свет был мягкий, с

серебряным и бледно-золотым отливом, совершенно неподвижный — свет был заколдован луной. Плеяды стояли над головой, а Орион уже поднялся достаточно высоко, и поезд пыхтел, взбираясь на мост. Время остановилось, и здесь была красота, с любовью и смертью. На новом бамбуковом мосту не было ни души, даже собаки. Речка была полна звёзд.

До рассвета было далеко, небо ясное, звёздное; над рекой висел лёгкий туман, другой берег был еле виден. Поезд пыхтел, поднимаясь к мосту, — это был товарный поезд; товарные поезда всегда пыхтят на подъёме особым образом, выбрасывая пар долгими, медленными толчками, в отличие от пассажирских, которые производят быстрые и короткие толчки и на мосту появляются почти сразу же. В этом необъятном безмолвии товарный поезд тархтел и грохотал сейчас посильнее, чем когда-либо прежде, но ничто, казалось, не нарушало того безмолвия, в котором пропадают все движения. Это было непроницаемое безмолвие, ясное, сильное, пронзительное; была в нём настоятельность, которую не могло накопить никакое время. Бледная звезда была ясной, а деревья тёмными в своём сне. Медитация стала осознанием всего этого — и выходом за пределы всего этого и времени. Движение во времени — мысль, а мысль не может выйти за пределы своей привязанности к времени — она никогда не свободна. Рассвет занимался над деревьями и рекой; пока ещё только бледный знак, но звёзды теряли свою яркость, и был уже слышен голос утра — птица на дереве, совсем рядом. Но то безмерное безмолвие всё ещё сохранялось, и оно будет здесь всегда, хотя голос птицы и шум человека будет продолжаться.

(Теперь он был в Нью-Дели, где провёл восемь бесед с 21 января по 14 февраля. Должно быть, он прилетел из Бенареса в Дели 20 января).

Холод был слишком суров, ниже точки замерзания; живая изгородь побурела, и бурые листья опали; газон был серо-коричневый, цвета земли; если не считать немногочисленных жёлтых анютиных глазок и роз, сад был пуст. Было слишком холодно, и бедные, как всегда, страдали и умирали; население увеличивалось, и умирали люди. Вы видели их дрожащими, почти без одежды, в грязном тряпье; старая женщина дрожала с головы до ног, обхватив себя руками, оставшиеся зубы стучали; молодая женщина мылась сама, стирая рваную одежду в холодной реке [Джамне], старик кашлял глубоко и тяжело, а дети играли, смеялись, кричали. Говорил и, что это была а особо холодная зима, и многие умирали. Красная роза и жёлтые анютины глазки были интенсивно живыми, их краски пылали; вы не могли оторвать от них глаз, эти два цвета, казалось, распространились и заполнили пустой сад; хотя дети кричали, та дрожащая старая женщина была повсюду; невероятные жёлтый и красный, и неизбежная смерть. Цвет был богом, а смерть была превыше богов. Она была повсюду — и цвет тоже. Вы не смогли бы разделить их, а если бы сделали это, то не было бы жизни. Так же, как вы не смогли бы отделить любовь от смерти, а если бы сделали это, не было бы больше красоты. Каждый цвет выделяется, каждому придают особое значение, но есть только цвет, и когда вы видите каждый отдельный цвет как единственный цвет, только тогда в цвете есть великолепие. Красная роза и жёлтые анютины глазки были не разного цвета, они были цветом, который наполнил пустой сад славой и величием. Небо бледно-голубое — голубизной холодной зимы, зимы без дождей, — но это была голубизна всего цвета. Вы и видели её, вы и были ею; шумы города утихали, но цвет, нерушимый и непреходящий, оставался.

Скорбь сделана уважаемой; ей давались тысячи объяснений; её сделали путём к добродетели, к просветлению; скорбь была взлелеяна в церквях, и в каждом доме к скорби относятся с большим уважением и придают ореол святости.

Повсюду к ней относятся с симпатией, со слезами и благословениями. И потому скорбь продолжается; каждое сердце знает её, живя с ней или убегая от неё, что только придаёт ей ещё больше силы расцветать и омрачать сердце. Но скорбь — путь жалости к себе с его бесчисленными воспоминаниями. Корень скорби в памяти, в мёртвых вещах вчерашнего дня. А вчерашний день всегда очень важен; это тот механизм, который придаёт смысл жизни, это богатство и яркость известного, того, чем обладают. Источник мысли лежит во вчерашнем дне, в тех вчерашних днях, которые придают смысл жизни в скорби. Вчерашний день и есть скорбь, и без очищения ума от вчерашнего дня скорбь будет всегда. Вы не можете очиститься от него мыслью, так как мысль есть продолжение вчерашнего дня, и поэтому также существует множество идей и идеалов. Утрата вчерашнего дня — начало жалости к себе и тупости скорби. Скорбь обостряет мысль, но мысль порождает и питает скорбь. Мысль — это память. Самокритичное осознание всего этого процесса, без выбора, освобождает ум от скорби. Видение этого сложного факта, без мнения и без суждения, есть окончание скорби. Известное должно прийти к концу, без усилия, чтобы неизвестное могло проявиться.

Внешность была абсолютно безупречной; каждая линия, каждый завиток волос были изучены и имели своё место; каждая улыбка и жест были под контролем, каждое движение предварительно изучено перед зеркалом. У неё было несколько детей, волосы уже начинали седеть; должно быть, она располагала деньгами, и в ней ощущалась определённая элегантность, отстранённость. Автомобиль тоже был совершенно безупречен — хром блестел, сверкая в утреннем солнце; покрышки с белыми боками были чистые, без единого пятнышка, так же как и сиденья. Это был хороший автомобиль, способный на быструю езду и прекрасный на поворотах. Весь этот прогресс, это интенсивное и всё развивающееся продвижение вперёд несли с собой безопасность и поверхностность, а скорбь и любовь можно было так легко объяснить и сдерживать, и всегда есть различные транквилизаторы, различные боги, новые мифы, взамен старых. Было яркое, холодное утро, лёгкий туман рассеялся с восходом солнца, воздух был неподвижен. Толстые птицы с желтоватыми ногами и клювами выходили на газончик, очень довольные, склонные поболтать; у них чёрные с белым крылья и тёмные желтовато-коричневые тела. Они были необычайно веселы и скакали и гонялись друг за другом. Потом прилетели вороны с серыми шеями, и толстые птицы улетели, громко ругаясь. Их [ворон]длинные и тяжёлые клювы светились, их чёрные тела сверкали; они следили за каждым вашим движением, ничто не могло ускользнуть от них; они знали, что большая собака пролезает сквозь ограду, ещё до того, как собака заметила их, и они улетели, каркая, и маленький газон опустел.

Ум всегда занят, не тем так этим, глупым или, как предполагается, важным. Он как обезьяна, всегда беспокойная, всегда болтливая, которая движется от одного к другому и отчаянно пытается быть спокойной. Быть пустым, полностью пустым, вовсе не есть нечто ужасное; быть незанятым, быть пустым, без всякого принуждения, абсолютно необходимо для ума, ведь только тогда он может войти в неведомые глубины. Всякая занятость на самом деле совершенно поверхностна, что у той леди, что у так называемого святого. Занятый ум никогда не может проникнуть в собственные глубины, в собственные найденные пространства. Именно эта пустота даёт пространство уму, и в это пространство время войти не может. Из этой пустоты появляется творение, любовь которого есть смерть.

Деревья стояли голые, и все листья опали, даже тонкие и изящные стебли ломались; холод был слишком силен для них; были и другие деревья, которые сохранили свою листву, но они были не очень зелёными, и некоторые деревья побурели. Это была исключительно холодная зима; в предгорьях Гималаев выпал обильный снег, в несколько футов толщины, и на равнинах, в нескольких сотнях миль от них, было совсем холодно; земля была сильно подмороженной, и цветы не цвели; газоны были обожжены. Осталось лишь несколько роз, цвет которых наполнял маленький сад, и жёлтые анютины глазки. Но на всех дорогах и в общественных местах вы видели бедняков, завернутых в рваное, грязное тряпье, босоногих и с укутанными головами, и их тёмные лица едва виднелись. Женщины, одетые во всевозможные цветные тряпки, были грязные, с серебряными браслетами или с какими-нибудь украшениями вокруг щиколоток и кистей; они ступали свободно, легко и с известной грацией; держались они хорошо. Большинство из них были рабочими, и вечером, когда они возвращались в свои дома — на самом деле просто хижины, — они смеялись, поддразнивая друг друга, и молодые с криками и смехом шли обычно далеко впереди более пожилых людей. Это был конец дня, весь же день они тяжело работали; они очень быстро изнашивались, и это они построили дома и конторы, в которых никогда не будут жить или работать. Все важные люди проезжали мимо в своих автомобилях, и эти бедные люди никогда даже не думали посмотреть, кто же это проезжает мимо. Солнце садилось за каким-то разукрашенным зданием, в тумане, висевшем весь день; в нём не было ни тепла, ни цвета, и никакого шевеления не было среди флагов разных стран; и эти флаги устали тоже; они были просто цветными тряпками, но сколько важности они обрели. Несколько ворон пили из лужи, а другие вороны прилетали, чтобы получить свою долю. Небо было бледное и готовое к ночи.

Всякая мысль, всякое чувство исчезли, и мозг был абсолютно спокоен; было уже за полночь, и шум утих; было холодно, и лунный свет проникал в одно из окон; свет чертил на стене узоры. Мозг полностью бодрствовал, он наблюдал, без реакции, без переживания; в нём самом не было никакого движения, но он не был бесчувственным или одурманенным памятью. Внезапно это непознаваемое беспредельное появилось здесь, не только в комнате и вне её, но и в глубине, в тех сокровенных тайниках, где когда-то был ум. Мысль имеет границу, создаваемую всякого рода реакциями, и любой мотив формирует её, как и каждое чувство; любое переживание исходит из прошлого, и любое узнавание — из известного. Но это безмерное не оставляло никакого следа; оно было здесь, ясное, сильное, непроницаемое и непостижимое, чья интенсивность была огнём, не оставляющим пепла. С ним было блаженство, и это тоже не оставляло воспоминаний, ибо не было переживания этого. Оно просто было здесь, чтобы прийти и уйти, без поисков и призывов.

Прошлое и неизвестное ни в какой точке не сталкиваются; их нельзя свести вместе вообще никаким действием; нет соединительного моста и нет никакой тропинки, ведущей к этому. Они никогда не встречаются и никогда не встретятся. Прошлое должно прекратиться, чтобы то непознаваемое, то безмерное могло быть.